

Цена свободная

Индекс 70250

«ДН» — 2015

Романы, повести:

Мария АНУФРИЕВА. Существо. Роман

Заир АСИМ. Книга дней. Повесть

Валерий БОЧКОВ. Время воды. Роман

Резо ГАБРИАДЗЕ. Доктор и больной. Повесть

Хамид ИСМАЙЛОВ. Пляска бесов, или Большая игра. Роман

Елена КЛЕПИКОВА. Из жизни Марты. Повесть в рассказах

Афанасий МАМЕДОВ. Перегрузка в Тунисе. Короткий роман

Владимир МЕДВЕДЕВ. Захлок. Роман

Марина МОСКВИНА. КРИО. Роман. Книга вторая

Гурам ОДИШАРИЯ. Очкастая бомба. Повесть. С грузинского

Захар ПРИЛЕПИН. Новое произведение

Елена РЖЕВСКАЯ. Бремя выбора. Воспоминания

Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Новая повесть

Дмитрий СТАХОВ. Свет ночи. Роман

Алексей УСТИМЕНКО. Хмарь стеклянной Бухары. Повесть

Сергей УТКИН. История болезни. Повесть в рассказах

Илья ФАЛИКОВ. Борис Рыжий: Дивий камень. Жизнеописание

Левон ХЕЧОЯН. Чёрная книга, тяжёлый жук. Роман. С армянского

Рассказы: Евгения АЛЁХИНА, Андрея ВОЛОСА, Елены ДОЛГОПЯТ, Натальи КЛЮЧАРЁВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА, Ильи КОЧЕРГИНА, Юрия ОСИПОВА, Мариам ПЕТРОСЯН, Владимира ТОРЧИЛИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО и других авторов

Новые имена: участники Форума в Липках, Волошинского фестиваля, фестиваля «Ковчег» и наши собственные открытия

Новые сочинения: Эльчина ГУСЕЙНБЕЙЛИ (с азербайджанского), Анатолия КОРОЛЁВА, Ицхока МЕРАСА (с литовского), Дмитрия НОВИКОВА, Светланы ПЕТРОВОЙ, Владимира ХОЛДОВА, Александра ХУРГИНА, Дмитрия ШЕВАРОВА

Новые стихи и переводы: Шамшада АБДУЛЛАЕВА, Сухбата АФЛАТУНИ, Ефима БЕРШИНА, Сергея ВАСИЛЬЕВА, Германа ВЛАСОВА, Андрея ГРИЦМАНА, Ольги ИВАНОВОЙ, Алексея ИВАНТЕРА, Игоря ИРТЕНЬЕВА, Александра КАБАНОВА, Инны КАБЫШ, Светланы КЕКОВОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Григория КРУЖКОВА, Марины КУДИМОВОЙ, Инги КУЗНЕЦОВОЙ, Виктора КУЛЛЭ, Станислава ЛЕВИНСКИ, Ларисы МИЛЛЕР, Олеси НИКОЛАЕВОЙ, Натальи ПОЛЯКОВОЙ, Геннадия РУСАКОВА, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Анны САЕД-ШАХ, Владимира САЛИМОНА, Олега ХЛЕБНИКОВА, Вячеслава ШАПОВАЛОВА и других авторов

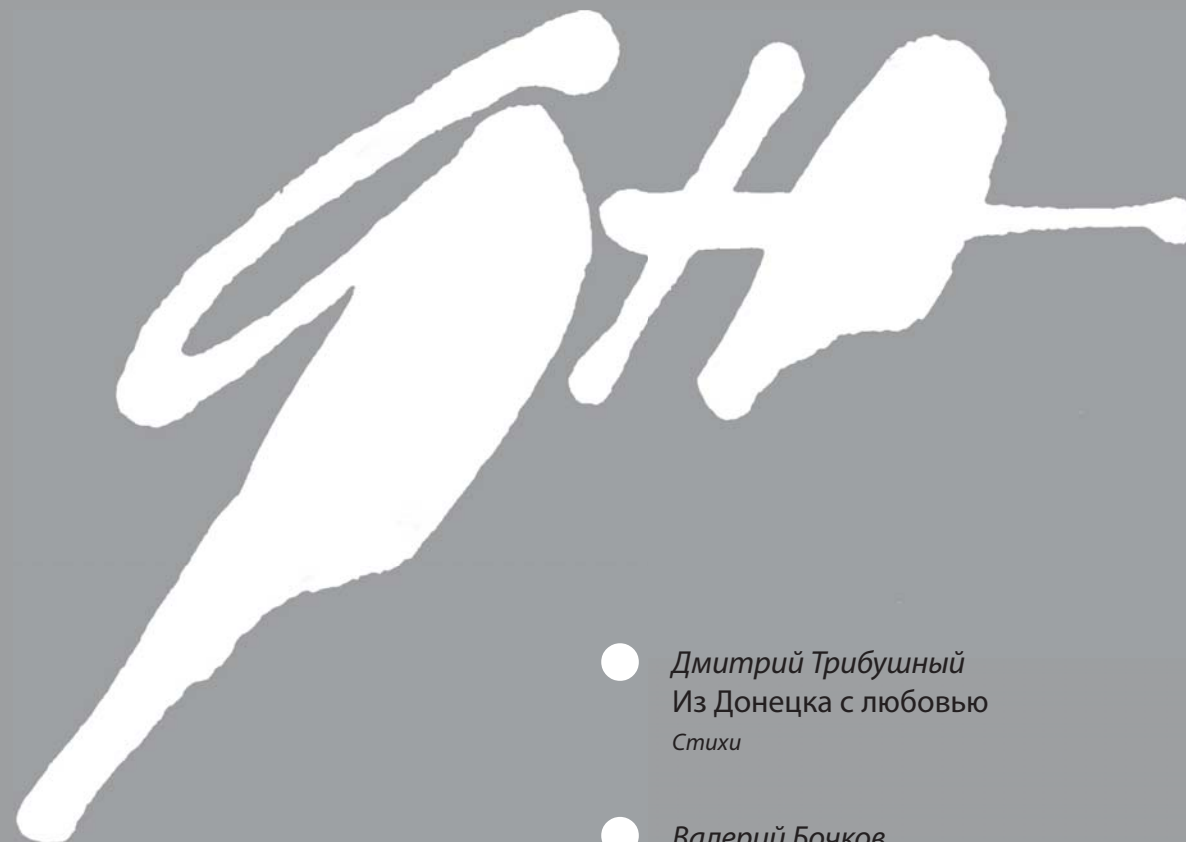
ISSN 0012-6756. Дружба народов, 2015, № 2, 1—256



ДРУЖБА НАРОДОВ

ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ 2/2015



2'2015

- **Дмитрий Трибушный**
Из Донецка с любовью
Стихи
- **Валерий Бочков**
Медовый рай
Хроника женской тюрьмы в Аризоне
- **Наум Басовский**
Не оглядывайся назад!
Стихи
- **Роман Сенчин**
Идёт вода
Из цикла «Зона затопления»
- **Анатолий Цирульников**
Неопознанная педагогика

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LiVEJOURNAL: http://druzba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomrk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.12.2014.
Подписано в печать 23.01.2015.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 7165. Цена свободная.

Дружба народов 2'2015

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей
НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Резо
ГАБРИАДЗЕ

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Дмитрий ТРИБУШНЫЙ. Из Донецка с любовью. Стихи	3
Валерий БОЧКОВ. Медовый рай. Хроника женской тюрьмы в Аризоне и история заключенной Сони Белкиной по прозвищу Белка	7
Наум БАСОВСКИЙ. Не оглядывайся назад! Стихи	97
Роман СЕНЧИН. Идёт вода. Из цикла «Зона затопления»	103
Вера ЗУБАРЕВА. Взлётное поле. Стихи	118
Андрей СТОЛЯРОВ. Дайте миру шанс. Повесть по мотивам реальности. Окончание	121
Александр ЗОРИН. Над путеводным домом. Стихи	162
Владимир ЛИДСКИЙ. Рассказы	165

Золотые страницы «ДН»

Анатолий ЖИГУЛИН. Стихи и переводы	185
Флор ВАСИЛЬЕВ. Стихи. С удмуртского. Перевод Анатолия Жигулина	187

Нация и мир

СТРАНА РОССИЯ	
Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Неопознанная педагогика	188

Публицистика

Александр МЕЛИХОВ. Самозащита без оружия, или Новое изгнание из Эдема	206
Константин ФРУМКИН. Евромайдан и кризис национального государства	226

Критика

Согревающая проза или текст на чужом языке? Литературные итоги 2014 года. Заочный «круглый стол». Окончание	232
--	-----

Эхо

Расцепление оцепленных. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	251
Summary	256

Дмитрий Трибушный

Из Донецка с любовью

* * *

Над городом гуманитарный снег.
Патрульный ветер в подворотнях свищет.
Убежище — читает человек
На школе, превращённой в пепелище.

У всякой твари есть своя нора.
Сын человеческий может жить в воронке.
Артиллеристы с самого утра
Друг другу посылают похоронки.

Ещё один обстрел — и Новый год.
Украсим ёлку льдом и стекловатой.
И Дед Мороз, наверное, придёт
На праздничные игры с автоматом.

* * *

Тише, тише — ты на самой крыше.
Ангелы не плачут — тихий час.
Опустись пониже и услышишь,
Как земля вращается без нас.

Высоко забрались дезертиры,
Люди, превратившиеся в дым.
Стыдно первым уходить из мира.
Стыдно задержавшимся живым.

Трибушный Дмитрий Олегович — поэт. Родился в 1975 г. в г. Донецке. Окончил в 1997 г. филологический факультет Донецкого национального университета, в 2002 г. — Одесскую духовную семинарию. Церковнослужитель. Автор 4 книг стихов: «Под другим дождем» (2004), «Провинциальные стихи» (2010), «Белая книга» (2010), «Облака ручной работы» (2013).

В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Донецке.

* * *

Не быть, но несомненно сбыться.
Оставить даром небо птицам.
Землёй надёжно укрыться,
Как первозданной тишиной.

И всё оставшееся время
Внутри наедине со всеми
Смотреть, как прорастает семя,
Зачем-то названное мной.

* * *

Вдали от центральной дороги,
Где Блок не едал, не пивал,
Трагический тенор эпохи
Поёт про какой-то централ.

Спою о пылающей бездне,
В которую август плывёт,
О том, что отчизна исчезнет
Быстрее, чем тронется лёд.

Прохожие ищут монеты,
Бросают в открытую грудь.
И если вселенная спета,
Я тоже спою что-нибудь.

Пусть голос мой робок, нестроен,
Натянут в ночи, как струна.
Когда замолчали герои,
Немым подпоёт тишина.

* * *

Случайная зима.
Обиделись трамваи.
Над крышами коньки
архангелов скользят.
Прохожие клянут
периферию рая,
И всё равно спешат
в открытый снегопад.

Есть правда у него
и у грачей похмельных.
У дворников своя,
у продавцов газет.
И только ты один
пускаешь пар беспечно
И ничего уже
не требуешь в ответ.

* * *

Мело-мело. Летели сани.
И вдруг декабрь замедлил бег,
Чтобы понять, зачем дончане
Играют в двадцать первый век.

В Перу, в Финляндии и в Польше
Он нежно опустился вниз.
Над нашим раем безнадёжно
И окончательно завис.

Что думал он над раем этим?
Что, видимо, приврал поэт,
Что счастье есть на белом свете,
А воли и покоя нет.

* * *

Для тех, кто вырос на Руси,
Не нужно школы.
Не верь, не бойся, не проси —
Твои глаголы.

Они сквозь рёбра проросли,
Сквозь позвоночник.
Как только выйдешь из земли,
Учись, заочник.

* * *

Я вышел из истории во тьму.
На город тихо наступала осень,
И листья относили никому
Печальные слова великороссов.

Черкнул и я последнее «прости»
На жёлтом треугольнике сиротском.
Лети-лети, куда-нибудь лети,
Оплакивай потерю первородства.

* * *

Возьму займы: у сердца — синеву,
У неба — глубину. Раздам прохожим.
Пиши, декабрь, новую главу
В историю людей со снятой кожей.

Уйду туда, где ищет до сих пор
Вовек незамерзающая память
Сокровища, зарытые в простор,
Сквозь осень проходившими волхвами.

* * *

Освобождение от кожи —
Последняя из всех потерь.
Пора себя извлечь из ножен.
Тебя умрут, а ты не верь.

Не верь в покой перед грозою,
В почётный караул берёз,
Когда твои глаза закроет
Рассвет, случившийся всерьёз.

Не верь, не велика потеря,
Тому, кто отпускает в твердь,
И сам при этом твёрдо верит,
Что вправду существует смерть.

Не верь прощанию — обманет.
Не верь последнему *аминь*.
Не верь себе, когда сквозь камень,
Сквозь сердце прорастёт полынь.

О чем говорят со смертью

Поближе к смерти подойду
До эпилога:
Во мне зажги свою беду,
Моих не трогай.

Возьми сомнения себе —
Моё наследство.
Не трогай город в сентябре,
Наивный, детский.

Когда последняя роса
Сойдёт на клёны,
Прошу, не закрывай глаза
Моим влюблённым.

Не торопи, не бери
Перед побегом.
И до рассвета не буди.
Будь человеком.

* * *

Всё объяснимо, ясно, просто
Сквозь воскресенье, сквозь стекло.
Кому натруженные звёзды
Оставили своё тепло?

Над заколдованным покоем
Кого-то ищет поздний свет.
А там, где соберутся двое,
Ни смерти, ни разлуки нет.

* * *

Плывут прощальные такси,
Такси, печальные немного.
Так тихо, словно о Руси
Отдельный замысел у Бога.

Дрожат далёкие огни.
Дрожат дежурные трамваи.
Так тихо, словно мы одни
Внутри промышленного рая.

Висит прощальный звездопад
Над чёрным зеркалом канала.
Так тихо, словно мы назад
Вернулись. В самое начало.

Валерий Бочков

Медовый рай

*Хроника женской тюрьмы в Аризоне
и история заключенной Сони Белкиной по прозвищу Белка*

1

Белку удивили две вещи — название и цвет.

Официально тюрьма именовалась длинно: «Женское исправительное учреждение имени Джулии Расмуссен». Железные буквы были приварены к стальной арке над воротами, по верху стены тянулась колючая проволока. Стена заканчивалась пузатой сторожевой башней, там, под дощатым навесом, скучал охранник в соломенной шляпе. Снаружи тюрьма напоминала крепость.

— Кто эта Джулия? — спросила Белка сержанта.

— Там расскажут, — не поворачиваясь ответил тот. — А, может, и покажут.

Он толкнул водителя локтем и они оба заржали.

Ворота лениво раскрылись и фургон неспешно вкатился под арку и остановился посередине тюремного двора. Сержант клацнул замком, распахнул дверь фургона. Белка вылезла, сделала два шага, осторожно ставя ноги, словно шла по льду. Сержант ловко снял с нее наручники.

— Принимайте красавицу! — весело крикнул он двум охранникам, лениво курившим у ржавой бочки, вкопанной рядом с дощатым помостом, похожим на эшафот. — А то увезу обратно.

...И цвет. Цвет неба. Здесь, в пустыне, оно было пронзительно синим, ядовито-ярким, как раствор медного купороса. Без единого облачка. Белка привстала на цыпочки, не отрывая взгляда от узкого окошка под самым потолком. Она загадала, что если увидит птицу, то у нее все будет хорошо.

— Малахольная что ли? — коренастая баба в униформе пихнула ее. — Глория, присмотри за новенькой!

Грохнула дверь, лязгнул замок.

— Малахольная... — эхом повторила Белка.

Три недели назад, еще до суда, она пыталась отравиться. Таблетками для сна, голубыми, как здешнее небо. Ее откачали. Наверное, таблеток оказалось

Валерий Бочков — прозаик, художник (более десяти персональных выставок в Европе и США). Родился в Латвии в семье военного лётчика. Вырос в Москве, на Таганке. Окончил художественно-графический ф-т МГПИ. Владеет русским, английским, немецким языками. С 2000 года живет и работает в Вашингтоне, США. Член американского ПЕН-Клуба. Лауреат «Русской Премии» 2014 года в категории «крупная проза» (роман «К югу от Вирджинии»). Лауреат Литературной Премии издательства «ZA-ZA Verlag» (Германия, Дюссельдорф) в номинации «малая проза»; книга «Брайтон Блюз» получила звание «Книга Года» (2012). В том же году — победитель международного литературного конкурса «Московского Комсомольца». В «ДН» печатается впервые.

мало, она не считала, высыпала все из банки в ладонь и проглотила. Дюжины две таблеток, не больше. С тех пор у нее появилось странное ощущение, что все, происходящее с ней, ненастоящее, что-то вроде галлюцинации. Доктор сказал — последствия шока.

Белка, стесняясь наготы, боком присела, положила тюремную робу на кафель. Глория, плечистая негрityнка бритая под ноль, быстро разделась, кинула свои тряпки в угол.

— Ну ты тоща, мать! — Глория засмеялась, повернула кран. Подставила лицо под струи душа. Улыбаясь, зажмурилась.

В душевой было восемь кабин, по четыре в ряд, друг напротив друга. Дверей не было. Мыла тоже. Белка осторожно повернула кран, вытянула бледную ладонь, вода оказалась чуть теплой. Закрыв глаза, она шагнула под душ.

— У тебя, случаем, не СПИД? — фыркая спросила Глория. — Тощая, говорю... У нас тут была одна... Со СПИДом. Страшное дело, я тебе скажу!

Она набрала в рот воды и выпустила тонкую струю в потолок. Глория, мускулистая и ладная, цветом похожая на спелый баклажан, была на голову выше Белки. Она весело терла ладонями плоский живот и сильные ляжки. Звонко шлепнула по поджарым ягодцам. Засмеялась. Потом что-то негромко запела низким голосом. Белка тайком наблюдала за ней, она заметила, что ладони и пятки у Глории совсем светлые. Как у нее, у Белки.

— Тебя в мою камеру определили, — сказала Глория. — Я там старшая. Для тебя я бог. Каждое мое слово — закон. Сечешь?

Белка кивнула, Глория запела снова.

— А за что вы сидите? — спросила Белка. Она спросила первое, что пришло в голову. Да и какая разница, если все это тебе видится.

— Сидят на елде, — грубо ответила Глория. — А тут срок отбывают.

— Извините, я не...

— И не извиняйся! — перебила Глория. — Никогда! Если не хочешь...

Замок загремел, дверь распахнулась.

Глория, сверкнув белками, сделала страшное лицо, шепотом приказала Белке: «Молчи!»

В душевую вошел охранник.

— А вот и мыло! — Глория бесстыже уперла руки в бока, выставила лобок. — Наконец!

— Заткнись, — охранник, в черной форме, мешковатой, будто на размер больше, даже не посмотрел на Глорию. — Новенькая, говорят, у нас.

Белка, сутулясь, повернулась боком, прикрыла локтем грудь. У нее мелко затряслась нижняя губа, она мельком взглянула в лицо охраннику и тут же уставилась в кафель стены. Старые плитки, пожелтевшие от времени, были в мелких трещинах, словно в паутине.

— Как звать? — спросил охранник тихо, почти ласково.

— Соня Белкина, верней, Софья. Белкина, — не поворачиваясь ответила она.

— Евреечка, да?

— Русская...

— Ух, как интересно. Русская. Не было у нас тут русских. Ну-ка, повернись сюда.

Белка, прижимая локтем грудь, неловко повернулась.

— Руки убрать, — сказал охранник.

Белка беспомощно опустила руки. В душевой воняло плесенью и тухлой водой, как в сыром подвале. Охранник хмыкнул, разглядывая ее грудь, сделал шаг назад, Белка ладонью прикрыла низ живота.

— Руки... — тихо повторил охранник.

Белке показалось, что вода стала ледяной. Пальцы дрожали, она крепко сжала кулаки. Лицо охранника, гладкое, по-детски розовое, словно он еще не начал бриться, выражало скуку. Так из вежливости разглядывают в гостях семейные альбомы. Белка заметила, что у него нет бровей.

Охранник поднял руку и дотронулся указательным пальцем до ее соска — будто аккуратно позвонил в дверь. Белка дернулась, ударилась затылком в стену.

— Тихо-тихо... — проговорил он, ухмыляясь.

Его гладкое, безбровое лицо приблизилось, белесые глаза с черными дробинками зрачков уставились прямо в глаза Белки.

«Господи, помилуй, да ведь он просто псих, — подумала Белка, прижимаясь спиной к ледяному кафелю. — И глаза, глаза точно как у того...»

Охранник на ощупь нашел кран, закрыл воду.

— А я тебе мыльце принес... — он сунул руку в карман штанов. — Сейчас мы тебя купать будем... Держи мыльце. Земляничное.

Белка почувствовала, что он что-то сует ей в руку. Ее пальцы онемели, она с трудом разжала кулак.

— Ну ты чухан! — неожиданно громко воскликнула Глория. — Мыло земляничное! Что она тебе — ранетка? Не видишь, что сявка коцаная? СПИДУ нее!

Охранник оглянулся.

— Что ты гонишь, белоснежка, — сказал он. — Я ж бумаги ее глядел, чистая она.

— Чистая? — засмеялась Глория. — Валяй тогда. Вперед!

Белка почувствовала, как ее колени стали мягкими, словно они были слеплены из теплого парафина. Она медленно поползла вниз по мокрой стене. Узкое окошко поехало вверх, там в бирюзе что-то мелькнуло. Птица — с облегчением подумала Белка и потеряла сознание.

2

Ночь, фиолетово-плюшевая, опустилась мягко, оставив над рекой рыжую полосу закатной подкладки. На прибрежном песке, полого уходившем в тусклую черноту реки, ждали лошади. Они пятились от воды, фыркая и переступая стройными ногами. Оранжевые блики мерцали на мускулистых боках. Человек в капюшоне (Белка лица не видела, она знала что туда смотреть нельзя) молча ухватил поводья, лошади покорно побрели к воде. Человек забрался в лодку, отчалил.

Лошади вошли в воду, беззвучно поплыли за лодкой. Вытянутая рука держала поводья, лодка лениво скользила, из тягучей, как смола, воды торчали головы лошадей. Закат почти умер, рыжие отсветы, едва вспыхивали в черных, словно спелые вишни, конских глазах.

Другой берег был покруче, но лошади, мокрые и блестящие, будто отлитые из черной стали, легко забрались наверх. Белка вместе с ними. Она с удивлением подумала, что быть лошадью, оказывается, совсем не так плохо. Лошади застыли, повернули большие головы на восток. Там, вдали, у самого горизонта, словно догорающий костер, мерцали огни ночной ярмарки с качелями и

каруселями, с островерхими шатрами в гирляндах и китайских фонариках. В центре высилось гигантское чертово колесо, оно медленно вращалось, на спицах пульсировали рубиновые лампы. Белка очнулась от собственного крика.

Резко воняло нашатырным спиртом. В потолок была вделана лампа в ржавой сетке, похожей на клетку для мелкой птицы. Вроде колибри — подумала Белка и слабой рукой заслонила глаза от резкого света. Она прищурилась, предметы перестали растекаться и наползать друг на друга, тени заняли более или менее подходящие им места. Нависшая каланча вошла в фокус и превратилась в Глорию.

— Очухалась, — облегченно выдохнула она.

От нее пахло ментоловыми сигаретами и еще чем-то пряным, вроде мускатного ореха.

— Что... это было, — едва слышно сказала Белка, у нее не хватило сил на вопросительную интонацию. — Который без бровей...

— Вертухай. Шизик... Бесом кличут, — тихо ответила Глория. — Сержант охраны он.

Розовое бабье лицо тут же вынырнуло из памяти, Белка прижала ладонь ко лбу, словно вручную пыталась остановить кошмар. Ей показалось, что ее сейчас вырвет, она схватила ртом воздух, судорожно подалась вперед, издав смешной утиный звук.

— Воды? — Глория повернулась к жестяному баку.

Белка замычала, замотала головой. Она лежала на железной койке, прикрученной болтами к полу, другие три койки — пустые, были накрыты серыми солдатскими одеялами. Глория сунула ей в руку пластмассовую чашку с водой, Белка жадно стала глотать, вода пролилась на робу.

— Извините... — пробормотала она. — Я тут...

Глория выбила чашку из ее рук, навалилась на грудь, локтем придавила к койке. Белка от испуга перестала дышать.

— Слушай внимательно, — прошипела Глория, пялясь страшными глазами. — Повторять не буду. В Медовом раю всего два варианта. Вариант первый: ты будешь извиняться и просить прощения, как школьница, и тогда о твою тощую задницу все начнут вытирать ноги. Все — и зэки, и охрана. И тогда твой шанс выйти отсюда равен нулю. Тебя или зарежут или ты сама удавишься...

Глория зло сплюнула на пол.

— Вариант второй: ты соберешь всю свою волю. Если нет воли — злость. Не злость, так страх. Что угодно, но ты должна найти в себе силы. Найти силы остаться человеком. Это не красивые слова из книжки. Здесь тюрьма — второй попытки никто не даст. Облажалась — и все. Тебя просто раздавят.

Она запнулась, повторила, но уже тише:

— Просто раздавят...

Потом спросила, чуть смущенно:

— Тебе лет-то сколько?

— Восемнадцать...

— Восемнадцать... — Глория неловко провела пальцами по Белкиной щеке. — Прости меня. Я дрянь, мерзкая тварь...

— Зачем вы...

— Я знаю, что говорю. Я отсидела полсрока, но я не выйду отсюда... Я это

знаю. То, что я сделала... — она поперхнулась, сморщилась и закрыла глаза ладонью.

Снаружи завывала сирена — низкий, унылый звук, словно кто-то протрубил в рог. Лампа под потолком заморгала, погасла, потом зажглась снова вполнакала. Камера стала сумрачной и желтой.

Глория подняла голову, на щеке блестела мокрая полоска. Тыльной стороной ладони она вытерла щеку и завороченно уставилась на лампу.

— Что это? — отчего-то шепотом спросила Белка.

Лампа пульсировала, противно зудела, как муха между рам.

— Рыжая Гертруда, — Глория тоже ответила шепотом, быстро перекрестилась. — Сейчас начнется...

— Что? Что начнется?

По коридору затопали башмаки, загремели железные засовы, кто-то настежь распахнул их дверь и заорал:

— Живо! На плац! Все на плац!

3

Гертруда стала Рыжей всего двадцать три года назад, после того, как ее покрасили эмалевой краской апельсинового цвета. Такой эмалью обычно красят ремонтные дорожные машины. Кому пришла в голову идея выкрасить Гертруду в такой дурацкий цвет — неизвестно. До этого Гертруда была крепким дубовым креслом, сработанным почти сто лет назад столяром-мебельщиком Куртом Роттенау, отбывавшем тут пожизненное заключение. Гертрудой звали покойную мамашу столяра.

Тогда, в начале прошлого века, казнь при помощи электричества приобрела популярность и в середине двадцатых доползла до южных штатов, вытеснив наконец патриархальную виселицу. Мода достигла Аризоны и администрация тюрьмы решила не отставать от прогресса. По личной просьбе коменданта столяр Роттенау смастерил ладное кресло с прямой спинкой, а тюремный электрик приладил генератор, проводку и прочую механику — все в соответствии с чертежами, полученными из патентного бюро Альберта Саутвика.

Первая казнь прошла не совсем гладко. Осужденный Бруно Фиш (приговорен к смерти за убийство любовницы, суд присяжных потрясла жестокость преступления — убийца орудовал топором) был обрит наголо, палач приладил под колпак губку, пропитанную электролитом. Пристегнул запястья и лодыжки. Включил рубильник. Разряд тока в две тысячи вольт не убил жертву. Фиш потерял сознание, но продолжал дышать, сердце его билось. Доктор крикнул палачу: «Еще раз! Быстро!» Генератору для полной зарядки потребовалось шесть минут. Потом снова пустили ток.

Один из очевидцев после сострил — гуманней было бы зарубить его топором. Другой очевидец рассказал, что когда ток включили во второй раз, Фиш неожиданно очнулся. Он бился и страшно кричал, из-под колпака шел черный дым. «Мне даже показалось, что из его рта лезет пламя. Я слышал, как лопнули его глаза, а от запаха горелого мяса меня чуть не вывернуло».

Суматоха на плацу улеглась, заключенные построились. От жары и пыли першило в горле, Белка закашлялась. Глория впихнула ее во второй ряд, сама встала рядом. В центре тюремного двора высился дощатый помост с деревянной лесенкой в три ступени. Вокруг помоста и вдоль стены стояли вооруженные автоматами охранники, рядом сидели черные, жилистые псы.

— Доберманы? — тихо спросила Белка, она кулаком терла глаза.

Глория не ответила, из переднего ряда повернулась беззубая негритянка:

— Ага! — весело каркнула старуха в лицо Белки. — Жучки, науськанные на твою сладенькую киску!

Негритянка ткнула Белку в пах большим пальцем и засмеялась.

На подиум неторопливо поднялся плотный лысоватый человек в глухом черном сюртуке, вроде пасторского. Подошел к микрофону, поправил шнур. Сложил ладони на животе, словно тайком поддерживал сползавшие штаны. Носатый и степенный он напоминал сытую кладбищенскую ворону.

— Комендант... — шепнула Глория Белке. — Пасечник наш лунный.

— Почему лунный? — прошептала Белка.

— Молчи!

Комендант шелкнул ногтем по микрофону, откашлялся в сторону.

— Слышно? — непонятно к кому обратился он. — Хорошо...

— У нас сегодня большой день, я бы сказал — в некотором роде торжество. Сегодня... — он посмотрел на запястье. — Ровно двадцать семь минут назад был приведен в исполнение смертный приговор... — он сделал паузу. — Юбилейный приговор.

Он замолчал, словно ожидая аплодисментов. Становилось жарко. Над плацем висела тишина, было слышно, как сипло дышат доберманы, высунув розовые языки.

— Наш Медовый рай — это единственная женская тюрьма в Аризоне, где приводят в исполнение смертный приговор. Единственная! — он поднял указательный палец. — На всю Аризону!

Он достал белый платок, осторожно вытер лоб и макушку.

— Большая ответственность, согласитесь, — словно вежливо возражая кому-то, сказал комендант. — И вы все должны осознать... Эту ответственность. И вы, — он сделал широкий жест рукой. — Вы все... Вы все и каждая из вас попали сюда не по случайности или недоразумению. На каждой, на каждой из вас лежит грех, грех перед людьми и грех... — он снова ткнул в небо пальцем, в кулаке был зажат белый платок. — Перед всемогущим Богом!

Он снова вытер лицо. Щурясь поднял голову. В пустом, пронзительно синем небе, плавилось ослепительное солнце. Солнце жарило немилосердно. Белка почувствовала, что платье прилипло к спине, пот щекотной струйкой скользнул под резинку трусов.

— Я гуманист, я человек глубоко и страстно верующий, я осознаю свою миссию здесь, на нашей грешной земле, в этом грешном месте, как божественную миссию. Я — инструмент Всевышнего, я его кнут. Его плетка!

Комендант резко взмахнул рукой, словно собирался кого-то стегнуть.

— Человек добр по своей природе. Я тоже добр. Но я послан вам во искупление. И тут нет места доброте. Ведь чем больней удар, чем кровавей рана,

чем страшней ваши страдания, тут и сейчас... — он сделал паузу, обводя взглядом плац. — Тем выше ваш шанс на спасение. На спасение души. Еще есть время, пока человек жив, жива и надежда. Никто не хочет услышать слова Всевышнего: ступайте от меня, проклятые, ступайте в огонь вечный, в пламя адское, уготованное для сатаны и ангелов его падших! Ад — место скверное. Отец наш небесный сотворил ад для вечной муки, вечной кары грешных душ. Туда же он низвергнул сатану и его воинство. Ад это тюрьма, смрадная темница, созданная для тех, кто решил не подчиняться Его законам. Вы здесь тоже в тюрьме, но здесь вы можете гулять по тюремному двору, у вас есть кровать, душ. Не так в аду. Как писал блаженный Ансельм, стены адской темницы толще четырех миль, там такое скопище грешников, они так стиснуты, что не могут даже вынуть червей, гложущих их глаза!

— Он, что там был, этот Ансельм? — давась смехом прошептала Клэр. — Посмотрел и вернулся?

— Когда я учился в духовной школе, — комендант комкал платок в кулаке, кулак казался темным, загорелым, а платок непорочно белым. — Я познал главное — Господь наш милостив. Это краеугольный камень христианского учения — милосердие. Иисус был послан на землю во искупление грехов наших, дабы вернуть нас, детей заблудших, к Отцу Небесному, в кущи райские.

— Кущи это что, кусты? — шепотом спросила Клэр, обернувшись. — В кусты, значит?

— И пришел Искупитель! — комендант грозно повысил голос. — Спаситель наш родился не в царском дворце, не в чертогах сановного вельможи, он родился в хлеву. Не на батистовых простынях, не на шелке — он родился на соломе. Тридцать лет он работал простым плотником, в поте лица добывая хлеб для семьи своей. Но пробил Его час и он, преисполненный сострадания к людям, отправился проповедовать. О чем Он говорил? Он говорил о любви. Он говорил о любви к ближнему — возлюбить соседа своего, как самого себя, говорил Он, не так сложно. Почему бы не относиться с симпатией к милой Дженнифер, что живет за соседним забором? Или к добродушному Биллу с пятого этажа? А вот вы попробуйте полюбить врага, ненавистного вам типа, один вид которого, тембр голоса которого заставляет вашу кровь бурлить как кипятилок!

Комендант вытер шею платком.

— А Он смог! Его предал ближайший ученик, Его схватили ночью, схватили, как обычного бандита, преступника. Солдаты сорвали с Него одежды, били Его, толпа смеялась, плевала Ему в лицо. Его казнили мучительной смертью, Его прибили к кресту. Но даже там, на Голгофе, в час жесточайших мучений, умирая на кресте, Он нашел в себе силы простить палачей своих. Подумайте об этом!

Белка неожиданно узнала в одном из охранников Беса, того, из душевой. Он стоял рядом с помостом, сложив руки и лениво поглаживая тупорылый автомат. У нее перехватило дыхание, сердце заколотилось. Она подалась назад, стараясь спрятаться за негритянку из первой шеренги.

— Сестра наша Мелисса Блум, я думаю, уже предстала перед Отцом Небесным, — комендант посмотрел на часы, словно был в курсе божьего распорядка. — Будем уповать на Его милость.

Он поднял лицо к солнцу, поморщился и перекрестился.

Заклученные тоже начали невпопад креститься. Белка почувствовала на

себе чей-то взгляд, она повернула голову и скосила глаза. За ее спиной стоял охранник с собакой, на его огромный кулак был накручен кожаный поводок. Высокий, выше других на целую голову, широкоплечий и грузный, он казался каким-то мутантом, слишком крупным для нормальной человеческой особи. Белка лишь мельком увидела его лицо — она тут же испуганно отвернулась. Левая сторона от виска до подбородка, казалось, была ошпарена кипятком, на месте глаза темнела впадина со склеенными веками. Правый глаз, дикий, выпученный, смотрел прямо на нее.

— Господи... — пробормотала Белка и тоже начала креститься.

5

В столовой воняло хлоркой. Белка ковыряла ложкой бобовую похлебку, похожую на жирную грязь.

— За что ей балку вlepили? — спросила мулатка с татуировкой вокруг шеи.

— Мелиссе? — Глория отодвинула пустую миску. — Она баклана траванула. А после химии ее пальцы нашли на баяне, которым туза завалили.

— Подстава это! — авторитетно выдала беззубая негрityнка. — Я Мелиссу знаю... Верней, знала.

Беззубая быстро перекрестилась и прижала большой палец к губам, будто целуя.

— Закрой базло! Подстава... — мулатка лениво отмахнулась от беззубой.

Мулатка взъерошила черный ежик, расстегнула пуговицу, из-под воротника к уху вылезло, выколотое синей тушью, слово «мечь».

— Может и подстава, — Глория поглядела на Белку. — Ну что, фисташка, не катят наши харчи?

— Не катят, — тихо ответила Белка. — Хотите?

Она подвинула миску к Глории.

Вечерняя поверка проходила без пяти десять. Заключение выстраивались перед своими камерами, старшины проводили переключку, докладывали дежурному по сектору. Те докладывали дежурному по тюрьме. В десять в камерах выключали свет.

Белке досталась койка у двери. Дверь была из толстых железных прутьев, между которых едва протискивался кулак. Сквозь решетку был виден кусок коридорного пола и стены с желтым отсветом тусклого фонаря. С другой стороны кровати стоял цинковый унитаз. В унитазе тихо журчала вода, а по коридору каждые полчаса, шаркая башмаками, проходил часовой.

Белка вспомнила слова Глории о силе, о воли, о злости. У нее не было ни того, ни другого, ни третьего. Желание отомстить? Даже этого уже не было. После того как ее откачали, еще там, в Сьера-Висте, ей иногда казалось, что на самом деле она умерла, а все происходящее ей снится. Ведь никто не знает, что с тобой будет после смерти? Может, это и есть загробная жизнь — бесконечная череда мерзких снов?

Она закрыла глаза. Спать не хотелось совсем. Спать она боялась, она знала, что ей приснится. Она начала считать, обычно она начинала не с единицы, а с тридцати трех. Ей нравились две тройки, они мысленно рисовала их, иногда кисточкой, вроде китайской — той, что китайцы пишут свои иероглифы и

рисуют стрекоз в острых листьях бамбука. Иногда она писала эти цифры стальным пером, аккуратно окуная его в черную тушь. Иногда — цветным мелом на асфальте.

Цифры появлялись и исчезали, тройку сменяла четверка, потом выплывала пятерка. Невидимая рука плавно выписывала пузатую восьмерку. После девятки. Когда перевалило за сотню, в стройную арифметику стали протискиваться какие-то существа, какие-то суетливые насекомые, что-то вроде человеко-муравьев. Они карабкались на цифры, своими лилипутскими пилами и молотками корежили их, расчленили. Из обломков что-то мастерили. Белка знала, что они мастерят, но она уже спала. Выпрыгнуть из этого сна было ничуть не легче, чем из предыдущего — про тюрьму. Белка покорно наблюдала за строителями. Появились полосатые шатры, островерхие, с пестрыми флажками. Закружилась карусель, зажглись разноцветные фонарики. Из темноты выплыло чертово колесо, по спицам побежали огоньки, замерцали лапочки на кабинках. Колесо вздрогнуло и медленно начало вращаться.

Белка проснулась. Сердце колотилось так громко, что ей казалось, что этот стук перебудит всех в камере. Она попыталась дышать глубже. Из коридора послышались шаги, Белка повернулась на бок, замерла и прикрыла глаза. Подглядывая сквозь ресницы, она увидела сначала тень, а после башмаки, грубые, солдатского образца. Ботинки остановились перед дверью в камеру, они были огромные, какого-то невероятного великанского размера.

6

— Шить умеешь? — спросила Глория.

— В смысле? — Белка еще не проснулась, их построили в коридоре перед камерами. Было шесть утра.

Глория зло махнула рукой, ее фиолетовая кожа отливала серым, словно была посыпана пеплом. Она, топая каблуками, пошла к дежурному, доложила, что семнадцатая камера готова к водным процедурам.

В умывальной было тесно, Белке удалось подсунуть зубную щетку под струю, она выдавила пасту и начала чистить зубы. Ее толкали, она протиснулась в угол, пытаясь найти глазами Глорию или кого-нибудь из своей камеры.

— Не меня ищешь? Милая... — девица с лиловым шрамом через всю щеку приблизила к Белке лицо. От нее пахло хвойным лосьоном.

В туалетных кабинках не было дверей, они все были заняты. Белка решила перетерпеть, она прополоскала рот, сунула щетку в карман. Вышла в коридор. Дверь их камеры была распахнута, но все заключенные стояли снаружи по линейке.

— Быстро! — беззвучно крикнула Глория, Белка встала в строй.

В камере царил бардак — матрасы и одеяла грудой лежали на полу, два охранника вытряхивали содержимое тумбочек — белье, книги, журналы, разноцветная косметика валялись как мусор. Кто-то раздавил тюбик помады, жирная гадость краснела отпечатками каблуков на сером кафеле.

— Что это? — испуганно прошептала Белка. — Что они делают?

— Шмон это, детка! — хихикнула Клэр, беззубая негритянка. — Ищут они.

— Что ищут?

— Мобильники, бабки, наркоту...

Охранник постарше, загорелый и бритый наголо метис, грохнул на пол Белкину тумбочку, оттуда вывалились футболка, трусы, теплые носки, скрученные в бублик. Брезгливой рукой он раскидал тряпки, вывернул носки. Не поворачиваясь, крикнул:

— Старшая! Ко мне!

Глория подошла вплотную к решетке.

— Чье хозяйство?

— Новенькой... Заключенной Белкиной.

— Отлично, — бритый выпрямился. — Где она?

Белку повели по коридору мимо камер, потом по железной лестнице вниз, в подвал. Молодой охранник, почти пацан, распахнул дверь, бритый метис толкнул Белку внутрь. Дверь захлопнулась. Комната, слепая, без окон и без мебели была выкрашена красной масляной краской. Красными были пол и потолок. Белка подошла к стене, зачем-то провела пальцами по скользкой, будто потной краске.

— Холодная... — прошептала Белка.

Ей вдруг показалось, что она здесь уже была, в этой комнате, что все это уже виделось ей в каком-то кошмаре. Она даже знала, что последует дальше — вот сейчас раскроется дверь и сюда войдет тот жуткий, с детским розовым лицом.

Дверь открылась, в комнату вошел Бес. Он оглядел стены, потолок, словно попал сюда впервые. Выглянул в коридор.

— Лукас, свободен. Я тут сам...

Захлопнул дверь, повернулся к Белке.

— Русская... — он улыбнулся, на щеках появились ямочки. — Интересно...

Белка попятилась, уткнулась спиной в стену.

Бес подошел ближе, она вдохнула приторный дух земляничного мыла.

— Интересно... — повторил он. — Смотри, что у тебя нашли. В твоей тумбочке.

Бес осторожно раскрыл ладонь, словно там была бабочка. На ладони лежал маленький пластиковый пакет с чем-то белым, похожим на соль.

— Это не мое, — твердо сказала Белка. — Не мое...

— Я знаю, — ласково кивнул ей Бес. — Конечно, не твое. И полицейского тоже не ты застрелила.

— Ранила...

— Ну ранила, — согласился Бес. — Ранила. Правда, он пока еще в госпитале. И все еще в коме. И врачи не очень оптимистичны. Ты догадываешься, что это значит?

Бес заглянул ей в глаза, Белка не ответила.

— А это значит, что если он умрет, то твои десять лет строгого режима, — Бес шелкнул пальцами. — Тут же превратятся в пожизненное заключение без права на апелляцию. Вот что это значит.

Бес приблизил лицо, облизнул губы.

— И еще это значит, что нам предстоят длительные и очень близкие отношения. Я бы даже назвал их интимными. Понимаешь?

Белка прижалась спиной к холодной липкой стене.

— Знаешь, что самое неприятное в тюремной жизни? — Бес говорил вкрадчиво, почти нежно. — Скука. Да, именно скука. Каждый следующий день похож на предыдущий, январь не отличить от августа, прошлый год точная копия года грядущего. Ску-у-ка.

Он закатил глаза и притворно зевнул.

— Но, впрочем, тебе скука не угрожает. Я об этом позабочусь сам. Кстати, как ты думаешь, почему эта камера выкрашена в красный цвет?

— Кровь... — пробормотала Белка. — Чтобы кровь не было видно...

— Что? — Бес засмеялся. — Господи, при чем тут кровь. Ты знаешь, что такое афродизиаки? Нет?

Он осторожно раскрыл пакетик, поддел на ноготь большого пальца горку белого порошка.

— Раньше использовали экстракт кокки, яд некоторых грибов, толченый рог носорога, мускус и мирру. Сегодня нам на помощь пришла химия — величайшая из наук. Человек, на самом деле, всего-навсего сумма химических реакций. Печаль, радость, даже ощущение счастья по сути лишь результат взаимодействия химических элементов внутри нашего организма. Достаточно одной таблетки — и ты на вершине мира!

Бес тихо засмеялся.

— Впрочем, вот эта смесь кокаина с поппером — это скорее любовный эликсир, — он приблизил ноготь с порошком к лицу Белки. — Можно вдохнуть через нос, можно натереть десны, что, на мой взгляд, вульгарно. Даже пошло. Я предпочитаю другой способ приема данного снадобья.

Он улыбнулся, опустил глаза.

— Я называю этот способ — клитор-вагинальным. Несмотря на медицинскую неблагозвучность, эффект неизменно потрясающий. Набожная монашка, фригидная снулая рыба, законченный синий чулок превращается в неистовую нимфоманку. Ты не поверишь...

Бес засмеялся, поднес ноготь к ноздре и с шумом вдохнул порошок.

Его тут же будто пробило электричеством — он вскрикнул, вытянулся, запрокинув голову, часто затопал каблуками, словно хотел станцевать что-то испанское.

— Ха! — он ударил кулаком в ладонь. — Ха! Ну сволочь! Вот крепкая дрянь! Зажмурившись, замотал головой.

— Вот сволочь!

Белка вжалась в стену, словно боясь потерять равновесие.

Бес вскинул голову, впери в нее глаза, выпученные в красных прожилках. Руки его тряслись, он ухватил ее за ворот платья. Белка вскрикнула, беспомощно оттолкнула, Бес засмеялся, будто залаял.

Белке стало жутко.

Бес страстной скороговоркой шипел ей что-то в ухо. Она услышала, как затрещало платье, как запрыгали по полу вырванные пуговицы. Бес сорвал лифчик, впился слюнявым ртом ей в грудь. Белка закричала, но вместо крика получился тихий стон, похожий на выдох. Она видела розовое ухо, маленькое и аккуратное, как у ребенка, она не могла отвести взгляда от этого уха, ухо было совсем близко. Стена вдруг стала куда-то отодвигаться, пол качнуло, будто комната отчалила и поплыла. Белка оступилась, расставила ноги, чтоб не упасть.

Бес сжал ее ягодицу, потом ухватил ладонью лоб, Белка пыталась коленом оттолкнуть его, но пинала вяло беспомощно. Он вцепился в трусы, скомкав материю, с силой рванул. Звонко треснула резинка, затрещала тонкая тряпка. Белка вскрикнула — она почувствовала его пальцы внутри себя. Не отдавая себе отчета, Белка наклонила голову. Ухо было совсем рядом.

7

Ее били, потом кинули в карцер.

Этот карцер по неизвестной причине в тюрьме называли «Баюн». Там не было окон, не было света, пол, по форме напоминавший неправильную трапецию, шел под уклон.

Белка пришла в себя. Она открыла глаза, стала пялиться в темноту, надеясь хоть что-то разглядеть. Поднялась на четвереньки, медленно, на ощупь, добралась до стены, встала. Покатый пол, невидимый и скользкий, попытался накрениться. У Белки закружилась голова, ей почудилось, что она идет по зыбкому подвесному мосту.

Дойдя до угла, она остановилась. С углом тоже было не все ладно, он был какой-то тесный, никак не девяносто градусов. В полной темноте, без зрительного подтверждения, сознание, не доверяя тактильным ощущениям, пыталось навязать привычный порядок — горизонтальный пол, прямые углы. Белка, раскинув руки, вжалась спиной в угол. Ее начало мутить. Она сглотнула, во рту было сухо и горько.

Белка вдруг поняла, что на ней нет никакой одежды, что она совершенно голая. Она провела ладонью по бедру, по груди — ничего. Ей тут же показалось, что она начинает мерзнуть. Она, скрестив руки, прижала локти к животу, присела на корточки.

Тут послышался шорох. Звук был негромкий, словно кто-то в темноте лузгал семечки. Белка перестала дышать. Шорох то усиливался, то замолкал. Белке показалось, что звук начал перемещаться вправо. Потом пополз вверх.

— Господи... — прошептала Белка, обнимая колени и крепко прижимая их к груди. Нужно постараться занять как можно меньше места, нужно затаиться, исчезнуть. Она облизнула сухие губы, нижняя распухла и пульсировала тупой горячей болью. Нужно затаиться, тогда этот, который шуршит, ее не заметит. Ему же тоже темно. Будет себе лузгать свои семечки. Это ж какой-нибудь несчастный мышонок, кроха, не больше пальца. Маленький симпатичный мышонок.

Шорох раздался откуда-то сверху, громче и ближе. Явно ближе. И как он забрался на стену? Если это мышонок? Разве мыши могут по стене? Нет, не могут. А кто может? Кто?

Звук приближался справа. Белка бесшумно выпрямилась, на цыпочках сделала два шага, замерла снова. Теперь ей казалось, что она слышит, как что-то хрустит, громко и равномерно, словно кто-то бойко работает челюстями. Она попятилась, к хрусту добавились тугие удары, мерные как стук резинового молота. Белка не сразу поняла, что это кровь стучит в ее висках.

Внезапно хруст оборвался. Темнота теперь звенела и плыла чернильно-багровыми кругами. Белка втянула голову в плечи, приблизила ладони к лицу, защищая глаза. Застыла. В полной тишине что-то сухое и колющее коснулось ее спины. Белка закричала, бросилась вперед и на всем ходу влетела в стену.

8

— Нет, продолжайте максиган в той же дозировке. Добавьте элениум дважды по пять миллиграммов.

— А ноотропил? Мы всегда при сотрясении кололи...

— Нет. Кавинтон. Я тут все написал... Вот — три раза по пять грамм. Но не раньше субботы.

Хлопнула дверь, Белка чуть приоткрыла глаза. Суббота — это когда? Был виден угол стены и часть потолка с желтоватым пятном, похожим на крыло птицы. Воняло плесенью и какой-то медицинской дрянью. Крыло птицы неожиданно превратилось в профиль носатого разбойника. Голова Белки была налита свинцом — унылым серым металлом, мягким, но невероятно тяжелым. Виски ломило. Она закрыла глаза и равнодушно подумала, что смерть иногда не самый худший вариант. Что все зависит от обстоятельств.

В следующий раз, когда она вынырнула из теплой тьмы, рядом кто-то сипло дышал. Еще настырно жужжала муха. Потолок казался лиловым, носатый разбойник — хитрый хамелеон успешно мимикрировал в синее и стал почти неразличим. Белка с трудом повернула голову, это заняло минут пять. На углу тумбочки, потирая лапки, сидела изумрудная муха.

На соседней койке лежал некто, завернутый как мумия в белые тряпки. Запястья и лодыжки мумии были пристегнуты грубыми рыжими ремнями к железным прутьям кровати. Лицо, торчащее из бинтов, казалось темным, словно копченым. На Белку пристально смотрел блестящий глаз.

— Здорово, — голос у мумии оказался хриплым, но женским. — Проснулась, пиранья?

— Что? — язык Белки распух и едва двигался. — Кто?

— Под хвост долото! — мумия сипло заржала. — Ухо-то Бесу едва пришили.

Память Белки милосердно припрятала этот эпизод на самое дно, закидав обрывками давних снов и забытых кошмаров. Белка даже не была уверена, что та история в красной комнате произошла на самом деле.

— А когда... — она запнулась. — Когда это...

— На той неделе. Дня три о тебе только и говорили. Русская пиранья!

За дверью послышались шаги, щелкнул замок. Соседка замолчала. В палату вошла негритянка в тугой косынке и белом халате. Она включила свет, лампа ярко вспыхнула, спираль тонко запела. Негритянка боком приблизилась к Белке, равнодушно откинула одеяло.

Белка укола не почувствовала. Но почти сразу воздух будто загустел, стал тягучим, как расплавленное стекло. Время словно забуксовало, Белка с вялым интересом следила, как муха трет мохнатые лапки, сидя на углу тумбочки.

Дверь хлопнула. Белка услышала, как, тихо потрескивая, остывала лампа над головой. В нарастающей темноте проплыли красные круги, потом погасли и они. Белка ощутила, как в густеющем мраке происходит какое-то движение. Она уловила странную метаморфозу, не услышала, но, подобно летучей мыши, запеленовала это. Чувство пространства обострилось, ей почудилось, что стены, пол и потолок медленно тронулись и начинают разгон.

Белка поняла, что уже спит.

Воздух посвежел, откуда-то пахнуло рекой. Послышался тихий звон, словно кто-то пересыпал мелкие ракушки из ладони в ладонь. Донеслись едва слышимые детские голоса, они кого-то звали. Белке удалось разобрать — они кричали «Саламанка!»

Она разглядела его, Саламанка вполоборота стоял на границе светового круга. Он улыбался и манил ее рукой. Худое запястье, узкая ладонь. Белка с опаской привстала, осторожно выпрямилась, сделала шаг. Еще один. Саламанка

отступил во тьму. Белка теперь различала его статный силуэт, чернота уже не казалась такой непроглядной. Из темноты выступили очертания шатров с флажками, силуэты каруселей и огромного чертового колеса.

Белка закричала, но крика не получилось. Воздух, плотный как быстрый водный поток, начал тянуть ее в сторону луна-парка.

9

Утром соседняя койка была аккуратно заправлена грубым солдатским одеялом. После душа Белке выдали линялое платье бурого цвета с костяными пуговицами и заношенное сероватое белье — трусы и лифчик. От тряпок воняло хлоркой. Белка вытерлась, медленно оделась. Медсестра-негритянка с молчаливым безразличием наблюдала за ней.

— А где... — Белка кивнула в сторону соседней кровати.

— Иди, — негритянка подтолкнула ее к двери. — Тебя ждут.

Охранник, молодой парень с выбитым передним зубом, повел ее узким коридором, в низкий потолок через равные промежутки были вделаны тусклые фонари. Белка не могла идти быстро, голова была набита тупой ватной болью, каменный пол то дыбился, то уплывал куда-то вниз. Несколько раз она ловила стену рукой и останавливалась. Охранник нетерпеливо подталкивал ее в спину.

Гулко топая поднялись по крутой винтовой лестнице, спаянной из железных прутьев и выкрашенной в ярко-желтый цвет. Как цыпленок, подумала Белка и улыбнулась. Как цыпленок... Она шла впереди, охранник поднимался за ней. Она кожей ощущала на себе его взгляд. На своих ляжках и ягодицах.

— Все разглядел? — зло повернулась к нему Белка. — Или мне трусы снять?

Вошли в пустой холл. Охранник подтолкнул ее к высокой двери. Она раскрыла одну створку, боком вошла и остановилась. За дверью оказалась неожиданно светлая комната, залитая ярким солнцем, с большими чистыми окнами во всю стену. У дальнего окна, заложив руки за спину, стоял комендант тюрьмы Хейз.

— Садись, — он мельком оглянулся и снова уставился в стекло. — Занятная штука, эта жизнь. Я хотел стать священником, а оказался тут, в тюрьме. Мы с тобой по разные стороны решетки, а по сути, и ты и я — мы оба в тюрьме. Занятно...

Он невесело усмехнулся, выдохнул на стекло, наблюдая, как тает туманный овал, а за ним проступает тюремный двор, вышка, часовой в соломенной шляпе, плоская пустыня с таким же плоским, пустым небом.

Белка опустила на простой деревянный стул. Зажав ладони между колен, стала оглядывать кабинет. Пол был выложен светлыми березовыми досками, из светлой березы был и письменный стол. На белой стене висела метровая фотография полной луны.

— Этот снимок сделан с борта «Аполлона-13», — комендант не спеша направился к Белке. — Ты слышала про «Аполлон-13»?

Белка помотала головой, разглядывая фотографию. Отчетливо виднелись кратеры, горные хребты и пустынные поля, усеянные камнями. Вся поверхность была покрыта слоем белесой пыли, словно кто-то обсыпал Луну мукой.

— Ты суеверная? — комендант присел на край стола. — Черные кошки, разбитые зеркала, цифра тринадцать...

— Не знаю... — Белка пожала плечами. — Мама моя...

При чем тут мама — подумала она и замолчала. Комендант разглядывал ее, покачивая ногой, как маятником. Потом перевел взгляд на фотографию Луны.

— «Аполлон-13»... Мало того, — задумчиво начал он. — Мало того, что это была тринадцатая экспедиция к Луне. Так еще старт корабля состоялся в тринадцать часов тринадцать минут. Как тебе такая история?

Комендант ухмыльнулся.

— Неполадки начались сразу — центральный движок первой ступени выключился на две минуты раньше. Мне было четырнадцать лет, а я помню все, как сейчас. Серый экран телевизора, голос диктора... — он покачал головой. — У памяти странное свойство, некоторые события остаются живыми, словно случились только что...

Он задумался, потом прошелся к окну, постоял, словно разглядывал что-то вдали. Медленно вернулся к столу.

— Лунный модуль планировали посадить тут... — он ткнул указательным пальцем в седой бок Луны. — Рядом с хребтом Фра Мауро. Там интересная геология, предыдущая экспедиция... — он запнулся. — Впрочем, это не важно. Первая авария случилась на третьи сутки — тринадцатого апреля.

— Зачем вы мне все это рассказываете? — Белка посмотрела коменданту в глаза.

— Слушай. Ты слушай. Потом все поймешь. Тринадцатого апреля, экипаж только закончил сеанс связи с Землей. Прямая связь из космоса на экране твоего телевизора, фантастика, представляешь? А через шестнадцать секунд после окончания связи взорвался кислородный бак и тут же вышли из строя две из трех батарей электроснабжения. Температура в отсеке упала до пяти градусов Цельсия. Вышел из строя кислородный генератор, в результате взрыва отказал бортовой компьютер и стала невозможной навигация и корректировка. Потом появились проблемы со связью. В Управлении полетом был создан штаб по спасению, там просчитывались и отработывались разные варианты. Но я думаю, мало кто верил, что экипаж вернется на Землю.

Комендант замолчал. Белка перевела взгляд на Луну. Неожиданно из хребтов и кратеров сложилось лицо старухи, старуха ухмылялась.

— Они дрейфовали по орбите, выходили на связь, кислорода оставалось на пять суток. Все идеи возвращения на Землю, одна за другой, отбрасывались, признавались невыполнимыми. Поломка двигателей, разгерметизация спускаемого аппарата — казалось, что выхода нет. Пока второму пилоту не пришла идея использовать для спуска на Землю лунный модуль — капсулу, в который астронавты должны были прилуниться.

Комендант выдержал паузу и торжественно закончил:

— Восемнадцатого апреля лунный модуль приводнился в районе Гавайских островов. Кислорода на борту оставалось на два часа. Всех членов экипажа наградили «Медалью Свободы», высшей наградой для гражданских лиц. Второго пилота звали Фред Хейз. Это был мой старший брат.

Комендант молча смотрел сквозь Белку, задумчиво и хмуро.

— Он меня потом спросил — ты нас похоронил? Я честно сознался — да. Я не смог соврать ему, хоть мне очень не хотелось говорить правду. Тогда он мне сказал: «А я верил, что мы выкрутимся. Ни секунды не сомневался. А главное, я понял, что только я и я один решаю жить мне или умереть. И до тех пор, пока я не поставил на себе крест, я жив. Жив, понимаешь!»

Он снова замолчал, потом наклонился к Белке.

— У меня очень скверная новость. Полицейский, не выходя из комы, умер сегодня утром. Прокурор выдвигает против тебя новое обвинение, он будет требовать смертной казни. Заседание суда назначено на семнадцатое.

Белка рассеянно царапала ногтем угол стула.

— Ты поняла? — тихо спросил Хейз.

Белка кивнула, едва слышно прошептала:

— А семнадцатое, это когда?

Лицо ее стало серым, словно сырой гипс. Она прерывисто вдохнула и медленно, словно дурачась, стала валиться набок.

10

До семнадцатого оставалось две недели.

Когда Белка вернулась в свою камеру, все уже знали и о пересмотре дела, и о дате суда.

— Ну, до суда еще дожить надо! — успокаивала Глория. — Давай решать проблемы по мере их поступления.

— Ага! — встряла беззубая Клэр. — А то не ясно, что за легавого ей балку влепят по самый небалуй!

— А если адвокат...

— Хер горбатый, а не адвокат! — возмутилась Клэр. — Ну какой у этой сивки адвокат? Ей дадут бесплатного доходягу, который не то что мокрушницу, мать Терезу не смог бы защитить. Адвокат, мать вашу! Как дети, честное слово...

Белка молча села на койку. Все верно — ее адвокат, адвокат из Союза защиты гражданских свобод, которого тогда приставили к ней, — мятый тип, похожий на тихого алкоголика, — она видела его всего дважды — двадцать минут в камере, где он, раскрыв потасканный портфель, перекладывал мятые бумажки, и второй раз в зале суда. Там он сбивчиво читал с листа, пару раз переврал ее фамилию, называя то Бокланд, то Кембел. На столе перед присяжными в качестве вещественного доказательства лежал дробовик «Ремингтон». К стволу была привязана веревка с картонной биркой, похожей на ценник. Адвокат иногда поднимал глаза и смотрел куда-то в угол, там стоял синевато-оранжевый флаг штата Аризона. На присяжных, смирно сидевших за деревянной загородкой, точно овцы в загоне, он не взглянул ни разу.

— После суда апелляцию в Верховный Суд подашь, — советовала мулатка с выколотым словом «Месть» на шее. — Вон, Мелисса почти три года после приговора...

— Ну да, все верно! — поддержала Глория. — Апелляция. Там у них чертова прорва прошений, я слышала, в Канзасе один мужик почти десять лет под вышкой прожил.

— А потом? — негромко спросила Белка.

— Ну а что потом? — растерялась Глория. — Потом... Понятное дело... Ну так это ж потом. Все там будем...

Она запнулась и рассеянно перекрестилась.

11

Отец принес «Ремингтон» в начале августа. Четырехзарядный помповый дробовик шестнадцатого калибра с облезшим прикладом, на котором кто-то не очень умело вырезал слово «тихий» — то ли кличку владельца, то ли ружья.

Луна-парк открыли в День Поминовения, который по традиции отмечается в последний понедельник мая. К середине лета их захолустный Сан-Лоредо, известный до этого лишь кирпичным заводом, руинами мексиканской церкви восемнадцатого века, да чесночными пончиками «капасидо», стал самым посещаемым из всех маленьких городков штата Аризона.

Карусели, аттракционы, гигантское чертово колесо стали отличной ширмой для Лос Растрохос, колумбийского наркокартеля, специализирующегося на экспорте кокаина, метамфетомина и героина. После ареста Энрике Серна, картель возглавил его брат Хавьер Антонио. За аналитический ум и скрупулезное продумывание операций он получил прозвище Шахматист.

Амбициозный Шахматист провел структурные изменения, создав картель нового типа — мобильную организацию, оснащенную новейшей техникой и средствами связи. В ультрасовременных лабораториях он начал массовое производство синтетического метамфетомина, дешевого и модного наркотика.

Рынок сбыта, оставшийся от брата Энрике, уже не устраивал Шахматиста. Он решил двинуть на север. В первую очередь его интересовал юг Соединенных Штатов. Сан-Лоредо и весь юг Аризоны до этого контролировал мексиканский «Орден Тамплиеров», патриархальный клан с советом старейшин и человеческими жертвоприношениями на инициациях.

В результате передела сфер влияния были уничтожены несколько приграничных мексиканских городков — форпостов и перевалочных баз «тамплиеров». «Тамплиеры» сдали свои позиции, но недавно избранный президент Мексики Энрике Ньето объявил войну с наркомафией своим главным приоритетом. За предыдущие шесть лет на территории Мексики в результате нарковойн погибло более семидесяти тысяч человек.

В ответ на проведенную мексиканской полицией операцию Шахматист развернул кампанию тотального террора — по его приказу убили одиннадцать мэров, расстреляли сотню полицейских, взорвали несколько полицейских участков. Городок Сюадад-Хуарес на неделю вообще остался без полиции — после взрыва в управлении полиции, все оставшиеся в живых полицейские подали заявление об отставке.

Когда отец принес дробовик, мать устроила скандал и весь день не разговаривала с ним. Вечером в новостях показывали полицейский репортаж, красивая белозубая дикторша взволнованным голосом попросила убрать от телевизора детей. На восточной окраине Сан-Лоредо, за брошенным кирпичным заводом обнаружили восемь обезглавленных трупов. Среди убитых была девочка лет семи.

Трубу кирпичного завода было видно из их кухни, а до фабричных ворот минут пятнадцать быстрым шагом. Там раньше работал отец Белки. Завод закрыли прошлым маем, с тех пор отец работу так и не нашел. Тот факт, что на этом заводе работала половина Сан-Лоредо и, что вместе с отцом остались без работы почти все их знакомые, семью Белкиных утешал мало.

Мать предлагала переехать. Уехать на север, в Вермонт или Нью-Хэмпшир,

начать с нуля — заняться разведением пчел или форели, каким-нибудь фермерством, выращивать эти органически чистые овощи и салаты, которые сегодня продают за сумасшедшие деньги. Она находила в сети какие-то огородные блоги и восторженно зачитывала оттуда чудесные истории сказочного обогащения продавцов укропа и редиски.

К декабрю отец был согласен на все — два месяца назад он получил последний чек пособия по безработице. К декабрю отец уже был готов переехать куда угодно — в Вермонт, Нью-Хэмпшир, на Марс, к черту на рога. Сбережения были на нуле, для переезда нужны были деньги, нужно было продать дом. Однако выяснилось, что продать их дом практически невозможно: желающих жить на захолустной окраине с видом на мертвые трубы кирпичного завода не нашлось.

Отец продолжал рассылать резюме. После кризиса строительная индустрия так и не очухалась и потребность в кирпиче оставалась почти на нуле. Отец считался отличным оператором печей для обжига, он любил рассказывать, что именно из его кирпича сооружен постамент памятника генерала Джека Свиллинга в столице штата, городе Феникс. И еще несколько знаменитых зданий, включая новое здание Дворца Правосудия.

По странной иронии именно в этом Дворце Правосудия Белке дали десять лет строгого режима и именно туда ей снова предстояло отправиться семнадцатого числа.

12

Бес не показывался два дня. На третий Белка увидела его на плацу, куда их вывели из цеха на перекур. Голова Беса была обмотана бинтом, словно у него болел зуб. Белый бинт казался самым ярким пятном в унылом охристом пейзаже тюремного двора. Белка инстинктивно втянула голову, спряталась за Глорию. Но Бес успел ее заметить.

Он долго смотрел в их сторону, лениво морщась от солнца. Потом не спеша направился к курилке. Он шел, поглаживая тупорылый автомат, иногда пинал мелкие камешки. Он шел к ним, шел и улыбался.

Белка вцепилась в Глорию в рукав.

— Тихо-тихо, — прошептала Глория, быстро затягиваясь. — Он тут не посмеет.

— Ага, — беззубая Клэр ткнула окурком в край железной бочки. — Не посмеет!

Быстро бросив окурочек, Клэр обошла бочку и встала за ней, две другие женщины тоже отошли в сторону. Не доходя пяти шагов до курилки, Бес остановился. Он не брился несколько дней, на щеках и подбородке появилась щетина, редкая и рыжеватая. Белка встретилась с ним взглядом, не выдержала, тут же опустила глаза.

Глория сунула кулаки в карманы платья. Исподлобья следя за Бесом, она закусила фильтр зубами, выпустила дым. Белка часто дышала ей в бритый затылок. Бес подошел вплотную. Снял автомат с предохранителя, нежно провел ладонью по вороненому металлу. Указательный палец лег на курок. Глория выпрямилась, ствол ткнулся ей в солнечное сплетение.

— Курить очень вредно, — Бес левой рукой вынул сигарету изо рта Глории. — Это очень, очень дурная привычка.

Он брезгливо отбросил окурок в сторону.

— Во всех делах твоих помни о конце твоём, как говорил Экклезиаст, — Бес понюхал свои пальцы. — Смерть, Страшный суд, вечное пламя ада... Небось кошмары по ночам мучат? Ручки детские из колясочки тянутся — мама, мама!

Он сказал это, кривляясь, писклявым голосом. Глория, опустив голову, исподлобья смотрела ему в лицо.

— Но неужели ты настолько глупа, что думаешь... — Бес приблизился к ней вплотную, поморщился. — Фу, как от тебя воняет! Неужели ты думаешь, что твоя забота об этой мрази, — он кивнул на Белку, — искупит твой грех? Неужели ты и вправду думаешь, что грех детоубийства вообще можно искупить?

Дальнейшее произошло с молниеносной быстротой.

Глория зарычала, рванулась вперед, словно хотела свалить Беса. Тот резко ушел вбок. Ловко перехватив автомат, коротким тычком ударил Глорию прикладом в подбородок. Раздался хруст, Глория, запрокинув голову, по инерции сделала еще два шага и тихо опустилась в пыль.

Бес сунул в рот свисток.

Через двор к курилке бежали охранники, доберманы, звонко гавкая, рвали поводки из рук. Глорию, с серым от пыли лицом, поволокли, как большую куклу, в сторону караулки. Все заняло несколько секунд, не больше пятнадцати, Белка даже не двинулась с места. Бес вынул свисток изо рта.

— Тебе больно, — он подошел к ней и ухмыльнулся. — А ведь я даже не дотронулся до тебя. Пока не дотронулся.

Он сплюнул и пошел неспешным шагом к караулке. Вдруг остановился, словно что-то вспомнив, обернулся.

— Хочу насладиться ожиданием. Ты знаешь, иногда ожидание праздника гораздо приятней самого праздника. А праздник, праздник — он будет! Я тебе обещаю!

13

Белка с остальными спустилась в цех, тут уже стрекотали швейные машинки второй бригады. Перекур закончился. Белка придвинула табуретку, включила мотор. Проверила шпульку, натяг нити, плотно ли прижимает лапка материю. Все, как учила Глория.

Они шили флаги. Национальные — звездно-полосатые (тринадцать полос, белых и красных, плюс пятьдесят синих звезд) и флаги штата Аризона — сине-красные с рыжей звездой, от которой расходились желтые лучи. Кроили флаги в первом цехе, здесь, во втором, они получали разрезанные на полосы разноцветные тряпки. Они их сшивали двухнитиевым челночным швом, Белка уже знала, что этот шов гораздо прочнее цепного, поскольку не распускался при обрыве нити, да и нити на него уходило почти в два раза меньше. В углу сидела Дорин-оверлочница, мрачная лесбиянка с хозяйской ухваткой, короткой мужской стрижкой и стеклянным глазом, который выглядел гораздо живее настоящего. Дорин оверлоком обшивала флаги по краю и вшивала в угол белую тряпочную этикетку, на которой стояла мелкая надпись: «С гордостью сделано в США». Глория смеялась, что им платят чуть меньше, чем в Китае и чуть больше, чем в Индонезии. Сделано с гордостью и почти что даром — говорила она.

Работали так: Белка сшивала желтые лучи с красным полем. Шесть желтых

полосок и семь красных. Беззубая Клэр пришивала ультрамариновое поле. Глория вшивала в центр рыжую звезду. После передавала Дорин, та обшивала по периметру, вставляла в шов этикетку про гордость. Складывала пополам, потом еще и еще раз. Все — флаг Аризоны готов.

В мутное окно полуподвала был виден дальний кусок плаца и вход в караульное помещение. Белка каждые пятнадцать секунд вытягивала шею, всматривалась в грязное стекло — снаружи ничего не происходило, чьи-то ботинки бесцельно маячили перед самым окном, кто-то входил и выходил из караулки, дверь бесшумно, как во сне, открывалась и закрывалась. Потом она увидела Глорию. Ее вывели под руки.

Белка вскочила, подбежала к окну.

— Эй! — крикнула ей староста второй бригады, — Белка даже не повернулась.

Сквозь пыль окна и из-за стрекота швейных машин происходящее снаружи выглядело, как немое кино, мутное и не очень понятное. Вот Глория споткнулась, едва не упала. Ее грубо подхватили, тряхнули, поставили на ноги. Рядом бесновались два добермана — юрких, как два хлыста, и тоже немых. Откуда-то сверху опустилась клетка, охранники втолкнули Глорию внутрь. Беззвучно захлопнулась решетчатая дверь, охранник что-то крикнул, подал кому-то знак рукой. Клетка медленно поползла вверх и исчезла из видимости. Белка, присев, прижалась щекой к стеклу — двор, кусок стены, клетки видно не было.

— Что это? — она растерянно обернулась. — Что это было?

Швейные машины весело трещали, пестрые тряпки флагов карнавальными драпировками топорщились на столах, живописными складками сползали на пол. Заключенные работали. Белка глаз не видела, лишь линялые платки, затянутые на головах, согласно тюремному правилу.

— Вы что? — тихо спросила она, отходя от окна. — Что с вами?

Машинки продолжали стрекотать.

— Это ж Глория! Она ж... — Белка подбежала к Клэр. — Она ж вам как сестра!

Беззубая подняла злые глаза на миг, не останавливая шитья.

— Вы ж видели... — Белка оглядела цех. — Все видели. Ведь он сам, она даже не сказала ничего. Как же... Ну как так!

— Дорин! — Белка ухватила оверлочницу за плечо. — Ну ведь надо что-то делать? Дорин!

Та встала, приблизила лицо. Белке показалось, что она увидела страх на дне ее стеклянного глаза.

— Дура, — тихо произнесла оверлочница. — Он только этого и добивается. Чтоб ты закатила истерику.

Большими красными руками она без видимого усилия приподняла Белку и усадила за ее стол. Белка дернулась, хотела встать, хотела что-то еще сказать.

— Шей! — приказала Дорин. — И молчи.

Белка опустилась на табуретку, проверила пальцем нить, прижала материю лапкой. Мотор затрещал, игла запрыгала азартным зигзагом, втыкаясь то в красное то в желтое. Белка кусала губы, морщилась, но слезы все равно потекли. Они текли и капали, расплываясь темными кляксами на красно-желтом поле флага Аризоны.

14

В конце смены обе бригады вывели из швейной и выстроили в шеренгу на плацу.

— Вверх смотреть! — скомандовал охранник, коренастый битюг с румяной шеей. — Вверх!

Клетка висела на уровне второго этажа. Из узкого чердачного окна центральной башни, словно клюв, торчала балка с колесом и цепью. Один конец цепи уходил в чердачное окно, другой был припаян к кольцу на крыше клетки.

Глория не двигалась, она лежала, похожая на ворох тряпья. Между прутьев решетки свешивалась нога, смуглая, почти шоколадная, но с розовой пяткой. От этой беззащитной белизны Белке захотелось выть.

Охранник, покачиваясь на каблуках, прошелся взад и вперед, вглядываясь в лица заключенных. Потом достал сигарету, долго разминал ее. Так и не закурив, сунул обратно в пачку. Неспешной походкой пошел к караулке. Не оглядываясь вошел внутрь. Хлопнула дверь и над плацем повисла тишина.

— Она без сознания, — кто-то тихо сказал. — Вишь, даже не шевельнется.

— Чухна! Да ты видела, как Бес ей прикладом? Тут, мать твою, не то что шевелиться...

— Тихо! — Белка узнала южный говор бригадирши из второй. — Атас цинкует, курвы!

Через двор шел охранник с доберманом, это был тот урод-великан с ожогом на пол-лица. Он, не останавливаясь, поглядел вверх, на клетку, потом на заключенных на плацу. Доберман, мускулистый лоснящийся, словно отлитый из черной стали, упруго бежал рядом.

— Кит это, — сказала беззубая Клэр. — Контуженый.

— А что у него с лицом? — спросила Белка.

— Обгорел, что ли, хер его знает.

— Муджахеды его в Афгане...

— В Фигане! Много ты знаешь, сявка...

— Кончай базланишь! — зашипела бригадирша. — Всю ночь хотите на плацу загорать, сиповки потные?

За крепостной стеной тюрьмы, за башнями, за вздыбленными, как застывшие волны барханами растекалась оранжевая муть заката. Там плавилось солнце, чуть сплющенное и похожее на нежный желток. От него струился тягучий жар — нижний край облака загорался ярким волшебным светом, то вспыхивая переливчатой ртутью, то умирая сизым перламутром.

Запад был красив и по-женски томен, а вот к югу небо темнело, наливалось свинцовой синевой, словно там зрела какая-то беда. Оттуда дул упругий ветер, знойный и колючий. По рыжим барханам скользили волны пыли, призрачные и похожие на оптический обман — казалось, что пустыня дышит подобно океану.

Белка облизнула сухие губы, на зубах захрустел песок.

— Дождь... — сказала она неизвестно кому. Сплюнула и вытерла губы тыльной стороной руки.

Солнечный шар коснулся горизонта и неожиданно стал багровым. Желток превратился в нарыв, осветив полнеба малиновым заревом. На миг все вокруг — пустыня, стены, тюремный двор, лица женщин — окрасились теплым персиковым цветом. У Белки перехватило дух — этот сказочный свет, золотой, с

прозрачными лиловыми тенями, казалось, лучился добром и покоем. Белка замерла, стараясь не упустить это чувство, стараясь его запомнить.

Тьма обрушилась почти сразу. На западе вспыхнула и погасла пунцовая полоса, похожая на рану. Тут же, словно кто-то, дождавшись темноты, выпустил из пустыни тугой мощный ветер. Он выл, нес песок, мелкий мусор и сухие колючки. Белка зажмурилась, кто-то рядом выругался, отплеываясь.

— Дождь! — крикнула Белка соседке, скуластой мексиканке с лицом цвета копченой камбалы.

— Это не дождь, — мрачно отозвалась мексиканка. — Гляди!

Она указала рукой на юг. Там на самом горизонте в чернильных потемках медленно бродило черное веретено. Оно ходило плавной юлой, извивалось, будто плясало какой-то шаманский танец.

— Смерч... — прошептала Белка. — Никогда не видела...

Ветер подул сильнее. Мексиканка быстро перекрестилась.

— Торнадо, — сказала она. — «Пыльный дьявол» зовут. Из Сюадад-Хуарес идет...

— У нас в Миссисипи, — перебила ее беззубая Клэр, — такая вот хрень целое озеро высосала. Всю воду, представляешь? Я девчонкой была, мы ходили всей деревней потом раков собирали. По дну ходили...

Смерч напоминал черный хобот. Он змеился, воронка у основания то раздувалась, как юбка, то сжималась, натужно всасывая песок и камни. Среди выдеранных кустов и мусора крутилось вырванное с корнем дерево.

— Дерево, гляди... — изумленно сказал кто-то.

— Что дерево! Коров уносит как делать нечего!

— Я слышала, в Оклахоме целую церковь, прям с людьми унесло. Унесло, а после поставило. Никто не повредился даже.

— Ага! В Изумрудный город, в страну Оз доставило!

— Эй! А ведь эта дрянь прямо к нам движется!

За несколько минут смерч действительно приблизился. Туча, густая, как смолистый черный вар, клубясь, медленно напозала и уже закрыла пол неба. Хобот с воронкой, пьяно раскачиваясь, шарил по земле, другим концом уходил в мохнатое брюхо тучи, словно труба дьявольского пылесоса. Изредка вспыхивали молнии, озаряя округу бледным лимонным светом.

Налетел шквал. Пронесся, больно стегая песком и мелкими камнями по лицу и голым ногам. Белка закрыла лицо ладонями. Сбоку кто-то отчаянно матерился. Кто-то торопливо молился, словно от быстроты произнесения слов зависело спасение. Женщины сбились в кучу, инстинктивно стараясь оказаться внутри толпы, защититься другими телами.

Среди криков и воя ветра неожиданно появился какой-то новый звук — низкий и глухой, он нарастал с каждой секундой. Будто на них несся груженный товарняк — Белке даже почудилось, что земля мелко задрожала.

— Суки! Вертухай! — завизжала какая-то баба, стараясь перекричать грохот. — Дверь отоприте, нелюди!

Она кинулась к двери, принялась колотить руками и ногами. Порыв ветра сорвал платок с ее головы, сизая тряпка, словно ожив, дернулась вбок и тут же взвилась свечой и исчезла. Еще три женщины подбежали к двери. Отталкивая друг друга, они молотили в закрытую дверь.

Белка опустила на корточки, прикрыв глаза ладонями и шурясь, она пыталась разглядеть, что происходит с Глорией. Клетка раскачивалась, как

маятник. Глория пришла в себя, она стояла на коленях и держалась за прутья решетки.

Звук превратился в рев, рев стал почти материальным. Словно на посадку шел реактивный лайнер. Смерч — теперь он был похож на гигантскую мохнатую колонну — легко перевалил через ближнюю гряду барханов, вырвал заросли можжевельных кустов. Зброшенная бензозаправка разлетелась в щепки, вместе с обломками вихрь подхватил старый автобус, что ржавел на обочине. Автобус перевернулся, на миг выставив чумазое брюхо, закрутился и легко, как фантик, исчез в неистовом черном столбе песка, земли, мусора.

Наконец дверь открыли. Белка побежала вместе со всеми. На пороге она остановилась и закричала охраннику:

— Опустите клетку! Она ж погибнет!

Охранник замахал руками, что-то заорал. Схватил ее за ворот.

— Я останусь тут! — Белка вцепилась в дверной косяк. — Опустите клетку!

Клетку начали опускать. Глория что-то кричала, наверное Белке. Смерч боком перевалился через тюремную стену. Южная сторожевая вышка разлетелась, моментально — будто ее сдуло, бревна закрутились как спички. Охранник кособоким крабом подобрался к клетке, отомкнул замок и тут же бросился обратно в караулку.

— Быстрее! — кричала Белка. — Глория, быстрее!

Глория ее не слышала. Она выпрямилась, сделала несколько неуверенных шагов. Воронка уже кружилась на дальнем конце плаца, словно раздумывая, в какую сторону ей податься. Белка снова закричала.

Глория повернулась в ее сторону. Махнула рукой, Белке показалось, что она смеется. Потом Глория что-то крикнула и побежала в сторону воронки.

15

Следующим утром изуродованный автобус отыскался в пяти милях на север. Ураган разрушил четыре деревни на территории Мексики, стер с лица земли кемпинг под Сьера-Виста. Число погибших превысило двадцать человек, около семидесяти получили ранения. Тело заключенной Глории Эсмеральды Соланж найти так и не удалось.

Глория к тому времени отсидела уже половину своего срока. Она получила семнадцать лет тюремного заключения за непреднамеренное убийство своей трехлетней дочери Тиффани. Тиффани скончалась от травм, она играла во дворе, когда Глория, не заметив ее, пыталась вырулить на улицу на своем «додже». Ей бы дали меньше, гораздо меньше, но у нее в крови нашли алкоголь. Процент превышал допустимую норму в пять раз.

Все табельные работы, кроме дежурства по кухне, были отменены, заключенных бросили на уборку. Тюремный двор напоминал свалку: вырванные с корнем кусты, сучья и целые деревья, несколько старых резиновых покрышек, телеграфный столб, опутанный проводами, невесть откуда взявшийся баркас с надписью «Вирджиния» на борту. Клочья бумаги пестрели среди грязи и мусора, прикидываясь цветами, яркими и почти весенними.

Небо, после вчерашнего ада, очевидно, решило забыть все обиды и начать с чистого листа — ни облачка, звонкая синь от горизонта до горизонта. Белка даже зажмурилась, когда их вывели на плац.

Ей и Джил из одиннадцатой камеры выдали носилки. У Джил была странная кличка — Птица, жилистая и тощая с неожиданно красивым грустным лицом, она не была похожа ни на утку, ни на чайку. Белке она напоминала Деву Марию, которая по неясной причине не вышла замуж за Иосифа, а связалась с дурной компанией.

Они наполняли носилки мусором. Потом тащили их, вываливали мусор у главных ворот. Среди хлама и обломков оказалось много мертвых птиц.

— Странно... — Джил подняла за крыло убитого селезня. — Почему они не улетели?

В ее жесте не было ни брезгливости, ни страха. Крыло раскрылось веером, Джил, склонив голову, задумчиво разглядывала изумрудный перелив перьев.

— Иногда смерть не самый худший из вариантов, — Белка вытащила из мусора заляпанный грязью журнал — на мятой обложке негр с фаллосом конских размеров ласкал сдобную сисястую блондинку с бритым лобком.

— Представляешь, если она спаслась... — задумчиво проговорила Джил.

— Она? — Белка удивленно подняла голову, хотя знала о ком идет речь.

— Представляешь? — Джил улыбнулась. — Если...

— Чего расселись! — заорал слоняющийся рядом охранник. — А ну работать!

Джил, не взглянув на охранника, бережно положила мертвую птицу на грудку мусора в носилки. Заметив журнал, усмехнулась:

— Я в таком работала, — усмехнулась. — Непыльно. Только вот на хмурь подседа.

— Хмурь? — Белка бросила журнал.

— Героин, — ответила Джил. — Понесли, а то вертухай уже сатанеет.

Они поднимали носилки, осторожно ступая по битому кирпичу, осколкам стекла, палкам и прочему хламу, направились в сторону ворот. Там уже высился живописный курган из мусора. Рядом орудовали лопатами несколько заключенных.

— Эй, фисташка! — беззубая Клэр поманила Белку. — Как сама?

Белка пожала плечом, тыльной стороной руки поправила косынку на лбу.

— Гля, что я надыбал... — Клэр, озираясь, раскрыла руку, на грязной ладони лежал перстень с синим камнем. — Аметист!

— По-любому на шмоне отметут, — Джил наклонилась к ним.

— А мы сховаем! — засмеялась Клэр.

— Ховай не ховай. Отшмонают, — Джил подняла пустые носилки. — После уборки они нас наизнанку вывернут. Так-то, тетя. Ладно, пошли.

Она кивнула Белке.

К вечеру мусорная куча у ворот выросла до верха крепостной стены, говорили, что завтра пришлют экскаватор и грузовики. На плацу остался лишь неподъемный хлам — ржавый кузов легковушки, несколько толстых деревьев, телеграфный столб, разбитый баркас. Белке с Джил выдали лопаты, они теперь сгребали землю и песок.

Белка первой заметила ремень. В песке блестела медная пряжка. Белка ухватила за ремень, потянула — это была сумка. Женская, из фальшивого крокодила, на молнии. Белка бросила лопату, присела на корточки.

— Что там? — тихо спросила Джил. — Нашла что-нибудь?

— Сумка... — Белка торопливо стряхнула песок, расстегнула молнию.

Джил огляделась, подошла ближе. Ковыря лопатой, прикрыла Белку — два охранника курили у входа в караулку.

— Ну что там? — нетерпеливо прошептала Джил. — Что?

Внутри сумки было обычное женское добро: две помады, косметичка с треснутой крышкой, ключи на брелоке, жестянка мятных пастилок, бумажные салфетки и кожаный лакированный бумажник алого цвета.

Белка раскрыла бумажник. Достала деньги — несколько двадцаток, пара мятых пятерок, несколько долларовых купюр. Пересчитала.

— Сколько? — Джил наклонилась, делая вид, что копается в мусоре.

— Сто тринадцать.

— Алмазно! Еще что есть?

Еще был какой-то проездной на август, несколько пластиковых карт — три кредитных, одна вроде удостоверения. И водительские права. С серого фото улыбалась молодая девица. Права были выданы департаментом транспортных средств штата Аризона на имя Айши Мунир.

— Прикрой меня! — Джил опустила на корточки. Торопливо сложила пачку купюр пополам, оглянулась, спрятала в трусы. — Помаду сховай, за помаду Лупа шмали даст.

— Какой шмали? — ковыряя песком лопатой, прошептала Белка. — Куда я спрячу?

— Куда? — удивилась Джил. — Куда все прячут.

Белка выпрямилась.

— Не буду я... — она запнулась. — Туда не буду.

— Давай сюда, целка! — Джил зло выругалась. — Пластик выбрось, если с ксивой заметут, пятеру пришьют.

— Ну мне это уже не страшно, — Белка сняла ботинок, стала усердно вытряхивать из него песок.

— Что копаешься?

— Сейчас, сейчас, — ковыряясь внутри башмака, сказала Белка. — Камень под стельку залез, никак не выцарапаю.

16

— Последний шанс, — мрачно повторила дежурная, коренастая злая баба в черной униформе. — Кто добровольно сдаст, тому ничего не будет.

Их бригаду построили в предбаннике душевой, в темном, узком, как вагон, помещении, пропахшем хлоркой и плесенью. Дежурная развернулась, шаркнула подошвой и медленно пошла вдоль шеренги, пялясь в лица женщин.

Белка смотрела прямо перед собой в грязный кафель стены.

— Ну? — дежурная шагнула к Белке. — Ведь выпотрошу все равно, твари...

От нее разило рыбой, Белка подалась назад, стараясь не дышать. Дежурная пошла дальше. Белка скосила глаза — Джил с равнодушной ленью разглядывала пол.

— Мэм! — Белка вышла из строя. — Я хочу... добровольно. Нашла кредитные карточки...

Дежурная снова шаркнула, повернулась.

— Так. Уже лучше, — она выставила квадратную ладонь.

— Вот... Удостоверение... — Белка протянула три карточки. — И кредитки.

Дежурная сунула карточки в карман.

— Желающие есть еще? — она оглядела строй.

В душе капала вода, капля за каплей, словно отмеряя время. На плацу зашелся в лае доberman.

— Ладно. Всем мыться! Кроме... — дежурная, помедлив, ткнула пальцем в Клэр. — Кроме тебя.

Белка вывернула кран до упора, подставила лицо под хилые струи душа. Напора не было, вода была чуть теплой. Белка провела ладонью по бедру, по животу, кожа, шершавая от пыли, была словно посыпана мукой — Белке казалось, что она размазывает грязь по телу.

— А ты не полная дура, — тихо проговорила Джил, она подошла, вытирая волосы куцом полотенцем. На ляжке у нее синела татуировка.

— Это что — колибри? — Белка кивнула на татуировку.

— Ага, колибри. Райская птица. Видишь, у нее клювик длинный-длинный, тонкий-тонкий, любому цветку до самого сердца достанет. Там где самый мед. Белка подняла взгляд, посмотрела ей в лицо. Джил глаз не отвела.

— Все имеет свою цену, — сказала Джил. — Особенно тут. В «Медовом раю».

Клэр в камеру не вернулась. У нее нашли перстень с аметистом, и она загремела в карцер на десять суток.

Следующим утром по плацу елозил бульдозер, сгребал бревна и камни. Белка поднимала голову от швейной машинки, глядела в пыльное окно, наблюдая за желтой машиной. Бульдозерист, сонный индеец с кирпичным лицом и с двумя тощими косами, курил и лениво, словно нехотя, тянул за рычаги.

В десять их бригаду вывели на перекур. У ржавой бочки с песком толпилась команда из прачечной, в основном черные — мулатки и негритянки. Джил вытянула из мятой пачки «Салема» две сигареты, одну сунула в рот, другую протянула Белке. Та отрицательно мотнула головой. Белка курить так и не научилась, она опустилась на корточки и, щурясь от солнца, стала разглядывать следы бульдозерных гусениц на плацу, похожие на замысловатые узоры в стиле японского паркового искусства. Бульдозер пыхтел на холостых у дальних ворот. Белка видела, как две прачки-эфиопки подошли к Джил. Бульдозер взревел, закашлялся, выплюнул смоляное облако гари. Черное кольцо удивительно правильной формы плавно поплыло в небо. Дежурный дунул в свисток, заключенные потянулись в подвал. Белка тоже встала. Джил сидела на земле, привалившись спиной к стене и странно вытянув ноги. Правая была босой — белела плоской пяткой, тапок валялся рядом. На груди, по застиранному платью растекалась бурая гадость: у Джил по кличке Птица от уха до уха было перерезано горло.

17

Следователю выделили угловую камеру с узким окном под потолком. Он задавал вопросы, Белка отвечала. Часто отвечала невпопад или просто пожимала одним плечом — она его не слушала.

Белка наблюдала за облаками, мерно текущими в тесном окошке. Это было занятно — словно кто-то крутил кино на малогабаритном экране. Облака были летние, веселые, они озарялись невидимым из камеры солнцем, вспыхивали ослепительно белым, потом грустнели и уползали за раму окна. По фрагменту непросто было определить, на что похоже облако — когда появлялся хвост, Белка уже не могла вспомнить, что ей напоминала голова. Для простоты Белка все облака делила на драконов и сугробы. Драконы иногда превращались в верблюдов или медведей, сугробы так и оставались сугробами.

Следователь снова спрашивал, Белка отвечала, он записывал. В третий раз просил вспомнить то утро в деталях — кто и где стоял, что делал. Не видела ли она чего-нибудь подозрительного. Белка вздохнула — драконы кончились, шли сплошные сугробы. Она рассеянно провела пальцем по столу, прочертила ногтем долгую линию. Следователь запнулся, поднял на нее узкое волчье лицо с синей щетиной. Волк — подумала Белка, ну и волчище...

Через двадцать минут ее отпустили. В дверях она столкнулась с одной из прачек-эфиопок. Той, которая повыше, с плаца. Эфиопка взглянула Белке в глаза и без улыбки подмигнула.

Вяснить, кто зарезал Джил, так и не удалось. После ужина следователь уехал.

День кончился. Когда выключили свет, Белка заснула почти сразу. Среди ночи она вдруг проснулась — резко, словно кто-то выдернул ее из сна. Она даже привстала — пульс частил как мотор, на лбу выступила испарина. Она закрыла лицо руками, ладони были холодные и влажные, они дрожали. Она встала на колени, замерла, пытаясь понять, что случилось: ведь ее разбудил не сон, не кошмар — ей вообще ничего не снилось. Ощущение какого-то животного ужаса до тошноты скрутило все внутри, мышцы противно ныли, точно она всю ночь таскала камни.

До нее вдруг дошло — она проснулась от мысли.

Мысль была проста: через несколько дней ее приговорят к смерти. Это случится во Дворце Правосудия, построенном из кирпичей, которые обжигал ее отец. Потом ее привезут обратно в Медовый рай, она проведет ночь в камере смертников. От двери этой камеры до экзекуторской ровно двадцать семь шагов — про эти двадцать семь шагов знают все в тюрьме. Двадцать семь шагов до эшафота, на котором стоит электрический стул. Белка не могла вспомнить имени, что-то немецкое — то ли Магда, то ли Герда. Точно помнила, что Рыжая.

Ей побреют макушку, положат губку, смоченную электролитом. Сверху наденут стальной колпак. Запястья и лодыжки пристегнут ремнями из свиной кожи, приладят контакты. Пастор прочтет молитву. Включат ток.

Разряд в тысячу вольт пробьет тело от пяток до темечка. Кровь вскипит, глаза лопнут — именно поэтому на нее натянут капюшон, — такое зрелище не для слабаков. А ведь там будут журналисты, родня погибшего полицейского, священник.

Смерть должна наступить через секунд семнадцать.

Белка закрыла глаза и начала считать до семнадцати. Она стояла на коленях и считала. Под конец ей стало жутко от того, сколько времени это заняло. Она никогда не задумывалась о смерти, о процессе умирания — интуитивно ей казалось, что это должно работать как выключатель: щелк — и свет погас. И все. А тут — семнадцать секунд. Почти целая вечность. Целая вечность боли. И какой! Даже если обжечь какой-то паршивый палец — адская боль, адская... И это всего палец, а тут...

Она повалилась на бок. Поджала колени, тихо заскулила и уткнулась в стену. Стена была холодной и скользкой, будто потной. В коридоре зашаркали шаги, Белка закусил губу и затаилась. Сегодня ночью опять дежурил тот одноглазый урод с обожженным лицом. Шаги остановились у двери. Белка кожей ощущала, что урод пялится ей в спину. Ей даже казалось, что она различает дыхание — сиплое, будто он дышал через толстый шарф.

Подошвы скрипнули, унылые шаги зашаркали в сторону третьего блока.

А может не так уж и больно? Может, ты сразу же, в первую секунду, теряешь сознание от боли? И вся остальная мерзость происходит без твоего участия — все эти оставшиеся шестнадцать секунд. Но вот ведь в чем самое гадство — что спросить не у кого!

Белка вспомнила, как убили отца. Как по стенам метались рубиновые и ультрамариновые огни, как орал полицейский мегафон: «Не валяй дурака! Выходи, подняв руки!» Как отец положил дробовик на пол, положил тихо, словно боялся шуметь. Белка тогда в первый раз заметила, что отец носит обручальное кольцо по-русски — на правой руке. И что кисть у него совсем не для кирпичного дела — худая, с тонкими пальцами.

Отец поднялся, открыл дверь. Белка лежала на полу, под столом. В проем двери ворвался белый свет полицейских прожекторов, отец сразу превратился в черный контур. Он шагнул вперед, медленно поднял руки.

И тут они начали стрелять.

Свинец пробивал его тело, впивался в стены. С треском разлетались стекла, сыпалась штукатурка. Белка вжалась в пол, отец попятился и упал навзничь, упал вытянувшись — так падают в воду. Голова гулко стукнула о доски полки. Белка могла дотянуться до лица, она видела ухо и мертвый глаз, удивленно уставившийся в потолок. В ее мозгу крутилась одна фраза: «Не валяй дурака». Белка начала ее бормотать, повторяя, как заклинание.

Стрельба вдруг прекратилась. Донеслась музыка с каруселей, нелепая и звонкая, похожая на шарманку. Белка, повторяя «Не валяй дурака, не валяй дурака», дотянулась до дробовика. Цевье было еще теплым от отцовской руки. Белка отползла в угол, взвела курок. Крепко, как учил отец, уперла приклад в плечо. И стала ждать.

18

Комендант, не отрываясь от компьютера, буркнул:

— Садись, я сейчас.

Белка села. В кабинете вкусно пахло кофе, на столе стояла здоровенная кружка. Комендант цокал по клавиатуре, печатал он не очень бойко, двумя пальцами, время от времени смачно долбя в «Enter», как бы отыгрываясь за неумелость.

— А вы знаете, что вас зовут Пасечник? — спросила Белка, разглядывая фотографию Луны. — Пасечник...

— Что? — комендант рассеянно оторвался от экрана. — Шас-шас-шас.

— Мед и Пасечник. По-моему, не так уж и плохо.

Белка блуждала взглядом по лунным полям и кратерам, потом прищурилась и наклонила голову — старая ведьма, которая привиделась ей в прошлый раз, так и не появилась.

— А семнадцать секунд, — тихо спросила она. — Это правда?

— Что? — комендант снял очки, часто заморгал и тут же стал похож на какого-то потешного зверька.

— На барсука... — Белка улыбнулась.

— Какого барсука?

— Про семнадцать секунд... — повторила она. — Правда?

Комендант удивился, хотел спросить, но уже понял, о чем шла речь.

— Дело в том... — вежливо начал он. — Тут дело в том, что с одной стороны существуют четкие медицинские результаты, а с другой стороны у нас нет прямых показаний...

— Участников эксперимента, — подсказала Белка. — Поскольку все участники в результате эксперимента...

Белка надула щеки и издала сочное «пуф» — будто лопнул шар.

Комендант промолчал, но ласково кивнул головой.

— Тебе здорово не повезло с днем рождения, — сказал он. — Если бы тебе не исполнилось восемнадцати... — он нацепил очки, уткнулся в компьютер. — Ты где родилась?

— В Москве. А что?

— Ну и как там?

— Не помню. Мне три года было, когда мы... А что?

— Ничего. Бюрократия. Сопроводительное письмо в суд. Послезавтра.

Белка и без него знала, что послезавтра. Но, произнесенное вслух, это «послезавтра» словно превратилось в жирную черную точку. Точку невозврата. Белка сглотнула, во рту стало сухо. В груди, в животе появилась и стала расти тугая боль, будто кто-то сладострастно начал наматывать ее внутренности на кулак.

— Ты о'кей? — комендант привстал, тревожно вглядываясь ей в лицо. — Воды?

— Кофе можно? — Белка кивнула на комендантскую кружку. — Вкусно так пахнет...

Кофе оказался чуть теплым и горьким, как яд. Белка двумя руками поставила кружку на край стола.

— Дело в том, что по протоколу я обязан растолковать приговоренному процедуру. В деталях. Как хирург, — комендант открыл папку, достал какие-то бумаги. — Перед операцией.

Он начал читать. Казенный язык был скучным и совсем не страшным. Оказалось, что ток будет две тысячи вольт, что как минимум два электрических потока пройдут через тело в течение нескольких секунд. Что перед экзекуцией необходимо тщательно выбрить не только макушку, но заднюю часть голени — это позволит коже лучше контактировать с электродами и повысит проводимость. Исходный разряд должен сразу привести к остановке сердца. И при точном соблюдении всех положений и правил смерть должна наступить мгновенно, а главное — абсолютно безболезненно.

— Так что... — комендант закончил, торопливо убрал листки в папку, словно боясь, что Белка спросит — а что там еще, на тех, других бумагах?

На других бумагах перечислялись факты нарушения или небрежного соблюдения правил эксплуатации. Были приложены протоколы и медицинские заключения, свидетельства очевидцев.

В штате Вирджиния вместо электролита использовали воду, приговоренный Пауэлл остался жив после разряда в две тысячи вольт, который пропускали через его тело в течение семнадцати секунд. Процедуру пришлось повторять еще дважды. После казни в камере воняло как в коптильне.

В Техасе был случай, когда у приговоренного, Пола Красовски, взорвалась голова. Причина осталась не выясненной.

В некоторых штатах существует закон, по которому приговоренный, переживший три включения тока и чудом оставшийся в живых, считается

помилованным. На штат Индиана этот закон не распространяется, некто Уильям Вэндивер был убит лишь на пятый раз.

В Нью-Джерси палач тюрьмы Вест-Оранж оказался садистом, он умышленно снижал напряжение тока, практически поджаривая свои жертвы. У них лопались глазные яблоки, лоскутами слезала кожа, изо рта шел дым. Приговоренные кричали, они находились в полном сознании на протяжении всей казни.

Комендант сунул папку в стол, задвинул ящик.

— Повезут тебя в автозаке. До города часов шесть — извини, комфорт нулевой... Повезут двое наших. Там передадут городским, — комендант зевнул. — А после суда доставят обратно. Домой.

— А... — Белка хотела спросить, что будет дальше, но она и так знала, что будет дальше. Вместо этого она неожиданно для самой себя попросила:

— Можно на нее посмотреть? Сейчас... До того как...

— На Гертруду?

Белка кивнула. Точно — Гертруда, Рыжая Гертруда.

19

Гертруда напугала Белку. Ей и в голову не приходило, что предмет мебели одним своим видом может вселить такой ужас. Комендант щелкнул выключателем — в потолке мощно вспыхнула лампа и электрический стул оказался в ярком конусе белого света.

— Как в театре... — пробормотала Белка и сделала осторожный шаг. Нить накаливания в лампе противно заныла.

Гертруда стояла на возвышении вроде подиума. Этот подиум, пол и стены — все вокруг было выложено белым кафелем. Не белоснежным, а мутным, цвета разведенного молока. Такой плиткой облицовывают станции метро. В одной из стен было вделано окно, длинное, от угла до угла. За толстым стеклом стояли два ряда кресел, бордовых, плюшевых, как в кинотеатре.

Белка, не доходя шагов трех, остановилась перед Гертрудой. Рыжая краска кое-где облупилась, в проплешинах виднелось старое дерево. Это был массивный стул с прямой спинкой, большой, гораздо больше обычных стульев. В нем было что-то пугающее, бутафорское, словно он попал в этот, выложенный кафелем подвал, из сказки про недобрых великанов. К подлокотникам и передним ногам (назвать их ножками не получалось — каждое было толщиной с бревно) крепились широкие ремни из грубой свиной кожи с металлическими застегками. К спинке стула была приделана стальная дуга с металлическим колпаком, похожим на кухонную миску из нержавеющей стали. Мать Белки в такой замешивала тесто, когда пекла блины.

Белка, тихо ступая, обошла подиум. Пристально всматриваясь, она, с затаенным ужасом, боялась увидеть следы запекшейся крови или пригоревшей кожи. Дерево было чисто вымыто, кафель тоже. Ей даже почудился цитрусовый запах, химический, как у того моющего средства с лимоном на этикетке.

— София... — позвал комендант.

Белка удивленно обернулась, она была уверена, что комендант не помнит ее фамилии, не говоря уж про имя.

— Ну видишь, — сказал он негромким, но бодрым голосом. — Стул как стул.

И фальшиво улыбнулся. Белка посмотрела ему в глаза пристальным долгим взглядом.

— Смерть... — прошептала она одними губами. Ее снова охватил ужас, она вдруг ясно увидела, как ее будут убивать. Тут — в этой самой комнате, похожей на привокзальный общественный сортир. Палач, священник, внимательные лица за стеклом — смесь страха с любопытством, горький запах гари — это горит ее тело, кипит ее кровь. И боль, невероятная боль! А потом, что потом? Пустота, черная бессмысленная пустота? А вдруг — ад? Ад! Она ведь убила человека, а это смертный грех. А если ад действительно существует? И тогда боль и смрад, и черви в глазах, как говорил этот.

Белке почудилось, что на лицо опустилось что-то невесомое и липкое. Она судорожно стала проводить ладонью по лицу, словно снимала паутину. Ужас, заполнявший ее мозг, ее душу, кипел, внутри не осталось ничего кроме ужаса. Бурлящего ужаса, готового взорвать ее изнутри, как паровой котел. Она зло посмотрела на коменданта.

— Правда? Стул как стул? — мрачно спросила она и неожиданно ступив на подиум, запрыгнула на стул.

Комендант растерянно шагнул к ней.

— Ну в общем да! — со злым весельем крикнула она. — Жестковато только. Я подушку подложу. Под задницу. Это можно? Не нарушит проводимости тока?

— София...

— Что? В чем дело? Ведь есть же последнее желание приговоренного к смерти? Мое желание — подушку под жопу!

— София...

— И чего вы со мной, как с принцессой носитесь? Тоже по вашим дурацким протоколам так положено? По правилам... вашим... — она поперхнулась от крика. — Если уж решили казнить, так казните! Включайте ваш чертов ток!

Она схватила железный колпак двумя руками, напялила на голову.

— Давай, Пасечник! Не робей! Где там твой рубильник на тыщу вольт? Чего нам канитель разводить — суды всякие, прокуроры-адвокаты. Всем ведь ясно — мне балку влепят! Вышку! Так в чем же дело — вот она я — тут! На стуле...

Белка просунула руки в ремни на подлокотниках.

— Ну что же ты? Святой отец! — она истерично захохотала. — Астронавт херов! Врубай ток! Ты думаешь — я боюсь? Да мне плевать! Плевать, понял! И на тебя, и на твою вонючую тюрьму. И на весь ваш гнусный мир! Плевать!

Белка плюнула. Плевок попал коменданту на рукав.

— Да! Вот так! Плевать! — Белка рассмеялась. — Все вы мразь! Ненавижу вас! Мразь! И ты мразь! И тот легавый — мразь! Жаль, только одного пристрелила!

Комендант брезгливо, рукавом, медленно стер плевок. Губы его побледнели, он подошел к подиуму.

— Ну давай! — глаза Белки, белые безумные, сверкали из-под железного колпака. — Сволочь!

Она снова хотела плюнуть, но комендант хлестко влепил ей пощечину. Голова дернулась, Белка ударилась затылком о край колпака. Комендант снова ударил ее. Во рту появился соленый привкус.

— Поиграть хочешь... — пробормотал комендант. — Сейчас мы с тобой поиграем...

Он резко затянул ремень на ее левой руке. Грубая свиная кожа сдавила запястье, Белка вскрикнула. Комендант уже затягивал ремень на правой руке. Белка рванулась — стул даже не шелохнулся, он был намертво привинчен к полу. Неожиданно для себя самой, она зарычала, жутким кошачьим фальцетом. Стала изгибаться, подпрыгивать, дергать руками, пытаюсь высвободить кисти.

Комендант, с бледным, серым лицом, отступил назад и с размаху хлестнул ее ладонью еще раз. Из носа брызнула кровь. Белка языком быстро слизнула кровь с верхней губы и, подавшись вперед, изо всех сил пнула коменданта ногой. Ботинок угодил прямо в пах.

Комендант застыл. Хватая по-рыбьи воздух ртом, он вытянулся, потом тихо сложился и заскулил. Белка зарычала опять.

— Сволочь! Так тебе! — она кричала, плюясь на кафель кровью. — Мразь! Сука!

Дверь распахнулась, появился испуганный охранник.

— Господин ко...

— Вон! — хрипло заорал комендант. — Пошел вон!

Дверь спешно захлопнулась. Комендант, морщась, разогнулся. Тяжело дыша, он отступил от подиума.

— Дура ты психованная, — сказал он устало. — Я ж с тобой по-хорошему хотел... А ты такая же падаль, как и все остальные. Падаль...

20

В тюремной парикмахерской стоял смрад прелых хризантем, тяжелый и приторный. Было жарко и грязновато. Охранник, не снимая наручников, усадил Белку в кресло. Сам сел у стены и тут же задремал. Белка выпятила губу, подалась вперед, к зеркалу. Нижняя губа набрякла и противно пульсировала.

Парикмахерша, старая негритянка с фиолетовым лицом, косолапая, в стоптанных клетчатых тапках, весело подмигнула Белке.

— Перманент? — она широко улыбнулась, у нее оказались превосходные белые зубы. — Завивка? Бигуди?

Белка мрачно смотрела в сторону.

— Стрижка? Или что?

— Или что, — буркнула Белка.

— Или что, — довольно пропела негритянка, вытирая ладони о передник.

Из кармана, как из сумки кенгуру, торчал парикмахерский хлам — расчески разных калибров, ножницы, какие-то по-щучьи хищные стальные прищепки.

Парикмахерша расправила и смачно трянула застиранной простыней. Ловко накинув на Белку, подоткнула концы у шеи.

— Не жмет?

— Не жмет.

Негритянка что-то утробно замурлыкала, бесшумно ходя вокруг кресла и вглядываясь в Белкину макушку.

— Ты зря так, с Пасечником... — сказала она.

Белка вопросительно посмотрела на ее отражение в зеркале. Парикмахерша засмеялась.

— Медовый рай! Тут все известно еще до того как случилось. Тюремный интернет!

— Может вашему интернету известно чего это Пасечник меня так обхаживает?

Негритянка снова засмеялась — у нее был молодой звонкий хохоток. Белка невольно улыбнулась.

— Ну ты чисто маргаритка! Пасечник решил через тебя знаменитым стать. Ты со своей вышкой будешь самой молодой бабой. Из тех, кого закоптили. Не только в Медовом раю, а вообще. За всю историю Америки, понимаешь? Это ж в книгу рекордов Гиннеса! — она выпучила глаза. — А ты его по яйцам!

Она снова зашлась звонким хохотом.

— Але! Слышь, ты! — охранник, дремавший на стуле в углу, проснулся. — Хорош тут ржать! Давай стриги ее, жаба жирная!

Негритянка, давясь смехом, махнула рукой. Наклонилась к Белке.

— Он ведь хотел чтоб интервью там всякие, телевидение. Журналисты... Чтоб фотографии в газете. А ты его, понимаешь, ногой по...

Она зажала рот рукой и беззвучно затряслась.

Белка глядела в зеркало — охранник снова закемарил, приоткрыв рот и уютно обняв ладонями живот. Над ним была приколата полинявшая в голубое древняя реклама мыла, а рядом с плакатом в кривой раме под мутным стеклом висела фотография какой-то женщины. Это был один из тех древних фотопортретов, черно-белых, с гладкой студийной ретушью, на которых все женщины выглядели усредненно-красивыми и отличались лишь мастью. Эта, на фото, была радикально гнедой. С ровной черной челкой и смоляными, будто прочерченными углем, бровями.

— Это кто? — Белка кивнула на фото.

— Джулия Расмуссен, — негритянка повернула кран, подставила под струю редкозубую расческу.

— А кто она?

— Первая директриса Рая. Еще в Депрессию, почти сто лет назад.

Негритянка начала неторопливо расчесывать Белкины волосы. От воды они потемнели, стали прямыми. Негритянка взяла ножницы, застрекотала над головой.

— Хочешь, сварганим как у нее — типа ретро? Бабетту эдакую, а?

Белка помотала головой.

— Не мой стиль... — она задумалась. — У тебя бритва есть?

Негритянка вопросительно посмотрела на нее.

Через двадцать минут голова Белки была гладкой и блестящей, как шар для игры в кегли. Парикмахерша стерла остатки мыльной пены полотенцем, отступила назад.

— А что... — глядя в зеркало, проговорила она. — Впечатляет.

Белка открыла глаза — все эти двадцать минут она сидела зажмурившись. Из зеркала на нее хмуро глядело чужое лицо, взрослое и злое. С внезапно потяжелевшим подбородком, синевой под глазами и новой упрямой складкой между бровями.

Белка подняла скованные браслетами руки, осторожно положила обе ладони на голову. Кожа оказалась по-младенчески нежной. Белка усмехнулась.

— Даже очень... — тихо проговорила она, не отрываясь от зеркала. — Даже очень...

21

Татуировки в их блоке колола Зуда, вертлявая жилистая бабенка, похожая на цыганенка. Белка как-то видела ее в душе — на теле Зуды не осталось живого места, вся кожа была покрыта наколками.

— Мощно... — Зуда уважительно кивнула, разглядывая бритую голову Белки. — Можно?

Белка кивнула. Зуда провела пальцами по макушке.

— Красиво... Слушай, — воодушевленно начала она. — А давай, прямо от темечка, дадим такие линии, они будут на затылке сходиться, а после по позвоночнику и как у летучей мыши... такие перепонки, знаешь? Крылья такие? А?

Белка покачала головой.

— Нет. Голову жалко. Я на шее хочу. Только у меня ничего нет. Заплатить...

— Да не гони! — Зуда махнула рукой. — Ты ж у нас, как Майкл Джексон! Знаменитость! Лавандос — труха, нарисую от души.

Она нервно засмеялась. Белка слышала, что Зуда крепко сидит на коксе — дрянном тюремном кокаине, разбодяженном толченым стеклом и мелом.

— У меня тут есть улетные дизайны, — Зуда стала быстро листать засаленную тетрадку с рисунками. — Гляди, вот, с колючкой... Это вокруг бицепса, но можно и на шею. А вот — козырь пики! — кельтская херовина по кругу, а на узлах — черепа рогатые. И дым из ноздрей!

— А это что?

— Ха! Шик! — Зуда загорелась, хлопнула ладонью по тетрадке. — Линию вокруг шеи пустим, а ножницы... А ножницы где?

— Тут ножницы, — Белка провела пальцем под ухом. — Вот тут...

Зуда вытащила розовый школьный пенал с надписью «Диснейленд», расстегнула. Проворно стала доставать жуткого вида инструменты с острыми жалами. Черные от туши, в каких-то грязных тряпках, похожих на истлевшие кровавые бинты, они напоминали инквизиторский реквизит.

— А это, вообще... — Белка потрогала горло. — Не очень больно?

— Не потей! — Зуда откупорила черный пузырек, зачем-то понюхала. — Не больно. Нарядно исполню, как себе!

Одиночество — привилегия свободных людей. В тюрьме человек никогда не бывает один. Он всегда на виду. Даже когда спит. Даже в карцере — там одиночество еще более иллюзорно — мертвый зрачок камеры под потолком, волчок в двери. Каждую секунду ты ощущаешь цепкий взгляд — бездушный и враждебный. До Белки эта истина дошла как-то сразу, как готовая формула. Как аксиома.

Ночью она даже не пыталась заснуть. Неподвижно лежала на спине, широко раскрыв глаза и уставившись в сумрачный потолок. Сквозь решетчатую дверь пробивался слепой свет ночного фонаря из коридора, желтоватый и болезненный. Постепенно потолок утратил материальность, ей почудилось, что над ней теперь туманная высь, клубящаяся и раскрывающаяся, как грозовое небо. Из туч с мрачным величием выступили горы, неприступные колоссы, похожие на готические соборы. Белка подумала, что никогда не бывала в горах, подумала без сожаления, отстраненно. Теперь все это уже не имело никакого значения.

Горные колоссы подернулись рябью и стали оплывать, как свечи. Медленным, тягучим воском стекать в долины, между холмов и курганов, превращаясь в мерцающие озера. Над ними ленивыми хороводами кружились золотистые огни — то ли светлячки, то ли сильфиды. Белке хотелось их разглядеть. От их плавного танца начинала мутиться голова. Я засыпаю — подумала Белка. Засыпаю, засыпаю...

22

Она проснулась от собственного смеха, проснулась за секунду до подъема. Загремел звонок, началась утренняя суeta. По иезуитской традиции охрана врубила радио на всю катушку — до хрипоты. Передавали разнузданное кантри. Суeтливое, дребезжащее банджо было особенно оскорбительно для слуха в столь ранний час.

Белка даже не пошевелилась — она пыталась вспомнить свой сон. Сон ускользал, оставляя лишь послекусие солнца и лета. Еще мгновение назад ей казалось, что она тянет за какую-то нить, что еще чуть-чуть — и она вспомнит. Но вдруг нить оборвалась, и все растаяло окончательно.

В умывальной стоял галдеж. Женщины смеялись, переругивались хриловатыми со сна голосами. В металлические умывальники звонко хлестала вода, из динамика тоскливый тенор пел про город счастья, в который ему никогда-никогда не попасть. На жестянке, прибитой к кафелю, «Тщательно мой руки, грязь — источник инфекции» кто-то снова дописал непристойность. Пахло ржавчиной и хлоркой. Дождавшись своей очереди, Белка отвернула кран, посмотрела в запотевшее зеркало.

Лицо словно уменьшилось, проступили скулы, и пропали веснушки. Белка приблизилась вплотную к стеклу. Как все оказалось просто! Она пыталась выжить, пыталась спастись. Но она не понимала главного — чтобы спастись в аду, нужно убить себя. У той Сони Белкиной, дымчатой и наивной, шансов уцелеть не было. И Глория оказалась права на все сто. Единственное, о чем она не предупредила — у реинкарнации возможен побочный эффект.

Белка провела мокрой рукой по зеркалу. Новые глаза, новые уши — заостренные, чуть хищные. Шея показалась тоньше. Татуировка почти не болела, Белка повернула голову набок, пытаясь получше разглядеть — пунктирная линия обвивала шею, под ухом были выколоты маленькие черные ножницы и аккуратная надпись «Линия отреза».

Белка набрала в ладони воды, медленно опустила лицо. Как все просто! Она прислушивалась к себе новой, к своим новым ощущениям — ее удивляло спокойствие, почти равнодушие. Словно происходящее вокруг было не важнее, чем телепостановка, мерцающая на забытом экране в пустой комнате. У нее мелькнула мысль — а может она сошла с ума? Но даже такое предположение не испугало ее. Какая разница? Главное — она теперь неуязвима. Никто не сможет причинить ей никакого вреда, она поставила крест на всем. В первую очередь — на себе самой.

На завтрак дали овсянку — серую размазню, цветом похожую на мартовскую грязь. Белка отодвинула миску, сложила перед собой руки. Выпрямив спину, она стала разглядывать дальнюю стену столовой. Цвет мышинный. Два окна — квадратных и мутных, были на одной линии, правое чуть выше.

— Завтра меня повезут на суд, — сказала Белка, обращаясь к правому окну. — И это факт.

Ее соседки по столу, прервав болтовню, замолчали. Уставились на нее.

— Рыжая Гертруда — это другой факт, — некоторое время она смотрела в окно. Пыльный квадрат стекла был заляпан побелкой, небо за ним даже не угадывалось. Ей на секунду стало жаль это грязное окно, захотелось тут же разыскать лестницу, забраться туда, наверх, отдраить грязь, смыть пыль, чтоб синева в стекле заиграла, чтоб заблестело солнце. Чтоб было видно птиц, чтоб плыли в нем облака, похожие на верблюдов и на сахарные горы.

— Но смысла в этом нет... — Белка улыбнулась. — И это третий и самый главный факт. Смысла нет.

Ее короткая жизнь — скучная в процессе, нелепая в финале — в ней смысла было не больше, чем в этом грязном окне. Как неудачный спектакль — глупая пьеса, скверные актеры, фанерная луна, и даже в антракте сухие булки и теплый лимонад в буфете, — не более, чем пустая трата времени. Какой смысл в жизни отца? Какой смысл в его смерти? Что стало с матерью и Анютой? Где они? И кто растолкует смысл всего этого?

— Кто? — спросила она вслух. — Бог?

Она вспомнила чистенькую церковь, куда они ходили по воскресеньям. Беленые стены, деревянные скамейки. Похоже на спортзал в их школе, только воняло не потом, а теплым воском. У пастора была какая-то кожная болезнь, красное пятно расцветало на щеке и сползало по горлу под белый стоячий воротник, острый и тесный даже на вид. Он говорил торжественным округлым баритоном, приторным, но приятным. Делал паузы со значением, явно подражая телевизионным проповедникам. Из-за фальшивой значительности смысл проповеди терялся — Белка следила за модуляциями бархатистого голоса, словно качалась в лодке. Пастор любил говорить о грехах.

— Все мы грешны перед Господом, все! Кто мыслью, кто словом, а кто и делом. И, быть может, грех твой послан тебе во испытание, как посылает Господь потерю имущества или болезнь. Для укрепления веры.

Пятно на щеке пастора наливалось багровым, Белка прикидывала свои грехи — их было до обидного немного, особенно после того как Алекс, соседский парень с телом Адониса и мозгами фермера, записался в армию и был отправлен в Афганистан. Она продолжала грешить в одиночку, но это был скучный грех и явно относился к разряду второстепенных.

В паузах между проповедями оживал орган, сипло пыхтел, выдувая деревянные мелодии. Пели псалмы — отец, начисто лишенный музыкального слуха, лишь раскрывал рот, мать с Анютой старались, пели, заглядывая в потрепанный псалтырь.

Закрытие фабрики в Сан-Лоредо пастор называл испытанием веры:

— Ибо сказано в Писании — и волос не упадет с головы нашей без воли Господней! Смиренно и с кротостью должны мы принимать испытания, какие Он возлагает на наши плечи. Грешны мы все перед Господом! Все грешны!

Он призвал прихожан молиться. Потеряв работу, прихожане действительно могли посвятить больше времени беседам с Богом. Строительство луна-парка пастор объявил даром Божиим — теперь каждый найдет работу, на каруселях или в закусочных. Или в сувенирных лавках. От туристов не будет отбоя, деньги потекут рекой. Отчасти он оказался прав — деньги действительно потекли рекой.

В то майское воскресенье в церковь залетел голубь, обычный сизарь. Он метался под потолком, бился в узкие окна. Наконец утомился в нише над органными трубами. Пастор, поглядывая туда, тихо вышел к кафедре и, не включая микрофона, произнес громким шепотом:

— Это — знак! — он указал пальцем на голубя. — Отец наш небесный посылает нам благую весть.

Прихожане начали креститься. Белка услышала, как отец пробормотал:

— Это просто птица...

Больше отец в церковь не ходил.

В день открытия луна-парка на другом конце города случился пожар. Сгорела бензоколонка. В огне погиб хозяин — толстый уругваец по кличке Бобо, и какой-то невезучий мотоциклист, захавший за куревом. Тогда никому в голову не пришло, что это было началом местной — маленькой, но упорной войны за передел сфер влияния. Бензоколонка стояла на отшибе, поэтому, когда рванули подземные цистерны, и горящее топливо превратило всю округу в пылающий ад, сгорело всего пять машин на соседней автостоянке и заброшенный гараж. Пожарники появились через пятнадцать минут, не спеша и без особого рвения потушили огонь и уехали. А еще через три часа, ровно в шесть вечера, торжественно открылся «Коллизеум». Так назывался луна-парк, имя хоть и звучное, но достаточно спорное для места семейного отдыха. Впрочем (как иронично заметил отец) у туристов оно вряд ли будет вызывать исторические ассоциации, связанные с гладиаторской резней и языческими жертвоприношениями. Для американцев вся история до президентства Джона Кеннеди выглядит наполовину мифической архаикой, наполовину голливудской фикцией — это было давно и, скорее всего, неправда.

В день открытия вход в «Коллизеум» был бесплатным. У ворот играл оркестр — утробно ухал басистый барабан, ряженные в гусарские мундиры трубачи усердно дули в сверкающую от закатного солнца медь, усатый тамбурмажор лихо размахивал серебряным жезлом, крутил его, ловко подбрасывая, превращая в сияющее колесо. В воздухе сладко пахло карамелью и калеными орехами, к этому духу примешивалась горечь подгоревших сосисок и воздушной кукурузы. Из полосатых шатров раздавались зазывные крики румяных торговков лимонадом. Лимонад разливали из гигантских стеклянных сосудов, похожих на аквариумы, где среди колотого льда лениво ныряли мясистые яркие лимоны.

За шатрами, подобно сказочным циклопам, высились аттракционы. Карусели с пестрыми, сияющими свежим лаком, конями. Гигантские качели с расписной ладьей размером с автобус (к корме была приделана раскрашенная фигура капитана Синдбада в золотом тюрбане), русские горки «Тайфун» с тройной мертвой петлей, башня свободного падения «Краш». Еще дальше, на холме, возвышалось чертово колесо с огромной светящейся надписью «Коллизеум» на самом верху.

Вся эта развлекательная механика крутилась, гремела, сияла разноцветными лампами. Восторженная публика визжала и хором охала. Опустился сиреневый вечер, где-то мощно грохнуло, затрещало и небо над луна-парком расцвело небывалым фейерверком — такого Сан-Лоредо не видывал никогда.

У подножия чертова колеса, рядом с кассой, притулился сарай, расписанный звездами и драконами. Над дверью висела табличка «Дирекция», на ступенях сидел чернявый паренек в драных джинсах и курил в кулак. Отец

остановился и спросил насчет вакансий. Парень неопределенно пожал плечами, раскрыл дверь и кого-то позвал. На пороге появился лысоватый человек, похожий на школьного учителя, в мятых штанах, сандалиях и рубаше навывпуск.

Он снял очки, оглядел всех по очереди — отца, мать в голубом летнем платье, Анюту с третьей порцией ванильного мороженого с карамелью и тертым шоколадом. На Белку — голенастую, в тугих джинсах цвета бирюзы. Отец повторил вопрос. Лысый виновато покачал головой, что-то буркнул про укомплектованность персонала, снова взглянул на Белку. Впрочем, — морща лицо и протирая очки краем клетчатой рубашки, — впрочем, нам могут понадобиться ассистентки на посадке. Он мотнул подбородком в сторону платформы у подножия колеса, где две длинноногие девицы в невероятно коротких и тесных шортах весело помогали пассажирам забираться в кабинки. Отец неодобрительно оглядел веселых девиц, сухо поблагодарил лысого. В этот момент над их головами оглушительно грохнула петарда и все вокруг окрасилось в густой малиновый цвет — трава, лица, руки, крыша сарая.

Белка вспомнила это леденцовое сияние — тем майским вечером никто не мог знать, что через полтора месяца в этом самом сарае с вывеской «Дирекция» Белку изнасилуют, а еще через час полиция расстреляет тут ее отца. Никто не мог знать, что Белка дотянется до ружья и всадит заряд свинца в живот сержанту Энвигадо. Никто не мог знать, что сержант через несколько недель, не выходя из комы, умрет. И что завтра ее повезут в Феникс и там во Дворце Правосудия приговорят к смертной казни. Никто не мог знать.

— Никто? — громко спросила Белка. — Никто?

Соседки по столу снова замолчали, настороженно поглядывая на нее.

Никто, кроме Бога. Кроме всемогущего, всевидящего и вездесущего Господа нашего. Ведь говорил же пастор — без воли Господней и волос не упадет с головы нашей. Стало быть, была, была на то Его воля! И значит Он уже тем вечером, под взрывы петард, под грохот каруселей, среди визга детей и воплей взрослых, в пороховой гари и сосисочной вони, с усердием маньяка скрупулезно планировал свой бесовский спектакль. Распределял роли, прикидывал реплики, расставлял фигуры по доске. Решал, кому в каком акте суждено умереть.

Белка, не отрывая пристального взгляда от стены, медленно поднялась.

— Убийца! Будь ты проклят! Ненавижу! — Белка схватила миску с кашей и с силой швырнула ее в стену. — Сволочь! Мразь!

К ней подбежала охрана, повалила на пол. Белка кусалась и брыкалась, она продолжала кричать «убийца, убийца», пока ее волокли по коридору в карцер.

23

Утром ей выдали оранжевый комбинезон и новые ботинки. Белка, не стесняясь охранника, стянула через голову тюремное платье, скомкала, кинула в угол. Комбинезон оказался чуть велик, она закатала рукава, подвернула штаны. Новые ботинки надевать не стала, осталась в старых.

На запястьях и щиколотках замкнули стальные браслеты, соединенные цепью. Теперь Белка могла лишь семенить, переступая мелкими шагами, как гейша. Два охранника вывели ее из камеры, долго шли коридором, свернули за угол. Там, в темной нише, оказалась дверь.

Белка зажмурилась. Мокрый плац, только что политый из шланга, всюю

сиял солнечными зайчиками, вспыхивал, словно был усыпан битым стеклом. Или бриллиантами. У тюремного фургона, прислонясь спиной к двери, стоял Бес. Он щурился и улыбался, подставив лицо нежным лучам утреннего солнца. На ухе, приклеенная пластырем крест-накрест, белела повязка. Было около семи утра.

Тюремный фургон, бежевый и заурядный на вид, вполне мог сойти за машину какой-нибудь ремонтной конторы. Или повозку булочника. Бес лениво распахнул заднюю дверь, обе створки настежь. Отошел, наблюдая, как Белка семенит мелкими шагами к фургону. Над тюремным двором задорно носилась пара ласточек.

— Удачная прическа, — ухмыльнулся Бес. — Идет тебе. Красиво и практично. Главное — ток хорошо проводит.

Белка остановилась перед дверью фургона. Она была уверена — и рыжий клоунский комбинезон, и кандалы — все это для того чтобы унижить. Она повернулась к Бесу.

— Подсади, — глядя ему в глаза, сказала она тихо. Не попросила, просто сказала.

Бес перестал улыбаться. Медленно вытер губы большим и указательным пальцами.

— Это ведь я тебя повезу, — прошептал он, чуть подавшись к ней. — Я. Помнишь про праздник? Уже скоро...

Белка молча продолжала глядеть ему в глаза.

— Я... — повторил Бес. — А дорога неблизкая, часов пять. И все больше через пустыню...

Белка выслушала равнодушно, не меняя лица. И вдруг, ощерясь по-кошачьи, рванулась к Бесу. Тот отпрыгнул.

— Береги уши, — серьезно сказала Белка. — Сволочь.

Солнце выглянуло из-за башни, брызнуло сияющим серебром. Становилось жарче, ласточки поднялись выше и кружили, кружили в синем звонком небе. Бес зло двинул кулаком в дверь фургона.

— Кит! — рявкнул он. — Ко мне!

Из кабины неуклюже выбрался одноглазый охранник. В руке он держал надкусанное темно-красное яблоко.

— Эту, — Бес брезгливо кивнул в сторону Белки. — В кузов!

Одноглазый замялся — не знал, куда девать яблоко, потом сунул его в рот, вытер ладони о штаны, подошел к Белке. Нагнулся — он был выше нее на две головы.

— Осторожней, — Бес сплюнул. — Укусить может!

Одноглазый не обратил внимания, взял Белку подмышки и легко, словно ребенка, посадил в фургон.

Внутри было темно, воняло грязью и железом, как в слесарной мастерской. Белка села на ржавый пол. Фыркнул мотор, снаружи кто-то засмеялся, что-то заскрежетало, заскрипело — ворота, догадалась она. Фургон мотнуло влево, потом тут же вправо, Белка покатилась, как куль, ударилась затылком — ухватиться тут было не за что, да и не могла она ухватиться скованными руками.

Кое-как перевернулась на живот, прижалась щекой к железу. Правая створка двери не доходила до пола, в щель была видна полоска дороги, узкий кусок пейзажа без неба. Пустыня, плоская как доска, казалась розовой. Из нее торчали гигантские кактусы, похожие на растопыренные клешни каких-то чудищ, которые пытались вырваться из-под земли.

Белка вспомнила легенду: мормоны, первыми попавшие в эти края, называли эту пустыню Долиной Дьявола. Говорили, что прямо под ней находится спуск в преисподнюю — уверяли, что собственными ушами слышали стоны грешников и сатанинский хохот. Еще говорили, что с наступлением ночи руки оживают и горе несчастному путнику, застигнутому тьмой в Долине. Мормоны рассказывали, как на их глазах один из паломников был живьем утащен под землю — песок, словно жидкое тесто, засосал его. Два других мормона сошли с ума и отказались двигаться дальше.

Было бы здорово, если б их колымагу кто-нибудь утянул в ад! Вот прямо сейчас — вдруг один из этих кактусов ожил бы, растопырил клешни, заграбастал и утащил фургон в самую преисподнюю. Вот был бы номер! Все эти судьи с их законами и смертными приговорами, коменданты, палачи с их электрическими стульями — все бы остались в дураках! Да еще Беса и одноглазого урода по назначению доставили.

Только Белка не верила во всю эту белиберду. Не верила и не боялась. Тем более теперь, после Медового рая.

На обочине мелькнул указатель, Белка разобрать не успела. До чего-то там было семьдесят пять миль. Да и какая разница? — Бес сказал — пять часов, значит, еще часа четыре осталось.

Интересно, а если бы родители не уехали, если бы она так и жила бы в Москве, закончила бы там школу, наверное, поступила бы в институт. Или вышла бы замуж — русские там рано женятся. Может у нее уже был бы и ребенок. Точно! У нее была бы страстная любовь с одноклассником... Нет, однокурсником... Нет, с профессором из университета. Точно, с молодым профессором! И у них бы родился...

Додумать она не успела — фургон резко вильнул, затормозил и встал. Хлопнула дверь, захрустел гравий под каблуками.

— Не укачало? — Бес грохнул кулаком в борт, засмеялся.

Белка вжалась в скользкий от ее пота пол. Она замерла, перестала дышать, вслушиваясь. Снаружи послышалось журчанье, потом свист — Бес мочился и насвистывал «Турецкий марш» Моцарта.

24

Действительно, как бы сложилась жизнь, если б они не уехали? Белка спрашивала — почему: мать уныло вздыхала, будто устала отвечать на один и тот же вопрос, а отец становился хмурым и начинал зло говорить короткими фразами, словно и не с Белкой разговаривал, а ругался с кем-то бестолковым.

— У них нет будущего! — глядя в окно на трубы кирпичного завода мрачно заявлял отец. — Они разрушили все — культуру, науку, экономику. Посмотри, кто у них в друзьях — диктаторы, подонки и воры. Это ж не страна, а бензоколонка! Как только Европа найдет альтернативный источник энергии, цены рухнут и у них там все развалится. Это — вопрос времени!

Но Европа тянула с альтернативной энергией, русские проводили Олимпийские игры, устраивали фестивали и парады, расширяли границы и явно не торопились разваливаться. Белка тогда решила, что если отец неожиданно окажется не совсем прав в своих предсказаниях и Россия продержится еще пять-

шесть лет, то она непременно поедет в Москву — просто так, на месяц-два, посмотреть.

В жестянке из-под конфет с Кремлем на крышке хранились ее «русские сокровища»: бабкина брошь — серебряная ящерица с рубиновыми глазками, янтарные бусы, похожие на четки, фарфоровая статуэтка балерины, несколько значков, цветные открытки. Еще были книги, детские, в бумажных переплетах. «Колобок», «Сказки Пушкина» с акварельными рисунками Билибина (Баба-Яга, летящая в ступе по оранжевому закату над фиолетовым лесом, лет до семи вселяла в Белку ужас — она зажмуривалась каждый раз, когда доходила до этой страницы). Книжки были драные, в пятнах от манной каши и яблочного сока. Особенно досталось «Дюймовочке» — Анюта, получившая книгу в наследство, исчеркала все картинки цветными карандашами.

Теперь и Баба-Яга, и испорченная «Дюймовочка», как, впрочем, и все остальное уже не имело значения. Имела значение лишь «Рыжая Гертруда». Лишь она, да еще те семнадцать секунд с момента подачи тока.

И правда ли, что вся жизнь должна промелькнуть в этот момент? А если и мелькать нечему? Если за восемнадцать лет, скучных и одинаковых, как галька на пляже, ничего интересного не произошло? Школа, уроки, дом, телевизор. Плавание, волейбольная секция, летний лагерь. Рождественские каникулы — скудные подарки под искусственной елкой, от нее вся квартира воняет пластиком, день Благодарения с непременно индейкой. Хэллоуин — Белка в самодельном костюме — мать говорит, что ничуть не хуже покупного, да и какой ненормальный будет тратить полсотни на ведьмин наряд?

В шестом классе — они только переехали из Сан-Франциско, отец получил место на кирпичной фабрике, она никого не знала. Тот мальчик, Малколм, после школы взял у нее рюкзак, сказал, что им по пути. Начался дождь, они бежали по лужам и смеялись. Было радостно, хотелось скакать, петь или просто орать — она до сих пор помнит это чувство. У Малколма были русые кудри, как у ангелочка на рождественских открытках. В их доме теперь живут Гонзалесы.

А все девчонки были влюблены в Стива Ковальски, хулигана и заводилу с узким лицом и янтарными, как чайная заварка, глазами. Стив обзывал ее конопатой — у нее и сейчас летом проступают веснушки, и зубрилой. Через несколько лет он действительно стал вызывающе красив, собиравшийся в Голливуд, но в августе после танцев в «Рокси» ввязался в драку с какими-то мексиканцами. Кого-то пырнули ножом, Стив был там с тремя приятелями, он взял все на себя и получил срок.

Еще был Адам, в девятом классе у него уже была своя машина — старый «бьюик». Адам был галантен и обращался с ней, как с леди, хотя им обоим было очевидно, что она голенастый подросток четырнадцати лет. Он дерзко говорил взрослые комплименты — про загадочную линию шеи, про волнистость волос, напоминавшую дюны в час заката. Белка тратила полтора часа, завивая их электрощипцами.

Густаво, смуглый и быстрый, как ящерица, жил через две улицы, на Сансет-лейн. Его комната, которую он называл пиратским притоном, была увешана плакатами с жутковатыми на вид гитаристами, у стены стоял метровый экран, на котором Густаво рубился в «Смертельную миссию». В игре была специальная кнопка, которой можно было включить «дополнительную кровавость». Его старший брат Туко уже тогда торговал травой, через два года его труп

с пулевым отверстием в бритом затылке найдут на пустыре за Слепым кладбищем. Густаво пригласил Белку в Муни — на пикник, сказал он. Был ветреный май, там, среди камней, поросших затейливым лишайником, он пытался раскурить самокрутку с марихуаной. Они оба кашляли, смеялись. Потом он долго копался с застежкой ее лифчика, Белка сама расстегнула, вытянула лифчик через рукав, а после молча сняла с себя майку.

Ей вспомнилась история трехлетней давности. Под крышей их дома, у дождевого стока, щеглы приместили гнездо. В начале лета там появились птенцы, Белка снизу могла разглядеть их серые пушистые макушки. Как-то утром перед школой она увидела, что один птенец вывалился из гнезда и беспомощно барахтался в траве. Щеглы-родители, отчаянно чирикавая, носились вокруг. Белка бросила рюкзак, на цыпочках приблизилась к птенцу. Он был совсем крошечным, его кургузые крылья, едва оперившиеся, запутались в траве. Белка осторожно взяла птицу в ладонь. Птенец обезумел от ужаса. Он пытался вырваться, тонко пищал, раскрывая желтый клюв. Это и есть самый настоящий «желторотый птенец» — пришло Белке в голову. Она аккуратно накрыла его второй ладошкой, словно нянча младенца, что-то приговаривала ласковым голосом. Птенец бился в ее ладонях, как крошечное испуганное сердце. Белка представила, какой ад переживает сейчас это маленькое существо. Еще она поняла, что с этой минуты ответственность за жизнь птенца лежит на ней — что бы она ни сделала — это будет лежать на ее совести.

Белка не пошла в школу. Она нашла плетеную корзинку, сложив вдвое, сунула на дно старое полотенце. Накрошила хлеба и выпустила птенца в новое жилище. Под самым гнездом из стены торчал крюк, к нему когда-то крепились водосточная труба. Белке удалось подвесить корзину на этот крюк. Завершив операцию, Белка спряталась за угол дома и стала наблюдать. Щеглы с опаской подлетали к лукошку, кружили, тревожно переговаривались. Наконец одна из птиц (мамаша — решила Белка) присела на край и, помедлив, юркнула вниз. Папаша, пристыженный храбростью подруги, тоже в конце концов решился. Белка разглядела в его клюве какую-то муху, которую он принес малышу.

Ночью обрушился ливень, тропический, с рокочущим громом и белыми молниями, которые яростно раздирали чернильное небо напополам. Белка несколько раз вставала и на цыпочках подходила к окну, пытаясь разглядеть корзину. На рассвете Белка с тяжелым сердцем вытащила из кладовки стремянку, забралась и, замирая, заглянула в корзину. Птенец был жив. Он, нахохлившись, сидел на мокром насквозь полотенце, среди хлебных крошек и мелкого мусора.

Весь день у нее было чудесное настроение — она придумывала птенцу разные имена, фантазировала, как он будущей весной, солидным семейным щеглом, вернется к ней и смастерит гнездо в ее корзине. Она даже похвасталась Густаво, но тот ничего не понял и сказал, что она чокнутая.

Воскресной ночью ударили заморозки. Белка проснулась от холода, полусонная, она закрыла окно, подумала, что надо бы занести корзину в дом. Но вместо этого залезла под одеяло и тут же заснула.

Той ночью птенец умер. Он замерз. Белка похоронила его в клумбе среди пионов. Она плакала и злилась на бестолковых щеглов-родителей, которые не догадались согреть малыша, на дурацкие заморозки. Этой злостью она пыталась заглушить стыд — ей было стыдно. Стыдно своего глупого тщеславия, своей

лени, своего эгоизма. Оправдать можно все что угодно — любую подлость, любую глупость. Можно объяснить, найти логичные аргументы, можно посадить перед собой собеседника и убедить его в своей правоте. Но как оправдаться перед собой? Белка тогда поняла — этот птенец теперь на ее совести навсегда. До конца ее жизни.

25

Суд был назначен на час дня, потом перенесен на два. После двух судья Эйб Посторус давал интервью вашингтонской газете. Заседание началось в три десять.

— Слушается дело «Штат Аризона против Софии Белкин», — красивым звучным тенором объявил секретарь, молодой человек, почти мальчик, в элегантном костюме антрацитового цвета. — Прошу всех встать!

Все встали. Белка тоже поднялась, оглянулась. Ни матери, ни Анюты в зале, слава Богу, не было. В последнем ряду она заметила Беса и второго, одноглазого. Зевак на этот раз оказалось мало, в прошлый раз ее судили при полном аншлаге. Не было и присяжных, боковые скамейки, освещенные пыльными лучами солнца, пустовали.

Из боковой двери появился судья, поднялся на кафедру, погремев стулом, уселся. Жестом ленивой руки разрешил всем сесть. За судьей на темной дубовой панели висел чеканный герб Аризоны из какого-то золотистого металла, по бокам стояли два флага — штата и национальный. Белка усмехнулась: знакомый узор, двухнитиевый шов, «С гордостью сделано в США». От этой усмешки адвокат, сидевший по левую руку, насторожился и с испугом взглянул на нее. Тут же отвернулся и начал тщательно протирать очки платком.

Адвокат был тот же — Белка не помнила его имени. Коротконогий, с короткой шеей и короткими пухлыми руками, он был похож на резинового пупса-голыша, ради забавы наряженного в костюм и галстук. Адвокат сильно потел, говорил редко и тихо, с робкими интонациями, будто сам не очень был уверен в сказанном. Все остальное время он, словно заводная игрушка, повторял череду несложных операций — поправлял стопку бумаг перед собой, вытаскивал платок, снимал очки, протирал стекла, вытирал потное лицо, прятал платок в карман, надевал очки и снова поправлял бумаги.

Про Эйба Посторуса в тюрьме ходили слухи, что он связан с «Лос-Ластрохос». Что деньги на выборы он получил от Шахматиста, что без этих денег Эйбу нипочем не получить судейскую мантию по третьему кругу. Его соперника Карла Лонга поддерживали братья Шульцы, Эрнст и Отто, влиятельные и жесткие дельцы, хозяева половины нефтяных и газовых разработок штата, двух казино и сети бензоколонок «Шульц».

Но выиграл все-таки Эйб.

Элегантный секретарь начал зачитывать обвинение. Он делал паузы в наиболее драматических местах текста, умело модулировал голос. Белка опустила голову, прикрыла глаза. Постепенно у нее появилось ощущение, что она слушает приемник, одну из этих чудных радиопостановок для домохозяек.

— Обвиняемая произвела один выстрел из дробовика модели «Ремингтон», — секретарь с достоинством кивнул в сторону стола, где лежала улика — ружье с привязанной к нему биркой. — В результате полученного ранения

(пауза) сотрудник полицейского управления города Сан-Лоредо сержант Доминик Суарес Энвигадо (пауза) скончался.

Адвокат достал из пиджака авторучку и что-то торопливо записал на верхнем листе стопки бумаг из ее дела. Белка скосила глаза, прочла. Там было коряво написано: купить «Вискас». Надпись была дважды подчеркнута. Белка не могла вспомнить, что такое «Вискас».

Секретарь закончил, замер, словно ожидая аплодисментов. Судья что-то буркнул, секретарь разочарованно опустил на скамью.

— Господин Селтик! — раздраженно повысил голос судья. — Ждем теперь вас!

Прокурор Селтик, сухой, весь в черном, похожий на обнищавшего виконта, медленно встал. Вышел из-за стола. Задумчиво сцепив костистые пальцы, словно его застали за молитвой, посмотрел поверх голов куда-то в дальний угол.

— Милосердие... — медленно произнес он, мрачно оглядывая зал. — Что есть милосердие?

Кошачий корм — вспомнила Белка. У нее внезапно схватило голову — резкая боль сдавила затылок, остро, как спазм. Белка, боясь даже вздохнуть, испуганно застыла, зажмурилась. Память, точно застав врасплох, вместе с болью и темнотой, тут же вернула ее в ту ночь. Вспыхнули пестрым коллажем застывшие картинки: чертовое колесо в разноцветных лампочках, черные лаковые сапоги с острыми носами, к подошве одного, словно тайный знак кому-то, прилип ярко-зеленый листок клевера.

— Саламанка... — едва слышно прошептала Белка.

Кто-то зашуршал фантиком, кто-то прокашлялся. Солнце, протиснувшись между домами на противоположной стороне улицы, брызнуло косыми лучами сквозь немытое окно. Зал суда стал похож на мутный аквариум.

— Давайте по существу дела, — судья недовольно скрестил руки, откинулся в кресле. — Без этих театральных... Ладно? У меня еще этот Гринберг, а уже почти четыре...

— Да, ваша честь, — прокурор сдержанно поклонился. — Разумеется. Именно по существу...

Возникла пауза и в душной тишине судебного зала отчетливо прозвучал голос подсудимой. Белка громко повторила:

— Саламанка...

26

Нестор Родриго Саламанка с рождения не обладал ничем, кроме звучного имени. Впоследствии к этому имени добавят кличку Бешеный, кличку, которой он будет втайне гордиться и суть которой он будет старательно подтверждать при каждой возможности.

Саламанка появился на свет в трущобах Рио-дел-Рохос, на восточной окраине, зажатой между мусорной свалкой и болотом, переходящим в непролазную топь сельвы. Кривые лачуги, громоздясь друг на друга, старались удержаться на склоне, но неумолимо сползали в ржавую топь. Воронье кружило над свалкой день и ночь, иногда кто-то поджигал мусор и тогда округу заволакивало смердящим черным дымом, от которого все — крыши, стены, руки, лица, — покрывались жирной сажей.

В четырнадцать лет Саламанка организовал банду подростков, они карау-

лили заплутавших автотуристов, в основном американцев и бразильцев. Деньги делили, драгоценности, часы и камеры Саламанка сбывал в городе. Именно Саламанке пришла идея поставить на шоссе липовый указатель «Закуски и напитки». По этому указателю их и нашла полиция.

Через четыре года Саламанка вышел из тюрьмы, его уже звали Бешеный. В одной из драк он зубами перегрыз локтевое сухожилие своему противнику. Молва приукрасила эту историю: теперь по тюрьмам рассказывали, что Саламанка перегрыз горло какому-то страшному силачу-бразильцу.

Заключение восполнило пробелы в образовании — в тюрьме Саламанка научился читать. Последний год срока Саламанка пристроился тюремным библиотекарем. Ему полюбился затейливый Маркес, изящный Камю, мрачный Кортасар. Как ни странно, особенно по душе ему пришлись стихи. Он наизусть заучивал Лорку, сам пытался писать. Вирши получались неважные — слюнявые и неказистые, все больше про трели птиц на закате, про цветы и облака. Бешеный стихи никому не показывал, но упорно продолжал сочинять сонеты и элегии.

В тюрьме он впервые услышал про Эскабара. Истории, ставшие легендами, вновь и вновь пересказывали «кандихорос» — тюремные менестрели. Саламанку вгоняла в слезу история про то, как Эскабар, скрываясь от полиции, очутился на заснеженном перевале в одинокой хижине. С ним была его пятилетняя дочь. Дров в хижине не оказалось и чтобы спасти ребенка, Эскабар всю ночь топил печь деньгами. За ночь он сжег полтора миллиона долларов.

Саламанке виделись мистические совпадения его судьбы с судьбой Эскабара: ну хотя бы начать с того, что родились они в один и тот же день — второго декабря. Эскабар тоже был выходцем из трущоб, ни денег, ни влиятельной родни у него, как и у Саламанки, не было. И начинали они одинаково — в тринадцать лет Эскабар верховодил бандой малолетних рэкетигов. Правда, дальше начинались различия: к двадцати пяти годам Эскабар стал самым богатым человеком Колумбии, а к тридцати контролировал мировой оборот кокаина с базами на всех континентах. Ну и последнее и главное различие состояло в том, что Эскабара застрелил снайпер (причем застрелил второго декабря, как раз в день рождения), а Саламанка был жив.

Выйдя из тюрьмы, Саламанка сколотил банду. Это был мобильный отряд головорезов, созданный по образцу групп морской пехоты. С беспрекословной дисциплиной и армейской субординацией банда Бешеного быстро взяла под контроль ключевые районы Рио-дел-Рохос. Впрочем, рэкет Саламанку уже не очень интересовал, на этом этапе его больше всего заботила репутация. Когда слава о его подвигах достигла столицы, Саламанка добился встречи с Шахматистом и предложил свои услуги картелю «Лос-Ластрохос». Он гарантировал безопасность производства, транспортировки и распространения товара, а главное, брал под свою ответственность все денежные транзакции, включая отмывание и перевоз наличности через границу.

Дорога ложка к обеду — Шахматист как раз планировал экспансию на юг Соединенных Штатов — Техас, Аризона, Нью-Мексико. Саламанка получил Аризону. С центральной базой в городишке Сан-Лоредо, где как раз завершалось строительство луна-парка «Коллизеум».

Прокурор говорил уже минут десять. Говорил, неторопливо прохаживаясь вдоль дубовой кафедры, по привычке адресуя ключевые пассажи в сторону пустых скамеек для присяжных. Иногда аристократическим жестом худой руки подчеркивал важность сказанного, проводя жесткую линию невидимым мелом на невидимой доске.

Судья уже во второй раз посмотрел на часы и громко, со значением, откашлялся.

Прокурор Селтик даже не обратил внимания. Прокурору Селтику сегодня было плевать на судью. Его не смущал полупустой зал, отсутствие присяжных. Сегодня он говорил для истории. Стенографистка, линиялая девица с острым носом, проворно нажимая на клавиши, фиксировала каждое слово его речи. К следующему семестру эту речь будут изучать студенты Гарварда и Йеля, на нее будут ссылаться прокуроры и судьи во всех штатах страны. Возможно, эту речь даже назовут «обвинение Селтика», а еще лучше — «аргумент Селтика». Прокурор сделал мысленную заметку сегодня же обновить свою страницу в Википедии и подкинуть новый термин знакомым журналистам. «Аргумент Селтика» — совсем, совсем неплохо.

Прокурор добрался до финала. Солнце садилось. Из окна тек пыльный медовый свет, ложился ломаными квадратами по полу. Селтик уже не смотрел ни в зал, ни на судью — он прошелся вдоль кафедры и остановился в луче света. Поднял крупное породистое лицо — тени вылепили ястребиный профиль, замер, словно медиум, вслушивающийся в ангельский голос. В зале стало абсолютно тихо.

«Вот ведь сукин сын», — подумал судья, даже у него по спине пробежали мурашки.

— Милосердие... — задумчиво произнес прокурор. — Что есть милосердие? Зал безмолвствовал.

— Милосердие закона, милосердие общества... Милосердие Всевышнего, наконец... Всегда ли они совпадают? — прокурор медленным взором обвел зал. — Всегда ли буква закона совпадает с движением нашей души? Всегда ли мы ощущаем этот божественный резонанс — да, правосудие свершилось? Свершилось на земле, свершилось на небесах.

Он сплел пальцы, посмотрел вверх, словно ожидая оттуда одобрения.

— Я прокурор. Моя миссия — обвинять. Но сегодня я говорю о милосердии. Не о благих намерениях, не грошовой милостыне, не о мещанской доброте, а о милосердии с большой буквы. Так легко, надев ханжескую маску, тешить свое фальшивое человеколюбие, лелеять свой фарисейский гуманизм.

Он остановил брезгливый взгляд на адвокате. Тот, как по команде, снял очки и принялся их беспокойно протирать.

— Простить? Простить ее? — прокурор, не глядя на Белку, ткнул в ее сторону пальцем. — Да, это можно... Подарить ей жизнь? Почему бы и нет. Пустив слезу, сослаться на юность преступницы и заменить смертную казнь пожизненным заключением?

Когда пауза стала невыносимой, он вдруг взорвался, почти крикнул:

— А нужна ли ей самой такая жизнь?

Зал испуганно молчал. Прокурор продолжил обычным голосом, спокойно и рассудительно:

— А не станет ли наша... хм... добренькая доброта самой лютой пыткой? Не превратим ли мы ее существование в ежедневную казнь, растянутую на десятилетия? Подумайте!

Прокурор медленно повернулся к судье, выпрямил спину.

— Милосердия! — твердо сказал он. — Одного лишь милосердия прошу, ваша честь.

За спиной кто-то захлопал в ладоши, судья треснул молотком и сердито прикрикнул в зал.

28

Официально должность звучала красиво и интеллигентно — ассистент по обслуживанию и эксплуатации аттракционов. На деле их звали просто и по существу — «карусельные девчонки».

Фасад сарая с табличкой «Дирекция» был пестро расписан звездами, драконами и хвостатыми кометами. Интерьер же Белку разочаровал: в тесной комнате с низким потолком стояли несколько столов с неважными компьютерами, конторские стулья, допотопные телефоны. На полу, перетянутые бечевкой, валялись пачки цветных брошюр и рекламных листовок. Стояли картонные коробки, из одной в прореху высыпалась какая-то серая гадость, похожая на цемент. В углу, упираясь в потолок, громоздился сейф-великан. Он важно сиял черным лаком, как концертный рояль. Из двери, толстенной, явно бронированной, и скорее всего пуле- и огнеустойчивой, торчало хромированное колесо, похожее на корабельный штурвал. Дорогу к сейфу преграждал директорский стол, за которым обитал сам директор — Сол Шапиро, лысеющий толстяк с неубедительной физиономией. Тот самый, которого они встретили в день открытия луна-парка.

Он протянул Белке контракт — дюжину листов слепого текста с кучей пунктов и сносок. Документ походил на инструкцию для пользования какой-то сложной машиной. Белка пролистала, не читая, подписала.

— И число поставь, — директор пальцем показал строчку. — Вот тут. Двадцать первое сегодня...

Белка поставила число.

Ее напарница Сюзи, длинноногая девица, томно жующая резинку и выдувающая время от времени розовые пузыри удивительных размеров, небрежно оглядела новенькую, чуть задержав взгляд на груди — у самой Сюзи бюст был понятием скорее номинальным, нежели визуальным. Лениво растягивая гласные, спросила:

— Навар пополам или как?

— В смысле? — не поняла Белка.

— Чаевые, в смысле, — Сюзи быстро раздражалась. — В общий котел, после смены делим пополам. В таком смысле.

— А что, кто-то чаевые дает?

Сюзи выпучила глаза.

— А ты что, за восемь баксов в час собираешься работать? — она присвистнула. — Во наив...

Белка виновато улыбнулась.

— Конечно, дают! Особенно семейные мужики. Ты их короедов в кабинки

усаживаешь, ремешки пристегиваешь... Папаше — улыбочку. Два-три доллара в карман.

Сюзи надула пузырь, он с треском лопнул.

— Мамаши не дают, на них не акцентируйся, — продолжила она. — Фокус — на папаш! Но не лебези. И особо жопой не крути, води себя достойно. Дистанцию держи. Так и бабок больше и головной боли меньше. А то они там нафантазируют себе черте-что, козлы старые... Это ясно?

Белка кивнула — ясно.

— Но этот монашеский прикид тоже не катит, сменить надо. Оптимальный вариант — шорты, — Сюзи выставила свой тощий зад в обрезанных под самые ягодички джинсах. — Эротично и трусами не светишь. У нас же вся работа, считай, в полнагиба.

Сюзи оказалась права. В будний день на двоих у них выходило тридцать-сорок долларов, а в выходные чаевые переваливали за сотню. Тогда улов состоял не только из мятых и влажных долларовых купюр, но и пятерок, а иногда и десяток.

— Ха! Помнишь того папика, что червонец тебе отслонявил? — Сюзи расправляла ассигнацию с портретом Гамильтона. — Как он на твои сиськи пялился! Во козел!

Сюзи хлопала в ладоши и громко смеялась, показывая крупные белые зубы с алой полоской помады. Белкина мать, однажды видевшая Сюзи, безусловно, была права — лахудра, самая настоящая лахудра. Невежество напарницы ставило Белку в тупик — Сюзи представления не имела о самых тривиальных вещах: почему воздушный шар летает, кто такой Марк Твен, где находится Китай. Она считала, что Линкольна убили вампиры, что если ежедневно по полчаса висеть вниз головой, то грудь будет круглой. Что каждый оргазм прибавляет женщине семь минут жизни, а каждая сигарета отнимает пятнадцать, и если правильно сбалансировать одно с другим, то курение выходит не таким уж вредным, как об этом пишут на сигаретных пачках. Главное — все грамотно просчитать.

На Белку положил глаз механик, худой и черный, как жук, парень с гавайской татуировкой на руках. Он молча приносил ей холодный лимонад и подмигивал карим глазом.

— Моргай-моргай, милый! — презрительно шипела ему в спину Сюзи. — Ты не вздумай с ним. Чеканутый во весь рост пацан! Поехала с ним в пустыню, там, за Хорсио миль восемь, так он вместо того чтоб... — Сюзи сделала неприличный жест. — Он вместо этого под камнями искал гремучек, обливал бензином и поджигал.

— Змей? — Белка сморщилась и поставила бутылку лимонада на землю.

— Ну! Гремучих змей, мать твою! Представляешь?

Раз в неделю, ближе к вечеру, к конторе подъезжал здоровенный джип с черными стеклами, из него появлялся брюнет, неспешный, с туго зачесанными назад волосами. Он закуривал тонкую сигару, по-хозяйски оглядывал крутящееся, звенящее, визжащее карусельное хозяйство и, не снимая темных очков, входил в контору.

В ту пятницу он как обычно появился около восьми.

— Саламанка! — сообщила Сюзи на ухо Белке.

— Хозяин?

— Ты про картель слыхала, про «Лос-Ластрохос»? — зловещим шепотом спросила напарница.

— Это кокаином который торгует? Ну так это в Колумбии же? Или в Мексике?

— Ага, в Мексике... — Сюзи презрительно поглядела на Белку. — Все эти убийства — вон, вчера еще одного нашли за кладбищем, — ты что ж, думаешь, случайно? Они старых дилеров мочат, скоро весь город под себя подгребут.

— Откуда ты все это... — Белка недоверчиво прищурилась.

— У меня один... в общем, пацан, он в полиции работает. Не легавый, он там в ай-ти, компы им чинит и все такое. Так он говорит, что полиция всего штата на ушах стоит и все такое.

— Ну так что же они его не арестуют? Этого... как его?

— Саламанку, — подсказала Сюзи. — Так он легавым отстегивает. Коррупция! Картель всех, кого надо, подмазал. Всех! Чуть ли не до Вашингтона.

— Джорджа Вашингтона? Так ведь он умер, — Белка не была уверена, что Сюзи располагает этой информацией.

— Дура! Города Вашингтона, столицы США. Ну там, где все эти козлы сидят в Капитолии и Белом доме.

29

— Даю слово защите, — судья Эйб Посторус посмотрел на часы. — Пятнадцать минут.

Адвокат вылез из-за стола, нечаянно спихнул бумаги на пол, нагнулся, подобрал. Начал говорить, сбивчиво и тихо, повернувшись спиной к залу. Белка, сидевшая в трех шагах, половины не могла разобрать.

— Громче! — кто-то попросил из зала.

— Тихо! — судья стукнул деревянным молотком. — А вы — погромче.

Адвокат послушно закивал, вытер розовое лицо платком. Белке стало жаль его — неразумного пупса, гуттаперчевого голыша, глупого и неуклюжего, с короткими, беспомощными руками. Господи, воля твоя, ну зачем же он выбрал эту профессию? Сидел бы себе в какой-нибудь норе, перекладывал бы бумажки из правой стопки в левую или проверял себе билеты при входе в киношку; или вот еще замечательное место — мойка машин — да мало ли подходящих профессий для гуттаперчевых пупсов?

Адвокат бубнил, потел. Вздыхая, вытирал лицо платком и снова бубнил. Судья сидел, смиренно сложив ладони и прикрыв глаза — то ли дремал, то ли слушал. Из зала волнами долетал тихий шум: скрип стульев, шепоток, кто-то настырно шелестел фантиками.

Белка тоже закрыла глаза, ее начало знобить. Ей показалось, что в зале становится все холоднее и холоднее.

А ведь они даже на смерть по-человечески отправить не могут! Эх вы, люди! Белка неожиданно поняла, что сама отделила себя от всех остальных. Не только от сонного судьи, прокурора-ястреба, этого недотепы адвоката, но и от зевак в зале, прохожих на улице, от всего остального человечества. От их радостей и невзгод, мелких интересов и тщеславных устремлений — денег, успеха, славы. У нее внутри — там где душа, было пусто, там не осталось ничего — ни страха умереть, ни желания жить. Пустота, скучная черная дыра.

Белка тихо застонала — Господи, ну скорей, скорей бы уж!

Адвокат запнулся, обернулся с кроличьим лицом. Потеряв нить речи, подошел к столу, начал перебирать бумаги. Белка видела его пухлые розовые пальцы с круглыми детскими ногтями. Манжеты рубахи были несвежими, мокрыми от пота. У Белки вдруг возникло непреодолимое желание потрогать его руку — такой она была сдобной и розовой, наверняка теплой и влажной. Белка медленно подалась вперед и вдруг вцепилась в его кисть. Рука оказалась почти горячей.

Адвокат, взвизгнув по-бабьи, отпрыгнул, пряча руку за спину.

Белка одним широким жестом смахнула все бумаги со стола, листы весело вспорхнули, разлетелись по полу. Белка выпрямилась, повернулась в застывший зал.

Она ожидала увидеть ненависть, злорадство, любопытство — на лицах был испуг. Страх! Они боялись ее! Боялись восемнадцатилетней девчонки в тюремном комбинезоне и наручниках, отчаявшейся до предела, до точки. Поставившей крест на себе.

— Ну что же вы, люди... — крикнула Белка. — Как же так? Что с вами... ну что с вами происходит?

Голос ее сорвался, в горле застрял ком. Белка подняла скованные руки, кулаками вытерла слезы. Стараясь не разреветься, она переводила свой взгляд с лица на лицо — испуг, испуг. Она подумала, что такое лицо бывает у человека, наткнувшегося в лесу на гадюку.

— Немедленно сядьте! — судья уже несколько секунд долбил молотком. — Подсудимая! Не усугубляйте вашего положения!

Белка повернулась, посмотрела на судью. Медленно села.

— Перерыв до четырех... — судья взглянул на часы. — До четырех тридцати.

30

Когда Белку привели после перерыва, солнце уже успело закатиться. Зал помрачнел, потолок будто стал ниже. Белка поежилась, зажала ледяные ладони между колен. Уставилась на пустое судейское кресло. От стен, обитых дубом, пахло сырой мастикой. Прошмыгнула на свое место стенографистка, секретарь, отогнув указательным пальцем манжет, с важной медлительностью привстал, выпрямился и выпятил грудь, как птица перед полетом.

— Встать! — торжественно провозгласил он. — Слушается приговор по делу «Штат Аризона против Софии Белкин»!

Белка удивилась, услышав свое имя. Она снова поежилась — что ж так холодно! Ее бил озноб, она стиснула зубы, чтобы они не стучали. Дальнейшее в ее сознании происходило с какой-то сдвижкой, словно она выпала из этой реальности и наблюдала за происходящим из другого мира с иным течением времени, иными оптическими законами. Изображение не совпадало со звуком — звуки то запаздывали, растягиваясь в утробное мычание, то комкались в несуразную скороговорку.

Из боковой двери выплыл судья — батистовая черная мантия, бледное лицо. Белка быстро опустила глаза, как в детстве с той Бабой-Ягой: если не смотреть на нее, то и она тебя не заметит. Главное — заставить себя не смотреть. Не так просто, как кажется. Совсем не так просто.

В ушах стоял шум, низкий тяжелый рокот, как от мощной подземной

турбины. Белке даже показалось, что она ощущает тугую вибрацию подошвами своих ботинок. Судья опустился в кресло, начал говорить. Белка зажмурилась, пытаясь разобрать слова. Откуда-то появилось эхо, гласные звуки потянулись, поплыли как томные песни китов, она уловила лишь одно слово — милосердие. Милосердие? Белка замотала головой — откуда вам знать, что это такое?

Потом судья сказал «механизм правосудия работает безотказно» и Белка догадалась, что подземный рокот, наверное, и есть работа того самого механизма. Что ради нее включили эту мощную махину — «машину правосудия» — загудел мотор, закрутились шестеренки, забегали-засновали шатуны и поршни.

Судья медленно, мучительно долго, как в дурном сне, поднимал руку с молотком. Наконец поднял — и все вдруг стихло. Приговор — поняла Белка, он объявляет приговор. Сейчас он произнесет одну фразу, стукнет деревянным молотком — и ее, Белку, посадят на электрический стул, включат ток и через семнадцать секунд...

Белка не выдержала: замирая, как в детстве, перевела взгляд на лицо судьи. Серое, цвета сырого теста, оно ничего не выражало. Ничего. Его губы, пухлые, чуть сиреневые, словно в блестящей помаде, медленно произносили слова. Каждое слово было весомым, будто обладало особой ценностью.

— ...данной мне гражданами штата Аризона, — слова круглыми булыжниками тяжело падали в жидкое болото. — Я приговариваю...

Белку поразило неожиданное открытие: именно в этот момент она ясно поняла, что судья сейчас может сказать, что ему взбредет в голову — может казнить ее, может помиловать, отпустить или законопатить в тюрьму на веки вечные. Что он, как Бог. Всемогуш! И что ему, как и Богу, плевать. Плевать на нее, на ее мать, на Анюту, на убитого отца. Что больше всего судье хочется чтоб вся эта морoka поскорее закончилась, чтоб наступил вечер и можно было бы безнаказанно завалиться в тапках и пижаме на диван. Читать книжку, прихлебывать скотч, и ни о чем не думать.

— ... приговариваю к ста десяти годам тюремного заключения без права на амнистию.

Судья опустил молоток.

Вселенная раскололась вдребезги.

Ее не казнят! Не будет семнадцати секунд! Она будет жить! Жить!

Белка, раскрыв рот, жадно вдохнула. Еще раз, судорожно — воздуха не было. Ее с головой накрыло жаркой мутиью, словно она тонула в манной каше. Белка, теряя сознание, вцепилась в край скамьи, но скамья зыбко пошатнулась, подалась вверх, а после качелями понеслась куда-то вниз, вниз, в душную темень.

31

— Голову поднимите! — бубнил кто-то сквозь тьму. — Да не так! Кто ж так держит?

Ей тыкали в нос ватой, от нашатыря она закашлялась, открыла глаза. Ей дали воды. Сердце тут же радостно подпрыгнуло — жить! Она будет жить! Прощай, Гертруда, прощай рыжая ведьма! Белка засмеялась.

— Оклемалась, — сказал кто-то. — Можно уводить.

— Сейчас, пульс проверим, — холодные пальцы вжались в шею под ухом. — Да, нормально. Можно уводить.

Снаружи уже опустились сумерки, но фонари еще не зажглись. От серого, мертвого неба падал бледный отсвет на фасады домов, тротуары, деревья, лица людей. Цвета исчезли, все вокруг казалось пыльным, унылого мышинового цвета.

Во внутреннем дворе суда ее ждал тюремный фургон. Бес прохаживался взад и вперед, болтая с кем-то по телефону. Одноглазый сидел на корточках, прислонясь к колесу и тупо глядя в стену.

— Получайте обратно свою красавицу, — судебный охранник передал Бесу какие-то документы. — Вот тут распишись.

Как бандероль, подумала Белка. Ну да ладно, это ничего, это не самое страшное. Главное — живая. И снова радостная волна качнула ее вверх-вниз — живая! Ведь это ж почти чудо, просто как во сне!

После обморока голова была пустая и легкая, как от того португальского шипучего вина, что отец покупал на Рождество. Тело казалось тряпочным, Белка вяло улыбалась своей беспомощности. Одноглазый охранник распахнул дверь в нутро фургона, легко приподняв, опустил ее на железный пол.

— Спасибо... — пробормотала Белка.

Одноглазый что-то буркнул, захлопнул дверь.

Затарактел мотор, в кабине включили радио. Поехали. Белка отползла в угол, села, вытянув ноги. На поворотах ее голову плавно мотало то вправо, то влево. В темноте легко можно было представить, что ты в лодке плывешь по ночному морю, что ленивые волны качают тебя вправо, влево. Вправо, влево. Вправо...

В кабине запиликал телефон.

— Да, господин комендант, — ответил Бес и выключил радио. — Да, выезжаем. Переночуем за городом, да. Дешевле и воздух чище, ха-ха. Завтра часа в три будем... Уже в курсе? Да... да... увы. Совершенно неожиданно. И, главное, непонятно. Прокурор выступил просто великолепно... Да, блестяще. И тут — здарсьте-пожалуйста — пожизненное!

— Вот вам и здарсьте-пожалуйста! — Белка засмеялась в темноте. — Живая!

— Аргументы? — переспросил Бес. — Ну да, логика определенная есть безусловно. Сказал, что смертная казнь для нее будет милостью. Ей же и двадцати нет... восемнадцать? Ну, тем более...

Белка перестала смеяться. По спине пробежал холодок, словно чернильная тьма фургона запустила свои скользкие щупальца ей за шиворот. Восемнадцать, да, восемнадцать — почему тем более? Ведь ее не казнят? Ведь она будет жить? Что может быть более?

Бес еще что-то сказал, засмеялся.

— Казнь будет милосердием, — прошептала Белка. — Смерть будет милосердием... А жизнь...

Ощущение наползающего кошмара. Как в страшном сне, когда до сознания вдруг доходит, что все вокруг вовсе не то, чем казалось мгновение назад — трава под ногами начинает шевелиться, ветки деревьев оживают, невинная девица зеленеет лицом и, ухмыляясь, показывает вурдалачий клык.

Белка закричала — стон пополам с рыком:

— Не-ет! Нет! — она стала бить наручниками в железный пол. — Нет!

Фургон подпрыгнул на колдобине, Белка, потеряв равновесие, кулем покатилась в угол. Ударилась затылком.

— Да, господин комендант, все бумаги... — говорил Бес. — Они что-то еще с курьеской вам отправят... На следующей неделе. Да, да, кажется от судьи.

— Не-ет, — простонала Белка. — Нет, пожалуйста... Я не могу. Я ведь сама тогда... таблетками... Пожалуйста!

Она сжалась в комок, уткнула коленки в подбородок и заскулила:

— Смерть будет милосердием! Милосердием...

Нет, она просто не сможет. В ее памяти нет ничего, кроме жути той ночи — отцовской руки на полу, мертвой, с толстым обручальным кольцом, кислой вони пороха и оружейной смазки, крика в мегафон: «Не валяй дурака. Выходи, подняв руки!» В мозгу занозой сидят чертовы строчки:

А луна этой ночью,
как на горе, ослепла —
и купила у Смерти
краску бури и пепла.

Она не сможет, просто не сможет жить с этим. Каждый день, каждую ночь. Да и зачем? Какой смысл в этом? Кроме мучения, бесконечной пытки, липкой паутины, опутывающей разум и волю. Боли, сводящей с ума своей безысходностью. Что ее ждет? Годы, десятилетия (подлец прав — ведь ей всего восемнадцать!), каждая секунда будет пропитана ядом несправедливости. Она не сможет забыть, стереть из памяти эти проклятые стихи, вероятно, в конце концов, они сведут ее с ума. Но даже в своем безумии она будет помнить, что произошла чудовищная несправедливость. Что зло не наказано и не будет наказано никогда. Никогда!

32

Город остался позади. Белка лежала на полу и смотрела в щель под дверью на удаляющиеся огни — щедрую россыпь медленно тающих самоцветов: желтоватых топазов, сиренево-ледяных топазов, сочных рубинов. Алмазной иглой втыкался в лиловое небо шпиль телецентра. На самом острие капель крови лениво пульсировал авиамаяк.

Пошли пригороды. Скучные ряды одинаковых домов с одинаковыми фонарями вдоль дорожек, низкорослые кусты и хворые деревья, неубедительно изображавшие скверы, пустые детские площадки. Иногда выскакивала балаганная вывеска придорожного ресторана, вспыхивала фейерверком и спешно, словно стыдясь, убегала в темень.

Началась пустыня. Закату удалось наконец выплеснуть свою обморочную красноту — там, где умерло солнце, пылал малиновый нарыв. От него растекалось коралловое марево, нежный и беспомощный цвет, от которого у Белки выступили слезы. Горная гряда на горизонте быстро темнела — голубой стал ультрамарином, потом просто черным.

Из кабины доносилась музыка, незатейливая и веселая. Потом волна начала уходить, радио выключили. Охранники не разговаривали, лишь иногда Бес комментировал встречные машины: он явно разбирался в технических нюансах — говорил про объем двигателя, лошадиные силы, называл какие-то цифры. Одноглазый молчал.

Проскочили мост через каньон, на частых стыках колеса устроили вагонный перестук. После моста дорога пошла в гору, мотор натужно загудел. Холмы подступили к самой обочине, Белке стало видно лишь черноту и багровый отсвет габаритных огней на асфальте. Она закрыла глаза, легла на спину.

33

Фургон остановился, Белка тут же проснулась. Подползла к двери — ей удалось разглядеть какой-то сарай со слепым фонарем над входом. Из-за крыши выглядывал мутный край полной луны. У завалившегося забора стоял старый «пикап» с горбатым кузовом.

Захрустел гравий под каблуками, кто-то зычно зевнул и от души хлопнул дверью кабины.

— Вот ведь темень... — Бес кряхтя потянулся. — Черт ногу сломит.

Он выругался, сплюнул.

— Не «Хилтон», это точно. А с этой что? — услышала Белка голос одноглазого.

— Потом выведу пописать. Пошли.

Бес начал колотить в дверь сарая.

— Абла ла пуэрта, Карла! — крикнул он, пару раз для убедительности пнув в дверь ногой. — Просыпайся, старая карга!

Долго не открывали. Желтый свет фонаря освещал деревянные ступени крыльца, вылинявшую надпись на доске — какая-то ферма — и две темных фигуры: щуплый Бес рядом с одноглазым верзилой выглядел, как ребенок. Наконец дверь распахнулась, они вошли.

Рыхлая луна выползла из-за крыши, осветила двор пыльным белесым маревом. За сараем виднелась ограда, сложенная из дикого камня. Дальше начиналась пустыня, темнели холмы, похожие на застывшие океанские волны. Где-то там, в непроглядной дали, завыл койот. Белка поежилась.

Из-под двери тянуло сыростью, горько воняло мокрой гарью. Белка толкнула дверь плечом, потом легла на спину, с силой уперла подошвы ботинок в обе створки. Надавила — засов скрипнул, но дверь не подалась. Так дело не пойдет, нужно по ней как следует трахнуть. Белка, как на уроке физкультуры, прижав колени к подбородку, сжалась пружиной, а после коротким броском ударила каблуками в дверь. От грохота ей самой стало страшно, она замерла и стала ждать. Из сарая никто не вышел, только в дальнем конце загорелось окно. Потом другое. У Белки тряслись руки, она отползла в угол, обхватив колени, прижала их к груди. Мерзко дрожали губы — это от холода, от холода — пробормотала Белка вполголоса.

Бес появился минут через сорок. Белка словно почувствовала, что он сейчас придет. И тут же скрипнула дверь, по крыльцу протопали башмаки, потом захрустел гравий — все ближе и ближе. Клацнул замок, раскрылась дверь. Луч фонаря ослепил Белку, она загордилась руками.

— Ну вот... — тихо проговорил Бес. — Все получается даже лучше, чем я смел мечтать. Я про праздник.

Он засмеялся. Белка не видела его, только сноп белого слепящего света.

— Выползай, — нежно позвал он. — Пойдем, погуляем...

Белка на карачках доковыляла до двери, легла на живот, сползла на землю. Ноги затекли и не слушались.

— Ну не ленись, пожалуйста. Шагай, — Бес фонарем подтолкнул ее. — Покажу тебе кой-чего...

Белка, шатаясь, пошла. Бес светил ей в спину. Она наступала на свою прыгающую по щебенке тень, огромную и уродливую. Между двух столбов на

веревке сушилось белье, в темноте тряпки были похожи на шеренгу задумчивых привидений.

— А теперь — левее, — сказал он. — Гараж видишь?

Луч фонаря выхватил кусок пригорка и приземистую постройку с ржавыми воротами. Рядом стоял скелет грузовика, по бампер вросший в песок. Бес повесил фонарь на крюк в стене, начал возиться с замком.

Белка сжала кулаки, сделала осторожный шаг — если браслетами со всего маху в темя...

— Стоять, — не поворачиваясь, строго сказал Бес. — А то будет очень больно.

Вошли, Бес щелкнул выключателем. Скудный свет — дохлая лампа в жестяном абажуре — вспыхнула над дощатым помостом. Посередине стояло деревянное кресло с прямой спинкой. Оно было выкрашено в яркий оранжевый цвет. Белка застыла.

— Я знал, что тебе понравится... — проговорил Бес, подталкивая Белку к помосту. — Не бойся, ближе подойди.

К подлокотникам кресла были приделаны металлические кольца с зажимами для рук, от них по доскам помоста змеились толстые провода в черной резиновой оплетке.

— До двух тысяч вольт, конечно, не дотягивает — генератор хиловат, — Бес подошел к трансформаторному ящику, открыл крышку. — Пробки вышибает. Где-то пятьсот-шестьсот максимум. Но так даже интересней...

Он поднялся на помост, обошел кресло, провел рукой по спинке.

— Ты мне ничего не сделаешь, — Белка постаралась говорить спокойно, она сглотнула. Ей казалось, что от страха ее сейчас вырвет. — Все знают, что я...

Бес засмеялся, пружинисто спрыгнул с помоста.

— Какая простота! — он отряхнул ладони. — Умильно до слез.

— Комендант знает... Ты подписал бумагу, там, в суде — я видела... Ты должен меня доставить...

— Разумеется! — Бес сделал удивленное лицо. — Кто же сомневается! Должен — значит доставлю. В целом виде или по частям. Сырую или запеченную. Но непременно доставлю.

Гараж был большой, на две машины, перед второй дверью стоял пыльный «форд» с аризонскими номерами и треснутым ветровым стеклом. Разбуженный сверчок недовольно зацокал, потом затаил занудную трель. Сыро пахло землей и прогорклым машинным маслом. В углу гаража громоздился хлам — обычный сарайный мусор, застрявший тут по дороге на свалку: мятые картонные коробки, жестяные банки с потеками краски, мотки проводов, желтый садовый шланг, ржавые инструменты — лопата, двуручная пила, грабли со сломанной ручкой. Среди этого хлама белел мраморный ангел с отбитым крылом — такие обычно стоят на мексиканских кладбищах. У ангела было скорбное девичье лицо, обращенное к небу. Туда же он указывал правой рукой, свою левую руку ангел жеманно приложил к сердцу.

— Ты, наверное, фантазировала, что я тебя буду насиловать? В особо извращенных формах, да? — Бес тронул заклеенное пластырем ухо. — Увы... Наши отношения уже переросли эту романтическую фазу. У нас с тобой будет взрослый разговор. Причем тебе будет больно. Иногда очень.

Бес расстегнул верхнюю пуговицу кителя.

— Будь умницей, — попросил он ласково и кивнул в сторону кресла. — Сама сядь, а?

— Ты не посмеешь, — тихо проговорила Белка. — Нет. Нет, не посмеешь. Бес весело засмеялся.

— Удивительно! — он повернулся в сторону, обращаясь к мраморному ангелу. — Не посмеешь! Ее наивность граничит с идиотизмом. Полюбуйтесь — и это после того, что с ней приключилось! Сначала ее изнасиловал бандит, потом полиция расстреляла ее отца, потом ее законопатили в тюрьму на сто с лишним лет — а она все еще не понимает, как устроена эта вселенная. И теперь она заявляет, что я не посмею!

Он повернулся к Белке и печально сказал:

— Увы, детка. Посмею и еще как.

Снаружи снова завыл койот, протяжно растягивая тоскливое «у-у-у». Бес был всего в двух шагах. Он стоял, беспечно заложив руки за спину. Белка наклонила голову и бросилась на него, пытаясь сбить с ног. Он ловко отскочил, он явно был начеку. Белка растянулась на земляном полу, больно ударившись подбородком.

— Встать! — грубо скомандовал Бес.

С руками в наручниках подняться было непросто, Белка встала на четвереньки, потом на колени. После выпрямилась. Бес ждал, правая рука его была за спиной, словно он что-то там прятал.

— Ну, хорошо. Я тебя предупреждал, — Бес быстрым движением ткнул Белку в грудь каким-то брусом, похожим на резиновую дубинку.

Раздался треск электрического разряда. Боль пронзила тело, Белка затряслась, раскрыла рот, но крикнуть не смогла. На миг она потеряла сознание. За это мгновение она увидела себя, бегущей по склону зеленого холма, поросшего красными маками.

34

После шока тело казалось ватным, Белка застонала, пытаясь встать. Она приподнялась на локтях, ноги беспомощно елозили по земляному полу. Бес схватил ее за шиворот и рывком затащил на помост.

— Я предупреждал, — пыхтя, сказал он. — Слушаться! Слушаться надо.

Ему удалось впихнуть Белку в кресло, усадить, как большую тряпичную куклу. Она вяло сопротивлялась. Бес снял с Белки наручники, просунул ее руки в ремни на подлокотниках, затянул. Щелкнул стальными зажимами. От них тянулись черные провода.

— Очень хорошо... — Бес довольно оглядел Белку, погладил по бритой голове. — Очень... Ой, да мы никак штанишки намочили? Описались?

Он сказал это с простонародным, южным выговором. И захихикал. На Белкином рыжем тюремном комбинезоне между ног темнело мокрое пятно. От унижения и стыда Белка опустила голову и беззвучно зарыдала.

— Ну не надо так переживать. Это ж естественная реакция организма на электрошок. Я тут такого насмотрелся, — Бес спрыгнул с помоста. — Кстати, о естественных реакциях. Ты, наверное, не знаешь, что от электрошока наступает постиктальная астения. Это по-научному. А если просто — спутанность сознания, дезориентация во времени и пространстве. Иногда и в собственной

личности. Шарахнут тебя током, а ты после и имени своего вспомнить не можешь — представляешь, вот умора?

Бес не врал, Денни рассказывал в школе, что его бабушку лечили электрошоком от каких-то припадков, так она после вообще никого не узнавала. Вспомнила Белка и слово — «амнезия».

— Я их обычно на обочине оставлял, — сказал Бес. — Как падаль.

— Кого — их? — с трудом выговорила Белка, язык казался большим и горячим.

— Кого? — удивился Бес. — Вас! Кого же еще?

Бес неожиданно захихикал. Начал ходить взад и вперед, нервно потирая ладони.

— Вас! Хитрых похотливых тварей! Вот смотри, смотри!

Он торопливо вытащил из внутреннего кармана пачку мятых фотографий, развернул веером, как карты. Белка не успела ничего рассмотреть — какие-то пятна, нерезкие лица.

— И ты полюбуйся! — Бес подскочил к ангелу. — И ты! Вот эту, помнишь — Кассандру? Помнишь? О-о!

Он захохотал, неожиданно умолк и наклонился к мраморному уху.

— А вот эту... — он ткнул пальцем в фотографию. — Как же ее...

Бес пытался вспомнить, потом нетерпеливо перевернул карточку, прочитал:

— Магда! — радостно поцеловал ангела в щеку. — Магда-Магда-Магда! Ну конечно же — Магда! Седьмое апреля. Магда. Маг-да. Да...

Он неожиданно помрачнел.

— А к тебе вот не успел, — он нежно погладил ангела по волосам. — А как спешил! И все равно опоздал. Помнишь, как я тебя вытащил, а там одни черви? Черви и кости!

Он засмеялся, повернулся к Белке.

— Представляешь, черви и кости? Вот досада! И почему все так несправедливо устроено?

Бес застыл, словно пытался что-то вспомнить.

— А ты как думаешь? — он неожиданно обратился к ангелу. — Это Бог или дьявол так спланировал? Всю эту свинскую жизнь? Ведь ты должна знать, ты уже там.

Бес, улыбаясь, подмигнул и повторил жест ангела — ткнул указательным пальцем в крышу гаража.

— Или там? — он топнул ногой по земляному полу. — Или там? В преисподней! В аду! Там тебе самое место! Сволочь! В геенне огненной! Среди подонков и мрази! Такой же дряни, как ты! Там, там тебе самое место!

Бес сорвался на крик. Он кричал и топал ногой по земляному полу, словно плясал какой-то языческий танец.

— Ты думаешь, это месть? Что я мщу тебе? Нет! Не-е-ет! — он захохотал. — Мне это нравится, мне просто нравится... Да нет, что я несу — что значит нравится? Я в восторге от этого! В восхищении! Ты слышишь, сука? В восхищении!

Бес сжал кулаки и плюнул ангелу в мраморное лицо.

— Тварь... — он вытер рот кулаком. — Вот ведь тварь...

Подняв глаза, он рассеянно поглядел на Белку, словно вспомнив, сказал:

— Теперь с тобой. Правила простые... Ты в церковь ходишь? На исповеди

была? Нувот, что-то вроде того: я спрашиваю — ты отвечаешь. Если отвечаешь плохо — я включаю ток.

— Что значит — плохо?

— Ну это уж я буду решать. Подсказка, — он улыбнулся, — меня интересуют подробности. Поняла?

Бес подошел к трансформаторному ящику, открыл крышку, шелкнул выключателем. Ящик загудел. Белка судорожно выпрямила спину, ожидая такой же боли, как от электрошокера. Ничего не произошло, лишь запястья защипало — словно мелкие иголки впились в кожу. Вполне терпимо.

— Скажи мне, — Бес отошел от трансформатора и, заложив руки за спину, прошелся перед помостом. Туда и обратно. — Скажи, что ты сделала со своим ребенком?

Белка оторопела.

— Повторяю вопрос: что ты сделала со своим ребенком?

— У меня... — она запнулась. — У меня никогда не было...

— Стоп-стоп-стоп! — зло перебил ее Бес. — Повторяю последний раз: что ты сделала со своим ребенком?

Бес подошел к трансформатору.

— Да-да! — Белка вжалась в спинку кресла. — Я просто... У меня от электрошока... Память... Как она — амнезия!

Бес подозрительно прищурился.

— Я сейчас вспомню, сейчас, — торопливо заговорила Белка. — У меня был ребенок... Да... Мальчик?

Бес улыбнулся, кивнул.

— Мальчик... Помню, помню, — Белка пыталась угадать, чего он от нее ждет. — Ну помоги же мне! Как его звали?

— Стивен, — тихо подсказал Бес. — Вспоминаешь?

— Да-да, Стивен! Точно, Стивен.

— А кто был его отцом? Это помнишь?

— Отцом... Да, отцом Стивена... Это был...

Бес исподлобья смотрел на нее. Смотрел и молчал.

— Я... я, — Белка запнулась и замолчала.

— Не помнишь, — он покачал головой. — Конечно, не помнишь. Да и как тебе вспомнить, ведь ты была гарнизонной шлюхой.

Белка покорно кивнула.

— Джинни-Нараспашку! Джинни-Трехминутка! Как там еще тебя звали? Джинни...

Его голос прервался всхлипом.

— Мразь... — он отвернулся. — Мразь...

В углу зудел сверчок, словно пилил три ноты на крошечной скрипке. Белка, не отрывая взгляда от спины Беса, попыталась вытащить правую руку. Зажим стальным манжетом крепко сковывал запястье. Еще были кожаные ремни. Разжав кулак, она попыталась расслабить кисть. Вроде получилось. Потянула. Локоть уперся в спинку кресла. Нет, так не пойдет — зажим, нужно открыть зажим. Белка согнулась, стараясь зубами дотянуться до замка зажима. Ей почти

удалось, она могла коснуться его языком. Она изо всех сил тянула шею, от натуги и боли у нее потемнело в глазах. Ей казалось, что ее позвоночник сейчас треснет, треснет как сухая палка. Еще чуть-чуть, всего пол-дюйма! Ну же! Ну!

Она вцепилась зубами в стальную защелку, потянула. Замок щелкнул и раскрылся.

Бес повернулся, посмотрел на нее. Его лицо было серым и злым. Белка боялась дышать, краем глаза она видела раскрытый замок — защелка торчала вверх. Не заметить ее было нельзя.

— Я — Джинни-Нараспашку! — закричала Белка, диким и звонким голосом. — Да! Да! Я — Джинни-Подстилка, Джинни-Шалава! Гарнизонная потаскуха, курва и мразь! Да!

У Беса ожили глаза, он вперился в нее, словно боялся что-то упустить. Он часто кивал головой, подтверждая каждый выкрик Белки. Его губы беззвучно повторяли каждое ее слово.

— Я не знаю кто отец моего ребенка! Их было столько... столько...

— Ты даже не знаешь сколько?

— Много...

— Сто? Двести? — закричал Бес. — Сколько? Отвечай, сука!

— Больше, — Белка двигала рукой, пытаясь ослабить ремни. — О, гораздо больше! Я сначала считала, но сбилась после пяти сотен. Сбилась... Их было так много...

— Дрянь! — Бес хрипло выкрикнул и закашлялся. — Ах ты дрянь!

— Да! А мальчишку этого, Стивена... На кой черт мне он нужен? Мальчишка... к черту его!

— А ты знаешь, дрянь, что с ним стало в этом приюте? Как он там жил? — Бес с красным от кашля лицом подбежал к краю помоста. — Ты хоть раз подумала о нем? Вспомнила?

— Нет! Ни разу! — Белка орала, боясь, что он заметит открытый замок. — Меня пялили, дрючили, жарили день и ночь! И в хвост и в гриву! По дюжине кобелей за раз пропускала! По дюжине!

Он сжал кулаки, затрясся, как в припадке. Запрокинув голову, по-волчьи завыл в потолок гаража.

— Потаскуха!

Белке удалось ослабить ремни, она подалась вперед, загораживая правую руку с расстегнутым замком.

— Потаскуха! — воя, повторил Бес. — Распутная сука! Как ты... как ты могла...

Он скривил лицо, зарыдал. Белке отчего-то стало смешно и жутко. Бес устало подошел к трансформатору, протянул руку к тумблеру. Белка испуганно открыла рот, но сказать ничего не успела.

Это была не боль. Боль — это когда порежешь руку. Или наступишь на гвоздь. Или, когда болит зуб. Или голова. Ты отдаешь себе отчет, кто ты, где ты и что с тобой происходит.

Когда Бес включил ток, вселенная взорвалась. Не осталось ничего, кроме пронзительного ужаса, каждая клетка ее тела забилась в судорогах — вот она, смерть! Смерть пришла, и нет спасенья! У Белки вырвался звериный вопль, страшный крик, так кричат животные на бойне. Мир напоследок ослепительно вспыхнул и тут же ухнул в чернильную тьму.

Она очнулась. Сгорбленный Бес больно сжимал ее щиколотки. Он рыдал, уткнувшись лицом ей в колени. Было не понять, сколько времени прошло, сколько она была без сознания — минуту, час, всю жизнь.

— Прости, прости меня, милая, — повторял Бес потерянным голосом. — Прости меня.

Белке с трудом удалось удержаться на этой стороне реальности — звуки и запахи становились гуще и тянули ее в ватную черноту. От Беса кисло разило потом и солдатским одеколоном, казалось, что ее сейчас вырвет. Судорожно, как утка, она глотнула горькую, тягучую слюну. Правая рука была свободна. Белка попробовала сжать кулак, но пальцы оказались мягкими, как глина.

36

Снаружи что-то звякнуло, словно кто-то уронил связку ключей на гравий. Бес поднял лицо, мокрое, с растерянными глазами. Не узнавая, оглядел Белку, медленно повернулся к двери. Дверь с ржавым стоном раскрылась, на пороге стоял одноглазый. Он был в серых кальсонах и нательной майке. Его макушка упиралась в притолоку двери.

— Крики... Я подумал... — он неуверенно шагнул в гараж.

Бес неожиданно резво спрыгнул с помоста.

— Меньше думай, — нервно каркнул он сильным голосом. — Иди спать! Нужно будет — позову! Спать!

Великан виновато развел руками, его глаз остановился на Белке. Он топтался в дверях, не решаясь уйти.

— Кому сказал! — заорал Бес, направляясь к нему. — Вон!

Белка видела, как Бес вытащил из-за пояса электрошокер.

— Стив, ты что? — здоровяк попятился. — Ты что?

— Вон! Урод!

Бес быстро выставил руку. Раздался треск, короткая голубая молния ткнулась одноглазому в грудь. Словно от удара его откинуло назад, он грузно грохнулся на спину.

— Вон отсюда! — Бес, держа оружие наготове, наклонился над напарником. — И еще. Все, что ты видел — тебе приснилось. Понял?

Он приставил электрошокер к груди одноглазого.

— Понял?

Одноглазый, приподнявшись на локтях, кивнул.

Белка высвободила правую руку. Пальцы не слушались, Белке казалось, что на руке рукавица из толстой шерсти. Нужно как можно быстрее открыть левый замок. У нее всего несколько секунд. Она цепляла зажим ногтями, но сил открыть его не было.

Дальше произошло что-то непонятное. Белка, копавшаяся с замком, боковым зрением уловила движение — бесшумное и стремительное, словно сквозь гараж пронеслась гигантская птица. Подняв голову, она увидела Беса, завершающего траекторию своего полета. Раскинув руки, он рухнул в гору хлама, сваленного в дальнем углу. С грохотом и звоном посыпались банки и коробки, загремели ржавые лопаты и грабли. Мраморный ангел отшатнулся будто в изумлении. Что-то напоследок звякнуло и в гараже повисла тишина.

Белка повернулась к двери — одноглазый уже стоял на ногах. Сжав кулаки,

он медленно пошел к Бесу. Тот, заваленный хламом, даже не двинулся, его изумленный взгляд застыл на великане. Одноглазый сделал еще шаг и остановился.

— Стив! — позвал он странным голосом. — Эй, Стив...

Бес молчал. Прислонясь спиной к мраморному ангелу и выпятив подбородок он продолжал удивленно пялиться на напарника.

— Мать твою, — пробормотал одноглазый, приближаясь вплотную.

Ухватив за лацканы кителя, он поднял Беса. Кисти его рук повисли, как у марионетки. Одноглазый наклонился, что-то разглядывая, после бережно положил Беса на земляной пол. Зачем-то поправил ему китель.

— Мать твою... — повторил он.

Из-под головы Беса вытекло черное пятно. Белка подняла глаза, каменная рука ангела была по локоть в красном и блестящем. Кровавый палец указывал вверх.

— Под основание черепа... — неизвестно кому сказал одноглазый, трогая свой затылок. — Там такое место есть...

Замок наконец поддался, зажим звонко щелкнул и растянулся. Одноглазый повернулся, провел ладонью по лицу, словно спросонья. Он посмотрел на Белку как-то боком, как смотрят птицы.

— А что вы тут... — он хотел спросить, но запнулся. — Что...

— Беседовали мы, — ответила Белка.

Одноглазый понимающе кивнул, рассеянно поглядел на труп.

— Что делать будем? — спросила она. — Тебя как зовут?

— Кит... Вернее, Питер, — он добавил: — Питер Савчук.

— Ты что, хохол? — удивилась Белка. — Украинец?

— Мой дед оттуда. Он сюда после войны... Его немцы пацаном угнали. Он там на ферме батрачил, в Баварии... ну а после... Это после той войны, древней, с Гитлером, знаешь?

— Мой прадед... — Белка начала и не закончила.

Они долго молчали, стараясь не смотреть друг на друга и на мертвого Беса. Белка незаметно высвободила левую руку.

— Слышь, — попросила она. — Накрой его чем-то... глаза эти...

Глаза Беса, широко раскрытые и совсем живые, удивленно смотрели в потолок. Питер наклонился и обыденным жестом большой ладони закрыл глаза мертвецу.

— А я там родилась, — после молчания вдруг сказала Белка. — Там, в России. Странно, да? Тебя бы там Петя звали, Петька... нет, Петро, ты ж украинец.

— Моего деда так звали. Мы когда в Мичигане жили, там озера, просто тысяча озер... Дед меня рыбу учил удить. Утром уходили, еще по туману... Спать хотелось... Страшно спать хотелось, сидишь, вроде как за поплавком следишь, а сам...

— У тебя жена, дети есть? — спросила Белка, сжимая и разжимая затекший кулак.

Питер мрачно вперил в нее единственный глаз.

— Извини, я не... — растерялась Белка. — Извини...

Питер сидел на корточках, свет падал на правую, изуродованную, часть лица. Сизо-розовая, тошнотворно нежная на вид, кожа казалась лакированной

и напоминала ошкуренную тушку цыпленка. Затеяливая мозаика шрамов забиралась под волосы, впалое веко было намертво приклеено, на месте брови рос пук пегих волос. Белка опустила глаза.

— Я в университетской сборной играл, в нападении. Левый край. Приезжал тренер из Чикаго, контракт показывал... — Питер покачал головой. — Даже не верится. Мы тогда с Лорейн решили... — он запнулся, задумался, снова заговорил. — Я когда после госпиталя вернулся, у нас на главной улице парад устроили. У нас, в Вудбридже. А вечером фейерверк. Здорово было.

Белка молчала. Теперь, с закрытыми глазами, Бес выглядел мертвым, лицо осунулось, посветлело. Кожа отливала лимонным, казалось, что кожу натянули на затылке — проступили скулы, рот приоткрылся, стали видны мелкие передние зубы.

— Док сказал, что надо ехать в Бостон, там центр пластической хирургии, — Питер ткнул себя в щеку. — А я рапорт подал. Хотел снова к ребятам... кто уцелел после той ночи. Там, под Фелуджей. Я когда Тома вытаскивал, люк заклинило, а после «жаба» рядом плюхнулась. Фугас. Я даже не почувствовал, что у меня полголовы снесло. А Том был мертвый, я его мертвого тащил. Ему в сердце осколок, в самом начале боя...

Питер замолчал, он сидел на корточках, устало свесив с колен тяжелые кисти рук. Пальцы почти касались земляного пола.

— Вот они говорят, что мы не любим рассказывать про войну, — Питер говорил медленно, словно читал скучный текст. — Это не так. Неправда. Они не хотят слушать. Они не хотят знать, что там происходит. Им страшно. А тут я со своей рожей... И рассказывать ничего не надо.

Он усмехнулся и снова замолчал.

— Хотя... — начал Питер, глядя в стену. — Я думал об этом. Я, наверное, снова бы записался. Добровольно. Ведь кто-то должен, правильно? А почему кто-то? Почему не я?

— Ты серьезно? — недоверчиво спросила Белка.

— Да. Вот ты, — он повернулся к ней. — Ради чего ты живешь?

— Я? — изумилась Белка. — Ты что, псих? Посмотри на меня! Я пытаюсь спасти свою шкуру! Понимаешь? Свою шкуру!

— Не кричи, — поморщился Питер. — Башка раскалывается... Ну спасешь ты свою шкуру, допустим, ну и что? Что дальше? Что ты будешь делать со своей шкурой? Спасенной...

Белка оторопела.

— В жизни должен быть смысл, — начал Питер. — Должна быть...

— Смысл?! — Белка захохотала. — Смысл! Тебя в этой Фелудже точно здорово накрыло фугасом! Смысл! Какой в этом смысл? В этом!

Она ударила кулаком по поручню кресла.

— Или в этом? — она ткнула в мертвого Беса. — Ты только что угробил своего напарника! В этом какой смысл? Что ты с этим собираешься делать?

— Надо вызвать полицию...

— Что? Полицию? Ты что, очумел совсем?!

Белка с трудом поднялась. Ее шатнуло, она ухватила за поручень. Какой-то бред — полицию! Она недоверчиво оглядела гараж — полный бред: рыжий электрический стул в кругетусклого света, пыльный «форд», грустный ангел с окровавленной рукой, мертвый маньяк.

Она спустилась с помоста, заглянула мертвецу в лицо. Черная лужа под головой теперь казалась обычной грязью. Рукав кителя был испачкан зеленой краской. Пряжка ремня съехала набок, из расстегнутой кобуры торчала рифленая рукоятка пистолета.

Питер медленно повторил:

— Надо вызвать полицию.

— Тебя ж, дурака, посадят! — крикнула Белка. — Влепят лет десять!

— Я его убил, — спокойно ответил Питер. — Суд решит.

— Суд?! — Белка возмущенно взмахнула руками. — Суд? Ты что, не видел этот суд? Вчера? Этого судью, прокурора? Придурка-адвоката? Купить кошачий корм! Кошачий корм!

— Какой корм?

— А-а-а! — она отчаянно замотала головой.

Питер не спеша поднялся с корточек, Белкина макушка едва доставала ему до ключицы.

— Послушай, — она тронула его плечо. — Питер...

Он отрицательно покачал головой и побрел к выходу.

— Питер... — Белка наклонилась к труп, вытащила из кобуры револьвер. — Питер!

Он повернулся, равнодушно взглянул на оружие.

— Пожалуйста, — Белка медленно подняла руку. — Не делай этого. Я тебя очень прошу.

— Ты знаешь, София... — он грустно улыбнулся. — Если бы ты смогла нажать курок...

— Ты думаешь, я не смогу? — она сделала шаг, целясь ему в грудь. — Мне терять нечего! Ты понимаешь это — мне нечего терять!

Питер кивнул.

— Тогда стреляй, — он показал пальцем на грудь. — Вот сюда. Тут сердце.

Белка закусила губу, она почувствовала, как вспотела рука, как маслянистый курок стал скользким и жарким. Ладонь затекла, мерзкая дрожь передалась стволу, мушка плясала между грудью охранника в серой майке и открытой дверью. Оттуда, из южной душной ночи, доносился звон цикад.

Питер стоял и ждал.

Белка попыталась еще раз — вдохнула, задержала дыхание. Нужно просто сильнее надавить пальцем — и все. Ведь тогда, той ночью... Просто надавить... Рука дрожала все сильнее, проклятая майка теперь скакала, как заяц. Просто надавить! Белка зажмурилась, скривила рот, словно собиралась зареветь.

— Сволочь! — она бросила револьвер на землю. — Сволочь! Ну ты бы хоть сам застрелился! Сам! Если уж тебе так сдохнуть хочется. Сам...

— Не могу сам, — печально сказал Питер. — Грех это.

37

Закрыв лицо ладонями, Белка рыдала. Изредка всхлипывала, словно пытаясь судорожно вдохнуть. Питер сделал шаг к ней, остановился.

— Тут сигнала нет. Во всей округе, — словно оправдываясь за округу, сказал он. — Я пойду в дом, там телефон... такой... на шнуре.

Белка будто не слышала. От мокрых ладоней пахло слезами, ружейной

смазкой и дешевым солдатским одеколоном. Стыд, отчаяние, собственная ничтожность — больше всего Белке хотелось исчезнуть, раствориться. Провалиться сквозь землю. В ад? Да хоть в ад, лишь бы отсюда. Он сказал — грех, а ведь она пыталась убить себя. Ей тогда и в голову не пришло, что грех. Не было сил жить — и все, каждая минута была наполнена такой болью, такой жгучей болью. И почему Бог решил, что это грех?

Питер толкнул дверь, петли ржаво заскрипели. Он нерешительно постоял перед входом, помедлил в пыльном желтом круге тусклого света. Потом неторопливо вошел в темноту. Хруст гравия стал удаляться, постепенно сливаясь с отчаянным гомоном цикад. Белка никогда не слышала таких громких цикад.

— погоди! — крикнула Белка.

Остаться в гараже одной стало невыносимо жутко. С мертвым Бесом в луже засохшей грязи, с рыжим стулом, от которого тянулись страшные черные провода, с мраморным ангелом, который печально продолжал указывать куда-то вверх своим окровавленным пальцем. С этим проклятым револьвером, тускло сияющим вороненой сталью на земляном полу.

— погоди, — глотая слезы, повторила она. — Я с тобой.

Она вышла в ночь. Замешкалась — после света тьма была кромешной. Белка выставила руки и осторожно пошла вперед. Постепенно проступила линия горизонта — плоский горб черной горы, над ним черное небо. Нет, не черное — небо оказалось синим, глубоким, бархатным. Белка подняла голову, остановилась. Господи — прошептала она — сколько их! Над ней, торжественно мерцая и пульсируя, плыл Млечный Путь. Справа висел ковш Медведицы, чуть дальше среди сияющей россыпи она различила три звезды на поясе Ориона. Бездонное небо пугало своей величественной отрешенностью, своим фундаментальным спокойствием. У Белки пробежали мурашки по спине — она нутром ощутила грандиозность творения, холод и торжественный покой бездны.

— Сколько звезд... — совсем рядом прошептал Питер. Он стоял в двух шагах от нее, запрокинув голову.

— Страшно... — тихо проговорила она.

— Нет. Хорошо... — Белка почувствовала, что он улыбается. — Именно так выглядит надежда.

38

Они вошли в дом на ощупь — кто-то погасил фонарь над входом. Белке в нос ударил резкий запах зверинца. Еще она услышала странный звук — тонкое, едва слышное попискивание, словно целая армия лилипутов выстукивала на миниатюрных ключах сигналы на азбуке Морзе.

— Что это? — прошептала она, трогая руками темноту. — Где выключатель?

— Ищу... — шепотом ответил Питер.

Белка слышала сухой звук его ладони, шарящей по стене. Слева взвыла половица, потом что-то загремело — похоже, Питер налетел на стул. Белка застыла, прислушиваясь. Где-то в непроницаемой глубине дома что-то охнуло, потом оттуда послышался деревянный стук: тук, тук, тук — точно кто-то лениво ронял крупные орехи на пол. Стук приближался. Совсем рядом протяжно заскрипела дверь. На потолке раскрылся тусклый веер оранжевого света и в дверном проеме, словно прямиком из готической сказки, появилась старуха. В

одной руке она держала керосиновую лампу, другой опиралась на костыль. На ней была мягкая ночная рубаша.

Старуха что-то спросила по-испански, грубо и недовольно. Питер ответил, Белка уловила слово «телефон». Старуха подняла лампу, приблизилась к Белке, бесцеремонно разглядывая ее лицо. Белка подалась назад — от старухи разило чем-то прогорклым, какой-то тошнотворной дрянью, то ли смесью лекарств, то ли тухлой парфюмерией.

— Эста телефон? — повторил Питер, поднося кулак к уху. — Телефон, полиция — энтендэ?

Старуха сердито затараторила, трясая головой, несколько раз повторила имя Стивен.

— Ты по-испански как? — Питер растерянно повернулся к Белке.

— Никак.

— Она, кажется, думает, я про гараж хочу звонить. В полицию. Стивен ее племянник.

— Мать твою... — пробормотала Белка. — Так она все знала... Твою мать... А ты ей сказал... ну, про него?

Питер мотнул головой.

Старуха наступала на него. Она зло кричала, стучала клюкой в пол. Белка на всякий случай отошла к стене. Вдоль стены, на полу, стояли картонные коробки, именно оттуда доносился писк. Белка заглянула — внутри сидели цыплята, крошечные желтые цыплята.

Питер перебил старуху, она будто поперхнулась и тут же замолчала. Переспросила. Питер отчетливо повторил — «муэртэ, Стив муэртэ».

Старуха застыла, замерла на минуту, не меньше. Потом толкнула входную дверь и, выставив перед собой керосиновую лампу, заковыляла в сторону гаража. Питер наконец нашел выключатель, несколько раз шелкнул, но свет так и не включился.

— Пробки, наверное, — пробормотал он.

Из гаража донесся вопль.

— Ну, вот... — тихо проговорила Белка.

Они видели в раскрытую дверь, как оранжевый огонек лампы появился из-за холма и, покачиваясь, будто китайский фонарик, поплыл к ним. Они молча ждали.

Старуха тяжело поднялась по ступеням. Белка ожидала истерики, криков, даже драки. Старуха молча вошла в прихожую, так же без единого слова подошла к Питеру и, подняв керосиновую лампу, уставилась на него. Ее коричневая рука, узловатая, как коряга, чуть дрожала, фитиль лампы начал коптить — кончик языка красного пламени трепетал черным жалом. Рыжие блики пробежали по изуродованному лицу Питера. За его спиной на потолок полезла гигантская фиолетовая тень.

— Телефон, — тихо попросил он. — Пор фавор...

Белка стояла сбоку. Рот старухи, злой безгубый рот, похожий на бритвенный шрам, был плотно сжат, в профиль она напоминала какую-то рептилию. Казалось, что Питер тоже побаивается ее. Наконец старуха кивнула, Питер посторонился, пропустил ее. Она прошаркала мимо, притворила за собой дверь.

Белка облегченно выдохнула. Питер тоже вздохнул, потом неуверенно начал:

— Если бы ты... — он запнулся. — Если бы я... Короче, если б тебе удалось бежать...

— Так ты ж собираешься в полицию звонить, разве нет?

— Да... — он снова замолчал. — Но не сразу... Утром.

Белка задумалась. До рассвета всего несколько часов. Эти несколько часов вряд ли что-то изменят, но даже в самой безнадежной ситуации всегда остается шанс, пусть самый ничтожный, самый мизерный, но все-таки шанс. Именно из-за него, этого шанса, из-за этой крошечной надежды, и стоит жить. Особенно, когда терять абсолютно нечего.

— Слушай, Питер, — Белка не знала, с какого бока подойти, поэтому сказала прямо. — А, может, вместе? До мексиканской границы всего часа три-четыре. Там вдоль реки целые участки не охраняются, мне Густаво, мой друг школьный, рассказывал. А оттуда — в Боливию. Или даже в Аргентину! Seriously...

Питер неуверенно усмехнулся. В темноте она видела лишь черный силуэт его головы.

— Спасибо, — он нашел ее руку, чуть сжал запястье. Белке показалось, что он улыбается.

— Ведь нас начнут искать только завтра! Не раньше пяти! — страстно выпалила Белка. — За это время вообще можно на край света...

Дверь раскрылась, Белка замолчала. Старуха вернулась, но без телефона, а с корзиной. Небольшой плетеной корзиной для пикника с круглой плетеной крышкой. Старуха не спеша пристроила лампу на стул, повернулась к Питеру. Она улыбалась.

Питер удивленно посмотрел на Белку, потом на старуху. Старуха протянула ему корзину.

— Грасиас, — растерянно поблагодарил Питер, принимая корзину. — Мучос грасиас.

Старуха, улыбаясь и кивая, жестом показала, что корзину нужно открыть. Что там, на крышке, застежка. Пальцы Питера, большие и неуклюжие, справились с застежкой, он приоткрыл крышку, заглянул. Смущенно пожал плечами, улыбнулся, осторожно запустил руку внутрь.

Старуха, с вождением ожидая реакции на свой подарок, уставилась Питеру в лицо.

— Что там? — прошептала Белка. Она тоже улыбалась. — Пирожки?

Питер вскрикнул, дернулся. Он медленно, словно доставая что-то хрупкое, вытащил руку из корзины. Его запястье и кисть обвивала змея. Белка отпрыгнула, старуха захохотала. Черные аспидные кольца сально блестели, отливая красной медью, плоская голова сонно покачивалась. Змея раскрыла пасть, блеснули два длинных зуба.

Глаз Белки не успел уловить броска — Питер вдруг схватился за горло. По щеке побежала струйка крови, остановилась в ключице. Змея неожиданно быстро, словно стальная пружина, упруго раскрутилась и очутилась на полу. Белка завизжала, отпрыгнула к стене. Змея лениво заползла обратно в корзину.

Питер удивленно разглядывал ладонь — на ладони и запястье было еще два укуса. Неуверенно переступая назад и вперед, как человек в зыбкой лодке, он пытался сохранить равновесие. Белка уже не кричала, зажав кулаком раскрытый

рот, она оцепенела и, не отрываясь, глядела в лицо Питеру. Тот качнулся, словно собирался начать какой-то неуклюжий танец, подался вбок и медленно, будто дурачась, начал заваливаться назад. Его рука ухватилась за стену, он не удержался и, сшибая картонные коробки, рухнул в угол. Из коробок посыпались цыплята, желтые и пушистые, они весело разбежались по полу.

От шума Белка наконец очнулась, она наклонилась к Питеру, закричала ему в лицо:

— Скорую помощь! Надо вызвать скорую помощь! Я сейчас, сейчас... Телефон... Где телефон?

Она оттолкнула старуху, схватила лампу. Телефон стоял на столе в соседней комнате. Белка подняла трубку, гудка не было. Она залезла под стол, один провод уходил в телефонное гнездо, другой в электрическую розетку. Белка вытащила вилку, воткнула ее обратно, прижала для верности. Телефон молчал.

— Черт... — догадалась она. — Тока ведь нет.

Комната, длинная, с низким потолком, напоминала большую грязную кухню — вдоль стены стояли столы с какими-то склянками, то ли медицинскими то ли химическими. Другая стена была сплошь в зеркалах, в них повторялся тусклый блеск лампы, рыжий отсвет на лице, блик в безумных глазах. Белка подошла ближе, поднесла фонарь к стеклу. «Господи, господи, — прошептала она, — это ж не зеркала, не зеркала...»

Это были аквариумы со змеями.

Белка, сонно переступая, точно под гипнозом, тихо шла вдоль аквариумов. Подняв над головой лампу, она завороченно вглядывалась в темное стекло, за которым лениво раскручивали свои чешуйчатые кольца разбуженные светом гады. Толстая, как садовый шланг, змея подняла голову. Белка остановилась, гадина, покачиваясь в плавном танце, нагло смотрела ей в глаза. Белка не могла двинуться, она разглядывала ювелирной красоты рубиновый узор, который затейливо вился по блестящему, как вороненый металл, упругому телу. Тонкий раздвоенный язык, будто пульсируя, появлялся и исчезал. Белка слышала высокий звук, не шипенье, выше и пронзительней — будто пар прорывался сквозь щель. Белка против своей воли приблизила лицо к стеклу. Змея, лениво, словно зевая, медленно раскрыла пасть. Два длинных тонких клыка, Белка вспомнила, что в них есть тончайшие каналы, по которым яд попадает в тело жертвы.

Бросок был молниеносен — Белка не увидела, лишь услышала тупой удар в стекло. По стеклу, как две слезинки, побежали две капли яда. Белка отскочила, взмахнув руками, лампа выскользнула и грохнулась на пол. Стекланный абажур разлетелся вдребезги, керосин горячей лужей потек Белке под ноги.

Она выскочила из комнаты, старуха, увидев пламя, заорала, бросилась тушить.

— Питер! — Белка нагнулась к нему. — Тут должна быть больница! Мы найдем! Поехали!

— погоди... — Питер с трудом приподнялся. — Это тайпан. Старуха сказала...

— Да какая разница! В больнице...

— Его яд в двести раз сильнее яда кобры...

— Что ты несешь? Откуда ты вообще...

— Когда в Ираке был... — Питер судорожно вдохнул, сипло, с трудом. —

Я там не моджахедов боялся, не бомб, не мин... Змей. Весь интернет излазил, все изучил. — Он закашлялся. — Эта дрянь самая ядовитая. Тайпан.

Из соседней комнаты послышался звон стекла, что-то гулко ухнуло. Дверь распахнулась, оттуда повалил белый дым.

Питер попытался встать.

— Ноги... — виновато проговорил Питер. — Ноги. Не ходят.

Белка вцепилась в его майку, потянула. Питер приподнялся, ему удалось встать на колени. Кое-как они выбрались на крыльцо, сползли по ступеням. В окнах бродили малиновые сполохи, на землю ложились багровые отсветы с черными крестами оконных рам.

40

Питер умирал. Белка сидела рядом, она гладила его плечо, и этот бессмысленный механический жест казался ей последней связью с ним, с его вытекающей жизнью.

С веселым звоном посыпались стекла — лопнуло среднее окно. Из него вырвался желтый язык пламени и начал лизать наружную стену. Двор озарился волшебным светом — каким-то таинственным и золотым, щебенка казалась мерцающим янтарем, щедро рассыпанным перед домом.

Питер бредил. Так казалось Белке. Питер говорил про Бога, про рай и про ад, Белка гладила его плечо, разглядывая сияющие осколки янтаря, раскиданные по двору.

— Он создал Адама и Еву и поселил их в Эдеме. Зачем? Почему? Там освободилось место после изгнания Люцифера и восставших с ним ангелов. Они были низвергнуты в ад. Люцифер — сын зари, могущественный ангел, ангел света, — какой же грех он совершил? Чем прогневал Бога?

Питер запнулся, судорожно хватая ртом воздух.

— Грех гордыни, вот какой грех. Он отказался служить Господу и Тот низвергнул его в ад. Пророк Исайя... — он закашлялся, хрипло, с надрывом. — Исайя...

Огонь забрался под крышу. Внутри дома пламя гудело, как в печке. Стало жарко, но отползти уже не было сил. Белка закрыла глаза.

— Сияющий ангел, сын зари, ангел света Люцифер явился Адаму и Еве в виде змеи. Змеи! Почему именно змеи? Змея — это яд, яд — это коварство. Вот почему! Люцифер влил яд в душу человека, человек пал. Люцифер не мог смириться с мыслью, что человек, создание из глины и грязи, займет в Эдеме его место. Гордыня... Опять гордыня.

Без паузы и тем же тоном — устало и тихо, — он произнес:

— Холодно... Как тут холодно... Накрой меня, пожалуйста.

Между двух столбов на веревке сушились какие-то тряпки, Белка принесла, накрыла. Уже горел чердак, жечь на крыше казалась розовой и полупрозрачной. Как леденец — подумала Белка. Пламя прорывалось между листов жести, плясало, юрко взбиралось все выше и выше.

— Ты говоришь, что смысла нет, — Питер проговорил тихо. — Есть смысл. Во всем. Мы просто не хотим его видеть. Мы пытаемся найти смысл, а его надо понять. Понять головой, а главное... — он приложил ладонь к груди. — Сердцем...

Белка хотела что-то сказать, но не смогла, в горле стоял комок.

— Когда ты будешь переходить границу, — он попытался улыбнуться. — Я уже буду... там. Я за тебя замолвлю словечко.

Белка закрыла лицо руками. Плакать она уже не могла. Оказывается, есть предел всему — даже слезам. Она услышала, как с треском рухнула крыша, пламя, вырвавшись на свободу, победно завывало.

41

Питер затих. Белка расправила простыню, накрыла его лицо. Провела ладонью по складкам. Какой смысл? В чем он? Бедный, бедный добрый Питер.

Белка стянула с себя тюремный комбинезон, скрутила в тугой узел и с силой бросила в огонь. Голая и потная, уперев кулаки в бедра, она с минуту смотрела на пламя. Там, в ослепительной круговерти, возносились к небу пылающие замки, возникали и рушились восхитительные мосты, растекались рубиновые озера, в один миг вырастали огненные утесы и тут же рассыпались на миллиард сияющих звезд. Ад? Почему ад? И если это ад, то, может, все не так уж плохо.

Из вороха тряпок, что сушились на веревке, Белка вытащила старухино платье, большой ветхий платок бурого цвета. Платье оказалось огромным, Белка оторвала край от наволочки и завязала вместо пояса. Сев на землю, она расшнуровала правый ботинок, стянула с ноги. Засунув руку внутрь, ногтями подцепила стельку, оторвала ее. К обратной стороне стельки липкой лентой были приклеены две пластиковых карточки — кредитка «Американ Экспресс» и водительские права.

— Здравствуй, Айши Мунир, — пробормотала Белка, разглядывая фотографию на правах. — Теперь вся надежда только на тебя.

В тюремном фургоне не было ключа. Ключ, наверняка, остался в кармане у Беса. Вернуться в гараж не было сил, она просто не смогла себя заставить. Старухин «пикап» оказался открыт, ключ беспечно торчал в замке зажигания. Белка уселась, замирая, повернула ключ. Стартер покряхтел, мотор вздрогнул и завелся. Загорелись лампочки приборного щитка, дрогнули стрелки — бензина было почти полбака. Белка включила фары и медленно выкатила на проселок. Дорога уходила только в одну сторону, Белка оглянулась на догорающий пожар и нажала на газ.

Проселок состоял из ухабов и рытвин, этой дорогой, очевидно, никто, кроме старухи, не пользовался. «Пикап» скрипел просевшими рессорами, иногда шаркал днищем по сухой глине. Белка морщилась, как от боли, и скидывала скорость до десяти миль. Часы на щитке показывали невозможное время — восемь сорок пять. Согласно бортовому времени она покинула ферму в семь тридцать.

Окрестности сводились к чернильной темноте. За час с лишним ей не встретилось ни души, если не считать армадилло. Броненосец пересекал дорогу, он остановился в свете фар, недовольно взглянул на «пикап» и с достоинством продолжил ночную прогулку.

Наконец через полтора часа из темноты выплыл ржавый знак, предвещавший скорое — через полторы мили — пересечение с главной дорогой. Главная дорога оказалась на деле захолустным двухрядным шоссе, впрочем, асфальтиро-

ванным и с разметкой. Стали попадаться встречные машины, в основном грузовики.

Белка издалека увидела светящуюся ракушку — вывеску бензоколонки. Съехав на обочину, она остановилась. Включила дохлую лампочку над головой, повернула к себе зеркало. Провела ладонью по голове, на макушке проклюнулась золотистая щетина. Обмотав голову старухиным платком, она соорудила некое подобие чалмы, длинные концы затянула узлом на затылке. Облизнула губы, смочив слюной палец, провела по бровям. Уставилась в зеркало. Прогромыхавший мимо сияющим болидом грузовик-рефрижератор испугал ее до смерти.

Внутри заправки горел свет, за кассой дремал некто в сальной бейсбольной кепке, за ним на полках пестрели сигаретные пачки, картонки с печеньем, пакеты с чипсами и прочей полусъедобной снедью. Белка толкнула дверь и вошла внутрь.

Колокольчик разбудил кассира, он начал мять лицо руками, потом зверски зевнул. Белка протянула пластиковую карточку.

— «Американ Экспресс» принимаете?

— Бензин? — мрачно спросил кассир и снова зевнул.

Он взял кредитку, ленивым жестом привычно воткнул ее в кассовый аппарат. Машина сожрала карточку, звякнула и задумалась. Белка замерла, за эту секунду она вспотела, как мышь. Кассир угрюмо смотрел в стеклянную дверь, на которой с равными промежутками вспыхивала неоновая, чересчур бодрая для ночного часа, надпись «Да, мы открыты!». Кассовый аппарат снова звякнул. Выплюнул карточку и, тарахтя, напечатал чек.

— Здесь, — кассир оторвал чек, положил на прилавок. — Распишитесь.

Белка взяла ручку, нацарапала какую-то закорючку и едва живая вышла наружу.

42

К рассвету она выбралась на Десятое шоссе — главную автостраду штата, прямой стрелой пересекавшую Аризону с севера на юг. До мексиканской границы оставалось пять-шесть часов. Как утверждал Густаво, лучшего места перейти границу, чем индейская резервация Тохано, нет. На юге резервации начиналась Сонора — плоская каменистая пустыня, уходящая вглубь мексиканской территории, «...и если держаться подальше от Девятнадцатой дороги, то там не то что патрулей нет, там не ясно, где сама граница проходит. На юг, строго на юг — и через час ты в Мексике», — со знанием дела говорил Густаво.

Солнце вставало, выплывая из-за скучного горизонта, составленного из лысых покатых холмов. Малиновая краснота рассвета, неожиданно смелая и густая, быстро выдохлась и сменилась желтоватым сливочным маревом, в котором томно плавилось светило, предвещая душный безветренный день.

Белка держалась в среднем ряду, она выбирала не слишком резвый грузовик, обычно грязную фермерскую колымагу, из кузова которой торчали грабли и лопаты или какой-то скарб, укутанный в серую мешковину, и пристраивалась за ним. Несколько раз мимо проносились патрульные машины, Белка пряталась, инстинктивно прижималась к рулю, ее сердце проваливалось в пятки. После Каса-Гранде началась бесконечная пробка, впереди ремонтиро-

вали дорогу. Машины едва ползли, Белка тревожно вслушивалась в натужный гул вентилятора охлаждения. Стрелка датчика температуры угрожающе приближалась к красной отметке.

Вылинявшее от зноя небо из лазоревого стало белесым, как разбавленное молоко. В салоне стояла адская жара, но Белка так и не решилась снять платок. Справа на обочине появился и медленно проплыл мимо деревянный указатель «Мотель Вигвам». И действительно, впереди показались островерхие конусы, отдаленно напоминавшие жилища индейцев. Внезапная мысль о кровати с подушкой и чистыми простынями доставила почти физическую боль. Белка подумала о прохладном душе, мягком махровом полотенце, о нормальной человеческой еде — она застонала, стиснув зубы.

Искушение было так сильно, что она против своей воли включила поворотник и стала протискиваться в правый ряд. Машины едва ползли, тетка с большим красным ртом и в черных стрекозиных очках притормозила свой белоснежный «линкольн-кабрио» и брезгливо пропустила ее.

— Ты сошла с ума, — прошептала Белка, въезжая на стоянку перед мотелем. — Просто сошла с ума.

Она приткнула старухину колымагу в самом конце парковки, спрятавшись между отчаянно красным грузовиком «Кока-колы» и семейным фургоном с прицепом. Поправила платок, вылезла из машины и решительно зашагала к административному зданию, пестро раскрашенному псевдоиндейским орнаментом с орлами и оленями.

Внутри, между двух тотемных столбов, за деревянной конторкой, похожей на прилавок, дремал толстый дядька с белыми моржовыми усами. Круглые очки в стальной оправе сползли на самый кончик носа. На конторке стоял перекидной календарь с жирной семеркой и словом «пятница».

— Добрый день! — бодро начала Белка, протягивая моржу «Американ Экспресс». — Мне комнату с душем... можно?

Морж проснулся. Удивленно разглядывая тюрбан, взял в руки кредитку.

— Можно... — не очень уверенно проговорил он. — Одноместный?

— Да. Одноместный. Мне часов на шесть.

— У нас приличная гостиница, а не... — обиделся морж. — Семейный мотель. Мы сдаем номера на сутки...

— Конечно, — вежливо перебила его Белка. — Конечно, на сутки. Я просто...

Морж сердито поправил очки.

— Документы есть?

Белка незаметно вытерла потную ладошку о подол, протянула толстяку права.

Он взял, сморщившись, приблизил права к очкам, беззвучно шевеля губами, прочел.

— Что за имя такое? Ты откуда?

Белка открыла рот и с ужасом поняла, что не имеет ни малейшего представления о том, что сейчас скажет. Раздел памяти, ответственный за географию, просто отключился. Морж ждал. Он поднял голову, серые глаза, увеличенные стеклами очков, подозрительно разглядывали ее лицо. Белка понимала, что каждая секунда стремительно и бесповоротно приближает страшный момент, когда морж протянет руку к телефону и позвонит в полицию. В

панике, она уже была готова выскочить наружу и бежать куда глаза глядят, как неожиданно что-то мелькнуло в сознании и она произнесла:

— Занзибар.

— Занзибар? — удивился морж. — Что это?

— Занзибар, — повторила Белка, менее уверенно добавила. — Страна...

— Занзибар? А где это?

Информация о местонахождении Занзибара у Белки была нулевая. Она неопределенно показала рукой в угол, где стояло чучело медведя гризли, пробормотала:

— Юго-восток... Африки... В районе экватора...

Морж кивнул, похоже, ответ его устроил.

— Стесняться тут нечего. Занзибар так Занзибар. Мой дед, вон, из Германии приехал. И тоже ничего. Всяко бывает. Мы все тут — приезжие.

— Да я там только родилась, — оживилась Белка. — Меня в три года родители привезли.

— Вот я и гляжу — говоришь-то ты без акцента. А имя — чудное.

Он засмеялся, Белка засмеялась тоже. К лацкану малинового пиджака моржа была приколата полированная железка с выгравированным именем «Курт».

43

Белка стояла под душем и плакала. Громко всхлипывала, шмыгала носом, иногда что-то шептала. Слезы мешались с мыльной водой, стекали по лицу, телу, уносились в маленький водоворот стока. Белка не знала, отчего она плачет — наверное, от счастья.

Из кукольного флакона она выдавливала на ладонь шампунь и снова намыливала бритую голову, лицо, тело. От пены, пышной и легкой, пахло летом, яблоневым садом. Наверное, так пахнет счастье. Смутные воспоминания промелькнули в памяти: обрывки каких-то снов — теперь вся прошлая жизнь ощущалась, как сон. Зеленый склон, яркий, солнечный, а на нем красные маки. Раскрывалась, нет, распаивалась, бескрайняя летняя синь, по которой с торжественным величием плыли мохнатые облака, белые и мягкие, как зефир. Когда облако наползало на солнце, синева вокруг становилась еще пронзительней, а край облака вспыхивал ртутным светом. Само облако темнело, наливалось серым. Из-за него по всему небу расходились веером лучи, точно кто-то там за облаком подавал ей сигнал о чем-то крайне важном.

А иногда облака просто таяли: огромный, в полнеба, белоснежный замок важно плыл по небу и вдруг прямо на глазах распадался на мохнатые куски, которые продолжали ползти в том же направлении, истончаясь и постепенно превращаясь в брюссельские кружева, а после в дым, в сон, в ничто.

Где все это было? Когда?

Подняв голову, Белка зажмурилась, подставила лицо под душ. Нестерпимо защекотало небо, Белка тихо засмеялась. Ее ладони скользили по телу, она гладила бедра, плечи, грудь. Трогала пальцами набухшие соски. Внутри, где-то внизу живота, она ощутила тепло — томное, растущее. словно медленно разворачивался павлиний хвост, мягкий и бархатный, в искристых звездах и глазках. Ультрамарин переходил в бирюзовый, вспыхивал золотом. Ладонь

скользнула по животу, остановилась на лобке, палец повременил и медленно проник в нежно пульсирующую глубину. Мягкое тепло темной волной стало расти, подниматься, Белка выдохнула с полустоном, закусил губу. Она уловила пульс, горячий и нервный, она подчинилась ему. Теперь все ее тело было как одно трепещущее, пульсирующее сердце. Что-то неумолимое, тягучее, как липовый мед, упругое, как ночной поток, заполнило ее тело, властно подхватило и понесло. Круговорот затягивал ее в бездонную вселенную, вспыхивали и гасли звезды, ей слышались звуки — ласковые, словно кто-то играл колыбельную, едва-едва касаясь клавиш. Донеслось пение, она попыталась разобрать слова. Голос был слабый, далекий, но Белка, постепенно холодея, словно в добротном ночном кошмаре, различила:

А луна этой ночью,
как на горе, ослепла —
и купила у Смерти
краску бури и пепла.

Вселенная стала крошиться, звезды рассыпались в пыль, пыль уносилась и гасла. Уносилась и гасла. Все вокруг заполнила холодная тьма.

Она вышла из душа. Оставляя мокрые лужицы на линолеуме, подошла к зеркалу в прихожей, вплотную приблизила лицо к стеклу. Долгим и строгим взглядом смотрела на себя, будто не узнавая.

— Кто ты? — прошептала она. — Куда, куда ты бежишь?

От ее дыхания зеркало затуманилось, нижняя часть лица стала мутной, остались лишь глаза — чужие и холодные.

44

В ту пятницу Белка работала во вторую смену, работала одна — Сюзи на выходные укатила в Рино с новым ухажером (взрослым мужиком лет сорока с темно-вишневыми глазами, увы, лысоватым, но с невероятно красивым именем — Альберто). Анюта начала канючить уже с утра, к полудню Белка плюнула и согласилась взять сестру с собой.

— Но учти, — Белка грозно подняла указательный палец. — Не ныть!

Анюта, сцепив руки за спиной, вытянулась и радостно закивала.

Она была совершенно не похожа на худую, голенастую сестру — румяная, улыбочивая, вся какая-то сдобная, Анюта и по характеру была покладистой и веселее.

— Не ныть-не ныть-не ныть! — пропела Анюта, уносясь в свою комнату. — Я желтое платье одену!

— Не одену, а надену! — крикнула из кухни мать.

Отец выглянул из-за экрана компьютера — рассеянно, будто вынырнул из другого мира. В том мире еще оставалась надежда найти работу. Он отправлял по дюжине резюме во все концы страны, читал мудрые блоги искушенных экспертов, обещавших вот-вот наступление экономического процветания, переписывался с такими же как он бедолагами на разных форумах. Нет, нет, безусловно, надежда еще была.

— Софья! — крикнул он им в спину. — Глаз с нее не спускай! В вертепе вашем...

— Не спущу! — крикнула за сестру Аня и хлопнула дверью.

Белка затормозила свою «королю» (развалюха, по случаю купленная за триста долларов, была на два года старше Белки) перед служебным входом. Опустила стекло, набрала код. Полосатая рука шлагбаума сложилась пополам и поднялась. Они въехали на территорию луна-парка, проехали задом. Изнанка праздника выглядела не так привлекательно, как пестрый фасад: вдоль дороги был свален строительный мусор, пустые контейнеры, ржавели железные бочки из-под краски.

— Короче, так! — строго объявила Белка. — Или ты в конторе...

— Не-ет! — скуксилась Аня.

— Не ныть! Мы ж договорились!

— Не хочу в конторе...

— Цыц! — Белка выставила ладонь. — Дослушай хоть... Или я запираю тебя в конторе до конца смены...

— Или? Или?

— Или... — Белка сделала паузу, — ...сажаю на колесо.

— На колесо! На колесо! Хочу на колесо!

— Тоже до конца смены. И никаких других каруселей-качелей...

— На колесо! — перебила ее Аня. — И еще мороженое! Можно? Ванильное с тертым шоколадом и карамелью. И с орехами.

Белка переоделась в рабочую «униформу» — отец определенно убил бы ее, если бы увидел в этих шортах. Сняла лифчик, натянула майку с надписью «Коллизеум: попробуй — тебе понравится!». Сложила вещи в сумку, сумку сунула в свой шкафчик. Телефон не втискивался ни в один карман, Белка заткнула его за пояс, но он вывалился и оттуда.

Появился директор.

— А где... эта... — он рассеянно потер руки, вспомнив добавил. — Ну да, да. Ты одна, значит?

— С сестрой. Она там, на колесе.

— Ну пусть, — директор кивнул. — Это пусть... Я через час отъеду... Ты, короче, сама. Парень этот, как его? Карлос, да, Карлос — он все выключит. Потом охрана приедет... — директор замороженно пялился на ее соски, проступающие сквозь тонкую ткань майки. — Они тут... А я поеду...

Директор задержался в дверях.

— Сегодня пятница, — повернувшись, сказал он. — Приедет... один человек. Ну ты знаешь, ты его видела. Ты тут не крутись, в конторе, ладно?

Вечер шел своим чередом, народу было не много. Белка отрывала корешки у розовых билетов, проверяла запоры на дверях кабинок, давала сигнал Карлосу, тот запускал механизм. Тройка нетрезвых мексиканцев пыталась втиснуться в двухместную кабинку, из-за них пришлось остановить колесо. Впрочем, ненадолго, минут на пять.

Аня вела себя пристойно, иногда высовывала маленькую ладошку сквозь решетку и махала то ли сестре, то ли кому-то еще. Один раз Белка отвела ее в конторскую уборную, но это было до приезда Саламанки.

Он появился, как обычно, около восьми. Его джип, черный мордатый «лендровер» с тонированными стеклами, подкатил прямо к дверям конторы. Распахнулась дверь, Саламанка, смуглый, худой и гибкий, как матадор, лениво

выбрался из машины. Потянувшись, ладонью провел по туго зачесанным назад волосам. Гулко топая сапогами, поднялся на крыльцо. В руках у него была потрепанная спортивная сумка (по мнению Сюзи, каждую пятницу эта сумка была доверху набита деньгами — недельный доход, собранный дилерами Сан-Лоредо).

Саламанка окинул луна-парк хозяйским взглядом, точно проверяя, все ли на месте. Без интереса посмотрел на Белку, очередь из пяти человек. Увидел Анютину ладошку, звонко свистнул и махнул в ответ.

Около девяти Белке кто-то позвонил — она услышала звонок. Она быстро ощупала карманы шорт, рассеянно огляделась, телефона не было. Трель доносилась из конторы, Белка, холодея, вспомнила, что она оставила телефон на директорском столе. Настырная мелодия повторялась снова и снова, Белка растерянно смотрела на дверь конторы. Дверь была покрашена фиолетовым, на ней желтела кособокая звезда, похожая на вялую астру. Наконец телефон замолчал. Белка облегченно выдохнула. Телефон зазвонил снова.

Крикнув Карлосу подменить ее, она взлетела на крыльцо, чуть поколебавшись, распахнула дверь. Чертова розовая коробка лежала на углу стола и трезвонила что было мочи. Опустив глаза, Белка на ходу пробормотала извинение, цепко ухватила аппарат и, не взглянув на дисплей, выключила. Быстро пошла обратно.

— Погоди! — Саламанка окликнул ее у самой двери.

Белка повернулась. Она сразу увидела его глаза — странные, светлые глаза с точками черных зрачков. Сумасшедшие — слово тут же пришло ей в голову, она судорожно прихлопнула и слово, и мысль, но скверное предчувствие уже начало тошнотворным комком подбираться к горлу.

— Как звать? — он медленно провел указательным пальцем по своим тонким губам.

— Софья Белкина.

На его смуглом нервном лице появилось подобие улыбки. От этой улыбки Белке стало совсем тошно. Он долго и молча разглядывал ее грудь под тонкой майкой, потом взгляд опустился ниже. Белка инстинктивно закрылась ладонью. Белка вспомнила его кличку — Бешеный, вспомнила истории, что рассказывала Сюзи — и откуда она знает все эти жуткие подробности?

Саламанка улыбался.

— Хочешь, я тебе читаю стихи? — медленно спросил он. — Ты ведь любишь стихи?

— Да... Но мне нужно... — Белка кивнула в сторону двери.

— Я решаю, что тебе нужно! — перебил он. — Я решаю!

Он резко встал, кресло с грохотом ударилось в сейф. Белка вздрогнула — точно, бешеный. А там еще Анюта... Господи, как же все скверно складывается!

— Я устанавливаю правила в этой жизни! И вы по ним играете... — он сделал паузу, усмехнувшись, щелкнул пальцами у виска. — Или не играете вовсе.

Неожиданно успокоившись, словно кто-то внутри повернул тумблер до нуля, он вяло повел плечами и лениво пошел к ней. Белка вжалась спиной в дверь — да ведь он просто псих! Просто сумасшедший! Больной... Она не могла отвести глаз от его лица, оно было странно несимметричным, точно фотография, что порвали на куски, а после неумело склеили.

Он начал декламировать стихи — Белка их раньше не слышала. Стихи были красивые и страшные, будто поэтом был мертвец.

Настала ночь, зажигаются звёзды,
Вонзая кинжалы в холодное лоно
Реки зелёной.

Саламанка читал стихи. Его голос становился громче, в интонациях, теперь протяжных и широких, появился истеричный всхлип, казалось еще чуть-чуть и он разрыдается.

И мёртвую душу мою растрепал я,
Призвав на помощь паучьи узоры
забытых взоров.

Он сжимал кулаки и плавно раскрывал пальцы паучьим узором на своем несимметричном лице, сквозь худые пальцы серые глаза горели безумным блеском. Белке стало жутко. Он медленно протянул руку и чуть коснулся ее щеки, Белка дернулась, точно ее обожгло, стукнулась затылком в дверь.

— Сними это... — неожиданно сиплым голосом сказал он, кивнув на майку. — И это...

Белка оттолкнула его руку, он цепко ухватил ее за подбородок. Приблизил свое лицо.

— Ведь это твоя малышка там, — он кивнул в сторону чертова колеса и больно сжал ей скулы. — Да?

Белка отрицательно замотала головой, яростно замыгав, будто немая.

— Да... — повторил ласково Саламанка. — Твоя...

Белка, неуклюже закрываясь локтем, сняла майку и уронила на пол. Немыми пальцами расстегнула шорты, стянула их вместе с трусами.

То, что произошло дальше — страшное и нереальное, она пыталась стереть, вытравить из своей памяти, но оно возвращалось и возвращалось, протискивалось душным кошмаром в прорехи сновидений, пролезало липкими щупальцами между невинными дневными мыслями. Теперь уже было невозможно отделить жуткое месиво фантазий от действительности, да она и не пыталась — для этого нужно было снова погрузиться в ту ночь. Погрузиться в ту боль, боль, что лежит за пределом возможностей человеческой души.

Она не помнила, как и почему отец понял, наверное, она рыдала в душе. Да, она рыдала в душе. Она все рассказала, рассказала простыми страшными словами. У нее были мокрые волосы, совсем мокрые, когда он тащил ее к машине. Он больно сжимал ее запястье, она спотыкалась, а мокрая одежда противно прилипала к телу. Он гнал как сумасшедший, странно, что они не разбились по дороге. Он кричал — где этот подонок? — размахивал дробовиком, выбил прикладом замок в конторе. Охрана попряталась, хоть он и палил в воздух. Где этот подонок? — орал он и снова стрелял в ночное небо. Он был страшен, ее отец, страшен и прекрасен, как ангел мести, как падший ангел, неистовый, которому уже нечего, совсем нечего терять; и он явился с карающим мечом, с громом и молнией, дабы поквитаться за унижение, за отчаянье, за несправедливость этого гнусного мира. Поквитаться раз и навсегда. Где этот подонок? — и сейчас эхом звенело в Белкиной голове. — Где?

45

Опустошенная и уставшая, Белка вышла из номера.

Заснуть так и не удалось: она легла, несколько раз беспомощно проваливалась в сон, но тут же судорожно пробуждалась, с ужасом пялясь в рубиновые цифры будильника на тумбочке. Последний раз на часах выскочили сразу три двойки — два двадцать два.

Она выгребла из мини-бара всю снедь — жалкие, лилипутских размеров шоколадки, крошечные картонки с печеньем, кукольные кульки с жареным миндалем. Сложила все в пластиковый пакет. Идти в мотельный ресторан уже не было ни времени, ни воли.

Снаружи пекло стояло адское. От шоссе воняло асфальтом и гарью, пробка рассосалась и машины теперь проскакивали мимо с пугающей скоростью. Белка задержалась на ступенях, медленно притворила дверь. Замок клацнул — звонко и строго — все, обратной дороги нет.

— Обратной дороги нет, — повторила Белка.

Морж Курт появился на открытой веранде конторы, поднявшись на цыпочки, дотянулся до поилки для птиц — стеклянная колба синего стекла была подвешена к краю крыши. Осторожно снял — на стекле вспыхнул ослепительный синий зайчик, словно Курту удалось поймать осколок солнца, — начал наливать сиропную воду. Вокруг Курта, выписывая жужжащие зигзаги, носились колибри. Птахи были чуть больше шмеля.

— Гляди, что вытворяют! — заметив Белку, засмеялся Курт.

Она где-то читала, что за секунду колибри делает триста взмахов крыльями. Или что-то около того. Наполнив колбу сиропом, Курт подвесил ее обратно. Мастеровито засвистел, приглашая птиц — трель вышла почти соловьиная.

Белка невольно улыбнулась. Курт, довольно сунув руки в карманы, наблюдал за птицами. Колибри пили сироп не садясь на край, они зависали в воздухе, их крылья тонко пели — звенели, подобно игрушечным моторам.

— Я им все равно, что бог, — Курт повернулся к Белке, весело подмигнул. — Как Зевс! Принес с Олимпа нектар — налетай, птичий народец!

Белка кивнула — точно, Зевс. Только без бороды. Подумала: наше представление о богах всего лишь отражение степени нашего невежества и результат отсутствия верной информации. Может и нашим мирозданием управляет какой-нибудь Курт, от скуки посылая тайфуны и устраивая землетрясения, закручивая ураганы и раскачивая десятибалльные океанские штормы. Впрочем, судя по отсутствию логики в земных делах, с нашей планетой, скорее всего, балуется не пузатый пенсионер, подрабатывающий портье в захолустном мотеле, а истеричная стерва, страдающая от депрессии, с явной склонностью к садизму.

Махнув рукой Курту, Белка свернула за угол и замерла: поперек парковки стоял патрульный «форд». Грузовик «Кока-колы» уехал, на его месте, прямо перед ее «пикапом», стоял полицейский. Он разглядывал номерной знак. Сердце ухнуло в бездну — вот и конец!

Время остановилось, детали картины, как на яркой фотографии, выступили четко и объемно: черные лаковые сапоги полицейского с тугими голенищами, кожаная кобура, рифленая ручка пистолета, смятая пачка «мальборо» рядом с урной, трещина, пересекавшая парковку по диагонали, фиолетовый частокол тени от забора.

Полицейский, словно почувствовав взгляд, поднял голову.

— Ваш автомобиль?

Белка хотела ответить «нет», но почему-то кивнула. На ватных ногах подошла к полицейскому.

— Сержант Купер, — он лениво козырнул. — Права, пожалуйста.

Белка посмотрела на него, в его темных очках отразилось ее лицо, тюрбан.

— Вы понимаете по-английски? — тон стал чуть раздраженным.

Белка снова кивнула, полезла в пластиковый пакет, где среди конфет и печенья, должны были быть права. Нашла, протянула.

Полицейский мельком взглянул на карточку, неспешно забрался в «форд». Стал что-то выстукивать на клавиатуре компьютера, изредка поглядывая на экран. Белка не двигаясь, наблюдала. Страх, вязкий тошнотворный страх, закручивал тугой узел в животе. Все ее существо заполнила животная покорность — ужас пополам с равнодушием. В мозгу чугунным шаром гулко перекачивалась фраза: вот и все... вот и все...

Длилась эта попытка почти вечность. Спустя несколько веков полицейский, наконец, выбрался из «форда».

— Мисс Мунир, — Белка снова увидела себя в его солнечных очках. — У вас не оплачен штраф за июль. По закону я мог бы выписать вам новую квитанцию, уже в двойном размере, но...

Он сделал паузу и протянул Белке права.

— Но наказать вас на двести семьдесят долларов в день вашего рождения было бы не гуманно. Заплатите штраф прямо сегодня.

Он козырнул. Белка повернулась, побрела к машине. Как в дурном сне, где вместо воздуха вязкая гадость, она с трудом переставляла пудовые ноги. Главное теперь не упасть в обморок, главное...

— Да, кстати! — окликнул ее полицейский.

Она медленно обернулась. Вселенная снова зыбко вздрогнула.

— Что за «Змеинная ферма»? — спросил он, указывая на дверь старухино пикапа.

На двери виднелась полустертая надпись: Змеинная ферма «Эль-карахо». Пониже чуть мельче: яды и мази.

— Лекарства... — пробормотала Белка. — Из змей...

Сержант Купер понимающе кивнул, сел в машину. Выруливая с парковки, притормозил.

— С днем рождения! — крикнул в окно.

Плюясь щебнем, «форд» выскочил на шоссе, врубил мигалки и с ревом влился в поток машин. Белка проводила его взглядом, долгим и равнодушным, ее колени подогнулись и она мягко, как тряпичная кукла, опустилась на асфальт.

Она водила пальцами по шершавому асфальту, словно рисовала круги — ощущение шершавости ей казалось последней связью с миром. Остальные органы чувств будто онемели: зыбкий пейзаж растекался мокрой акварелью, звуки доходили, как сквозь войлок. Она слышала стук собственного сердца. Где она? Кто она? Что она тут делает?

Она подняла лицо к небу, пустому, вылинявшему в белое, знойному послеполюденному небу.

— Убей меня, — она сложила ладони. — Ну что тебе стоит, а? Ты же видишь, я больше не могу. У меня нет сил. Нет больше сил...

Шарф размотался и сполз на асфальт.

— Пожалуйста...

Вокруг не было ни души, асфальт плавился, дышал смолистым жаром. Мерный гул шоссе напоминал быструю реку. В обморочном небе висел белый круг раскаленного солнца. Там, наверху, никого не было. Белка почти физически ощутила равнодушие небесного купола, безразличие грандиозной машины мироздания — всех этих планет и созвездий, бездонных галактик — пустоты. Бескрайней пустоты.

— Что я ему? Кто я ему? — она кулаком вытерла щеку. — Смешно даже...

Белка поднялась, волоча платок, пошла к машине. Распахнула дверь, бросила шарф на заднее сиденье. Хотела сесть, но передумала. Словно пытаясь что-то вспомнить, обошла машину. Задний бампер был чуть помят, на багажнике эмаль облупилась, сквозь краску проступали рыжие пятна ржавчины. Белка вставила ключ в замок багажника. Открыла. Оттуда пахло теплой, сладковатой вонью. Там, среди тряпок, грязных банок и мелкого хлама стояла корзина. Высокая корзина с крышкой. Белка протянула руку, двумя пальцами взяла за плетеную ручку, подняла. Внутри что-то зашевелилось.

46

Около четырех Белка пересекла границу резервации Тохано. До мексиканской границы оставалось часа два. Мимо, обгоняя ее, громыхали грузовики, рефрижераторы, восьмиосные фуры. Легковушек почти не было.

— Строго на юг, — пробормотала Белка. — Строго на юг.

Она съехала с Девятнадцатого шоссе, оставаться на трассе было опасно: к этому времени ее фотографию уже наверняка разослали всем патрульным машинам штата. Белка покосилась на платок, он так и остался лежать на сиденье — хватит с меня маскарада, будь, что будет.

Дорога, двухрядная, асфальтовая, шла тоже на юг, чуть закручиваясь к западу. Изредка навстречу попадались невзрачные, вылинявшие от солнца, колымаги. Они появлялись как миражи — беззвучно приближаясь в дрожащем мареве плавящегося асфальта. Впереди раскрывалась пустыня, плоская и розовая от заходящего солнца, на горизонте маячила горная гряда, больше похожая на надвигающуюся грозу, ползущую с юга на север.

Белка остановилась на развилке — тут кончился асфальт. Ни знаков, ни указателей не было, дорога просто обрывалась, а из-под асфальтового покрытия расходились два грунтовых проселка. Белка наугад выбрала правый.

Проселок взобрался на холм, без видимой причины сделал петлю, потом пошел под гору. Вдоль дороги появлялись валуны, серые и пыльные, они напоминали присевших на обочине монахов-пилигримов. Белка въехала в долину, мертвую и тихую, дорога начала петлять, повторяя изгибы высохшей реки. Дно было в трещинах, с островками крупной речной гальки. Вода ушла, оставив налет красноватой пыли на камнях и глине, прочертила четкую границу вдоль берега. Вода ушла, оставив свою тень.

Белка попыталась представить воду: быстрый поток бежит по гальке, вот тут, у этого валуна, весело пенится, темные пятна брызг на камне тут же сушит

солнце, по дну струятся водоросли — изумрудные и оливковые — они, точно ленты, кружатся и покачиваются в такт проворной реке, но плавней и грациозней, чем прыткий поток. Выглядывает солнце и вся река вмиг превращается в зеркало — теперь там плывут высокие облака, величавые и неспешные, они похожи на белоснежные фрегаты какой-то божественной армады.

Куда ушла река? Вернется ли? Куда уходит все, куда уйду я? Не тело — душа. Мои чувства, моя память? Мое воображение — этот сказочный механизм, способный сотворить целый мир за мгновение, неужели и оно просто погаснет, вспыхнет напоследок и тихо умрет, как перегоревшая лампочка? Какой тогда в этом смысл?

Дорога стала круче, петляя горным серпантином, резко пошла вниз. Высокие красноватые камни подступили к самой колее, словно сжимая ее. После яркого солнца тут казалось темно. Бока глыб кораллового цвета были безупречно гладкими, точно кто-то рассек камень острым инструментом. Похоже на коридор, темный и узкий, Белка могла дотянуться кончиками пальцев до левой стены. Если там тупик, то придется выбираться задним ходом.

Словно чего-то испугавшись, Белка остановила машину и выключила двигатель.

— Тихо-то как... — пробормотала она, протискиваясь наружу — дверь уперлась в камень. Стена, гладкая, точно полированная, отвесно поднималась вверх.

Пошла вперед, дорога сузилась и превратилась в тропу. Тропа становилась все уже. Стены тоже придвинулись, теперь это напоминало разлом в скале, узкую трещину. Так индейцы ловят форель: плетут из ивовых веток корзину, у которой вход сужается как воронка — любопытная рыба легко всплывает внутрь верши, а выхода найти не может.

Белка хотела повернуть, но заметила ступени, покатые, едва различимые ступени, выдолбленные кем-то в рыжем камне. Она начала спускаться, впереди показался свет. Еще через несколько шагов она очутилась на каменной площадке перед озером. Озеро, точно чаша, было идеально круглым, вода, чуть зеленоватая, заполняла то ли жерло потухшего вулкана, то ли кратер.

У самого берега, по щиколотку в воде, стояла женщина, она стояла всего шагах в десяти от Белки. На ней не было одежды, две тугие черные косы с вплетенными бусинами спускались до ягодиц, по-мальчишески мускулистых, загоревших, как и остальное тело, до медной красноты. Не двигаясь, женщина то ли вглядывалась вдаль, то ли вслушивалась. Белка застыла, на правой икре она разглядела татуировку — изумрудную ящерицу, ее хвост уходил в воду, казалось, что ящерица выбралась из озера и ползет вверх по ноге.

Ощущение нереальности — женщина, озеро в красной каменной чаше, огромное белое небо, а главное тишина, невероятная тишина, — что это — мираж, галлюцинация, бред? Но страха не было, напротив, она почувствовала, как покой мягко и властно наполняет ее: плечи сами опустились, онемевшие пальцы разжались — сколько веков она прожила со стиснутыми зубами и сжатыми до боли кулаками?

Женщина повернулась, поглядела через плечо на Белку, их глаза встретились. Она смотрела спокойно, без смущения, без вызова, точно ожидала ее увидеть. Словно знала, что та придет. Они долго смотрели друг на друга, потом женщина отвернулась и снова замерла в неподвижном порыве, будто пытаясь

вобрать в себя безмолвную даль бескрайнего неба. Белка опустилась на камень и стала ждать. Время исчезло, оно перестало иметь значение.

Женщина вышла на берег, Белка привстала, хотела спросить. Женщина приложила палец к губам.

— Белые — люди слов, — ее голос, спокойный и тихий, показался Белке знакомым. — Туку — птичий бог, придумал слова и дал их людям, чтобы они могли говорить неправду. Маторанга наказал лукавого Туку, превратив его в какаду. Но люди уже научились лгать. Туку в отместку Маторанге придумал деньги и дал их людям, Маторанга отнял у какаду звонкий голос и вложил в его клюв хриплый клекот. Но было поздно — люди уже полюбили деньги больше солнца и луны, больше земли и неба. Маторанга увидел, что он может убить людей, но не сможет их заставить разлюбить деньги.

Она протянула руку. Белка нерешительно вложила свою ладонь, почувствовала сухой жар ее пальцев. Ее глаза, темные, почти черные, странного сине-фиолетового оттенка, смотрели спокойно и внимательно, точно читали. Белке стало жутковато, по спине побежали мурашки.

— Не бойся, — женщина разжала пальцы, выпустила ее руку.

— Я думала, эта дорога... — Белка запнулась, решила спросить напрямик. — Мне нужна... Я ишу...

— Круг, — она рукой начертила в воздухе окружность. — Круг не замкнулся.

— Граница...

— Нет, — спокойно перебила ее женщина. — Тебе нужно замкнуть круг.

— Какой круг? Что это значит?

— Ищешь смысл в словах, младенец ищет радость в погремушке. Орел парит выше туч — какой в этом смысл?

— Я не понимаю...

— Ты из народа Вананга, мы — народ Тики. Мы дети огненной саламандры. Туралли-О купалась в озере, Тики, приняв образ прекрасного охотника, соблазнил ее. Она забеременела и родила тройню. Братья Туралли-О решили отомстить Тики, они подкараулили его спящим на камне и разрубили его тело на тысячу кусков. Куски бросили в огонь и сожгли, а голову Тики принесли своей сестре — вот твой возлюбленный, пойдя похорони его. Туралли-О отнесла отрубленную голову саламандры на вершину горы, засыпала камнями и стала плакать. Она плакала сто дней и сто ночей. Так появилось это озеро, озеро слез Туралли-О.

Она замолчала и протянула руки к воде.

— Из песка ты станешь ветром! —

нараспев проговорила она.

Из золы ты станешь дымом!
Из камней ты станешь силой!
Из дождя ты станешь песней!
Из прозы ты станешь мстью!

Она повернулась к Белке, сделала шаг назад, словно уступая ей дорогу.

— Войди в озеро слез Туралли-О.

Белка сонно, как в гипнозе, стянула башмаки, развязала пояс — платье само

упало к ногам. Белка перешагнула через платье и вошла в воду. Сделала шаг, другой, вода доходила до колен.

— Иди!

Белка подчинилась, вода была теплой, почти горячей, от нее пахло нагретой медью. Белка опустила руки в воду, зашла по пояс, потом по грудь. Остановилась, чувствуя как тепло воды входит в тело, наполняет мышцы спокойной силой.

— Из грозы ты станешь мстью! — повторила женщина.

Белка вышла на берег, женщина подошла к ней.

— Я — Куна-И. Ступай и возвращайся. Я буду ждать тебя.

— Как я найду...

— Так же, как и нашла, — она подошла к Белке, прижала пальцы к ее вискам. — Иди!

47

Она снова была на Девятнадцатом шоссе, она двигалась в обратном направлении. Двигалась на север. Темнело. Сумерки давно подкрадывались, но как только зажглись фонари и водители включили фары, ночь словно накрыла мир.

Перед поворотом на Сан-Лоредо она заехала на бензоколонку. Еще оставалась четверть бака, но она решила сделать это сейчас. Подогнав машину к колонке, она вышла, сунула кредитку в окно кассы. Оттуда выглянули два глаза, с недоброжелательным любопытством осмотрели ее бритую голову. Белка отвернулась.

— Эй, — раздалось из окошка. — Распишись.

Белка поставила загогулину на чеке, вернулась к машине.

Влившись в плотный вечерний поток, она втиснулась в средний ряд. Выставила локоть в окно. Ветер ворвался, закружил по салону какие-то бумажки, Белка устало откинула голову на подголовник сиденья.

Не усталость, это было скорее спокойствие — она ощутила свое единство с миром: она чувствовала тяжелое бескрайнее небо, но не как страшную пустынную бездну, а как продолжение себя. Она чувствовала землю — не эту изуродованную дорогами и городами, с выжженными лесами и отравленными реками планету — ей виделся другой, новый мир. Мир чистый и светлый, который существует рядом и одновременно с этим. Параллельно и, как известно из геометрии, не пересекаясь.

Она словно проникала в этот мир, познавала его, точно погружалась в его тайну, его чудо. В этом мире скользили тени, проплывали туманные образы, мерцающим цветком распускался волшебный свет, переливаясь то изумрудным, то гранатовым блеском.

В этом мире не было Саламанки с его правилами, не было страшного Медового рая, не было полицейских и судей, священников и адвокатов. Не было денег. Их не существовало, как концепции.

Внезапная догадка осенила ее — Белка даже ударила кулаком по баранке.

— Деньги! — крикнула она. — Ну конечно!

Все так просто и логично! Ведь они же сами талдычат об этом в каждой церкви! В каждой Библии написано об этом! Почему никто не видит и не слышит? Ведь Христос именно это имел в виду, когда говорил про верблюда и

игольное ушко. Они же так любят своего Иисуса, так боятся угодить в ад. И отчего их рай так пресен и неинтересен, будто скучная история косноязычного родственника? Отчего он так схематичен, точно набросок ленивого студента? Ведь это же рай! Заветнейшая мечта каждого смертного — как же так? Где интерес, где, черт возьми, элементарное любопытство?

Посмотрите каталоги их домов, вилл, яхт — с каким сладострастием они углубляются в мельчайшие детали планировки, с каким вожделением описывают породы дерева половых покрытий, гобелены обивочных материй, с какой порнографической дотошностью изображают нежнейшие изгибы фаянсовых биде и писсуаров.

А ад? О, ад описан подробнейшим образом! С картами и схемами, поэтажными планами, ад изумительно систематизирован и запротоколирован — взвод отборных немецких архивариусов не сделал бы лучше. Мы все знаем про ад — кто куда и за что попадет, сколько стоит паромная переправа, даже имя паромщика нам известно. У нас есть информация и про запах — в аду стоит смрад: горящая сера и гниющие тела грешников заполняют ад невыносимым зловонием. Там стоит тьма, адское пламя не дает света. Бесы нещадно мучают грешников, используя раскаленные колющие и режущие инструменты.

Но отчего же тогда наш мир устроен таким образом, что не оставляет ни малейшего шанса избежать этого скверного места? Отчего полдюжины смертных грехов стали не просто нормой, они превратились в цель жизни? Слава, богатство, чревоугодие, даже убийство: тебя наряжают в униформу, дают в руки оружие — и все, ты уже не убийца, ты герой.

Как говорил Саламанка? Я придумываю правила, а вы по ним играете. Кто придумывает правила в этом мире? Кто?

— Я знаю... — Белка даже задохнулась. — Все так просто...

Если хочешь что-то спрятать — оставь на виду.

Ответ лежал на поверхности. Он был настолько логичен, что даже эта логичность казалась подозрительной.

— С дьявольской хитростью... — проговорила Белка. — Ведь так и говорят — с дьявольской хитростью.

По левому ряду, завывая и сияя, как рождественская елка, пронеслась патрульная машина, за ней другая. Герои сломя голову неслись спасать мир от очередного злодея.

48

Сан-Лоредо встретил ее упругим горячим ветром, летящим песком и мелким бумажным мусором, похожим на стаю обезумевших ночных мотыльков. Из пустыни надвигалась гроза. Над западной окраиной города на рваных облаках набухало малиновое зарево. Там был луна-парк. Зарево от его огней растекалось по небу, точно где-то там, за горизонтом, всюду бушевал пожар.

— «Коллизеум» — усмехнулась Белка. — Попробуй — тебе понравится.

Зарево приблизилось, стало ярче. Пунктиром пестрых огней на кабинках и спицах выплыло чертово колесо, потом показались огни на верхушках каруселей, на мачтах качелей. Донеслась музыка, даже не музыка, а тоже пунктир — тупая басовая партия, неуклюжая, как танцующий цирковой слон.

Белка была спокойна, упряма и спокойна. Ее пугало это спокойствие, оно

было чужое, не ее: словно внутри поселился кто-то еще — некто самоуверенно мрачный и саркастично циничный, короче, сукин сын. Или сукина дочь.

Она свернула на Маркет-стрит. Она тут выросла, знала каждую скамейку, каждую выбоину на мостовой. Пятничная вечерняя толпа празднично плыла по тротуару, некто в шляпе весело окликнул Франческу — ею оказался мелкий барбос, задравший ногу у фонарного столба. Весело светились вывески знакомых магазинчиков и кафе, моргал неоновый калач (отчего-то изумрудного цвета) над булочной, — а сколько пломбира и эскимо было съедено вон в той кондитерской, где в витрине над пульсирующим конусом, изображающим вафельный рожок, один за другим зажигаются три волшебных шара — рубин, топаз и аметист. У входа в кинотеатр стояла очередь минут на пять. Белка прочла название фильма, засмеялась.

— Ну наконец-то начинает появляться хоть какой-то смысл в этой жизни!

У фильма было длинное и занятное название: «Харон и другие мерзавцы, которых ты встретишь на пути в ад».

Решив срезать, она поехала через Палисады, угрюмое гетто, куда стекались человеческие отбросы — наркоманы, пьянь, сумасшедшие. Полиция тут не показывалась даже днем. Дома стояли с заколоченными ставнями, стены были исписаны граффити, на мостовой валялся мусор, горы мусора. Попадались люди, в серых потемках едва различимые тени горбились на ступеньках или куда-то брели. Тип в долгополой шинели на голое тело попытался остановить ее. Белка нажала на клаксон и прибавила газ. Тип отскочил, долго матерился вслед, под конец неожиданно точно вцепил пустой жестяной в заднее стекло.

Кончились Палисады, дорога пошла через пустырь, потом покатила мимо заброшенной фабрики, где когда-то, в другой жизни, работал ее отец. Черный корпус фабрики отодвинулся, как гигантский занавес и из ночи, сияя и грохоча, выплыл луна-парк. Сквозь разудалую мелодию долетал истошный визг катающихся — хором орал падающие в «Башне смерти», отдельные женские вопли доносились с качелей «Седьмое путешествие Синдбада», тонко визжали дети на карусели «Русалочка».

Белка остановилась у шлагбаума. Высунувшись в окно, набрала код. Полосатая рука шлагбаума не двинулась. Белка набрала еще раз, медленно вдавливая каждую цифру. Тот же эффект. Она подала назад, остановилась.

— Давай! — крикнул сукин сын в ее голове. — Жми!

Белка хладнокровно утопила педаль газа. Колеса взвыли, плюясь щебнем. Шлагбаум разлетелся в щепки.

— Ну ты даешь! — похвалил сукин сын. — Высший класс!

Не оглядываясь, Белка прибавила скорость.

Саламанка был тут. Его мордатый «лендровер», мерцающий черным лаком, стоял у самого входа в контору. Белка, обогнув здание, въехала в тень трансформаторной будки и выключила мотор. Ее восхищало хладнокровие, с которым она действовала — определенно, тот сукин сын, с которым она сейчас делила тело, знал свое дело туго.

Она подошла к «лендроверу», к хромированной решетке радиатора был прикручен номерной знак, вместо цифр там были буквы — «El Dios». Водительское окно, тонированное до черноты, было наполовину припущенно. Белка взялась за ручку, та мелодично клацнула и дверь плавно раскрылась. В салоне зажегся янтарный свет. К зеркалу был привязан шнурок, на котором болталась деревянная фигурка Девы Марии, по-деревенски расписанная пестрыми красками. Из замка зажигания торчали ключи.

49

Саламанка говорил по телефону. Он сидел в директорском кресле, вытянув ноги и уперев каблуки сапог в край письменного стола. Их острые носы, украшенные серебряной чеканкой, хищно торчали вверх, к подошве одного прилип яркий клеверный листок, точно тайный знак.

Он говорил по-испански, услышав шум, удивленно вытянул шею. В дверях стояла Белка. Он узнал ее не сразу, узнав, нажал отбой, кинул телефон на стол.

— Не может быть... — медленно проговорил он. — Моя русская донна...

Белка не ответила, она стояла в дверях, держа в руке корзину из плетеных ивовых прутьев.

— Не может быть... — его тонкие губы растянулись в улыбку. — Новая стрижка, новый стиль... Любопытная татуировка. А что в корзине?

Белка молча подошла, поставила корзину на стол. Прямо перед подошвами его сапог.

— Подарок? Мне? — он попытался дотянуться, но ему стало лень, он снова откинулся в кресле и, сделав плавный жест ладонью, начал мечтательным голосом:

— О смуглый мой лебедь, в чьем озере дремлют
кувшинки саэт, и закаты, и звёзды,
и рыжая пена гвоздик под крылами
поит ароматом осенние гнёзда...

Он прервался и посмотрел ей в глаза, строго и жестко:

— А я подумал, что ты мстить пришла. Нет?

Белка выдержала взгляд.

— Впрочем, какие из вас мстители, — он переплел смуглые пальцы, закинул руки за голову. Пиджак распахнулся, из рыжей кобуры под мышкой выглянула рукоятка пистолета. — У вас, гринго, кровь для этих дел жидковата.

— Я не гринго, — Белка удивилась своему голосу, твердому и спокойному.

— Для меня вы все гринго. Вы сытые и ленивые, как свиньи в хлеву. Вы боитесь косоглазых, боитесь, что они придут и все у вас заберут. — Саламанка покачал головой. — Напрасно вы их боитесь. Китай далеко. Когда придут косоглазые, здесь уже будем мы. Это будет наша земля.

— А гринго?

— Мы поступим с вами, как и полагается поступать со свиньями — мы вас зарежем, — он засмеялся, не разжимая губ. — В этом мире две вещи имеют значение, только две: деньги и сила. У вас еще есть деньги, но уже нет силы. Деньги без силы ничто.

Снаружи, перекрывая музыку, гроыхнуло, грохнуло с таким раскатистым эхом, словно наверху ломали что-то громоздкое, вроде комода. Тут же по крыше и стеклам забарабанил ливень. Белка беззвучно одними губами что-то прошептала.

— Я был нищ, но у меня была сила, — Саламанка даже не обратил внимания на гром. — У меня была воля. Воля и сила. Я никого не боялся. Когда я родился, мать (он коротко перекрестился и приложил к губам ноготь большого пальца, точно целуя крест) отнесла меня к цыганке. Старая гадалка раскинула карты и сказала моей матери — твой сын станет богатым и знатым, как настоящий кабалеро. Я вижу деньги и власть — сказала она. Единственное, что может его убить — это страх. Страх!

Гром, словно отозвавшись, загрохотал прямо над крышей.

Саламанка с неожиданной прытью поднялся из кресла, оттолкнув кресло, распахнул сейф.

— Смотри! Знаешь сколько тут? — со злым азартом крикнул он Белке. — Полтора миллиона!

Все полки были забиты деньгами. Пачки купюр, свернутые в тугие рулоны, были перетянуты аптекарскими резинками.

— Полтора миллиона! — он засмеялся. — И ты знаешь, я ведь его даже не запираю. Клянусь Пресвятой Девой! Я могу этот сейф выставить на площади и ни один шакал, готовый зарезать священника за доллар, даже близко не подойдет.

Он стиснул кулаки и спросил:

— А знаешь почему? Потому, что каждый шакал на пять тысяч миль вокруг, на север и на юг, от истоков Рио-Гранде до дельты Миссисипи, знает, что его ждет. Знает, что я собственными руками выдавлю глаза вору, отрежу голову его жене, а детей скормлю койотам.

Гроза хохоча заухала. Глаза Саламанки засверкали нехорошим блеском, он пнул кресло, нервно прошелся взад и вперед.

— Если бы я хоть на секунду, хоть на мгновение... Хоть на миг показал, что боюсь, — он сжал кулаки. — Если бы шакалы увидели мой страх, они бы тут же меня разорвали на куски. Разорвали в тот же миг! Мои же рабы, которые сейчас лижут подошвы моих сапог! Вот этих сапог!

Он крепко топнул каблуком, плюнул на пол и коротко выругался по-испански.

— Страх! Он как проказа, пожирающая твой мозг! Изо дня в день. Он хуже смерти! Страх, как гадюка, холодная скользкая гадюка, поселившаяся в трусливом сердце, липкая гадюка, готовая ужалить днем и ночью. И каждый час ты ждешь смертельного укуса, каждый час до гробовой доски ты ждешь. Ты не живешь, ты ждешь! Ты ждешь! — он ударил кулаком в стол. — Ты ждешь...

Белка заметила, как побледнело его лицо. Левое веко задергалось, точно он неумело подмигивал ей.

— Я знаю, зачем ты пришла, — неожиданно тихим голосом проговорил он.

Он тронул корзину пальцем, поднял глаза на Белку, светло-серые сумасшедшие глаза.

— В тюрьме Эль Кореро... — он вышел из-за стола и медленно пошел к ней. — Я был мальчишкой тогда...

Его каблуки мерно, словно тяжелый маятник, стучали в пол — тук... тук... тук...

— Был почти ребенком, — он недобро улыбнулся. — Но уже тогда знал, что страх хуже смерти. Там, в Эль Кореро, я дрался с Хорхе-чилийцем. Он сам вызвал меня на поединок, он был уверен, что я струшу. Он был вдвое сильнее меня, этот Хорхе, он весил триста фунтов, с кулаками как кузнецкие молоты. Он был уверен, что я струшу.

Саламанка остановился перед Белкой.

— Но я не струсил, — зрачки в его глазах стали черными точками, как две дробинки. — Да, он сломал мне два ребра, потому что он был сильнее. Но я был храбрее — и я перегрыз ему глотку. Да, перегрыз! Буквально! Вот этими вот зубами!

Он подался вперед, оскалив крупные и очень белые зубы.

— А ты бы смогла? Вот так — зубами? — от него пахло пряным, горьким одеколоном. — Попробуй, может, у тебя тоже получится. Ведь ты пришла мстить, не так ли?

Он медленно вытянул шею. Задрал подбородок и выставил костистый кадык, словно собирался бриться. Белка не двинулась, лишь сжала кулаки. Он сипло дышал ей в лицо. На его шее и скулах начала проступать щетина, на подбородке светлой полоской розовел старый шрам.

— Нет? — спросил он, ласково и страшно заглянув ей в глаза. — Значит, нет...

Саламанка разочарованно развел руками, отвернулся, пошел к столу. Тук-тук-тук — застучали каблуки.

— В могилу сойдет твоё тело, — он, не поворачиваясь, сухо хлопнул в ладоши.

— И ветер умчит твоё имя.
Заря из земли этой тёмной
взойдёт над костями твоими.
Взойдут из грудей твоих белых две розы,
из глаз — две гвоздики, рассвета багряней,
а скорбь твоя в небе звездой возгорится,
сияньем сестёр затмевая и рая.

Он подошел к столу, взял корзину в руки. Приподнял, пробуя на вес.

— А скорбь твоя в небе звездой возгорится... — Саламанка приоткрыл плетеную крышку, заглянул в темное нутро. — Сияньем сестер затмевая и рая...

Он долго смотрел на Белку. Потом медленно начал опускать руку в корзину.

— Пусто... — разочарованно сказал он. — Там ничего нет.

50

Дождь почти выдохся, гроза уходила дальше на север. Мутные сполохи освещали грязное подбрюшье мохнатых туч, оттуда запоздалым эхом докатывалось утробное ворчанье. Белка, уткнув подбородок в руль, смотрела в ветровое стекло, по которому тонкими полосками сползали последние капли дождя. «Как слезы, слезы дождя», — подумала она.

В ярком проеме появился Саламанка — угловатый силуэт, наспех вырезанный из черной бумаги. Хлопнула дверь, деревянной дробью простучали каблуки по ступеням. Взычал мотор «лендровера» — тут же вспыхнули рубины тормозных огней, в белых снопах света фар замельтешил пунктир дождя. «Лендровер» круто, как танк, развернулся на месте. Разбрызгав лужу, выскочил на дорогу и с ревом исчез в темноте.

Гроза остановила веселье, луна-парк опустел. Чертово колесо вполнакала сияло мокрыми огнями, мертвые лапы «Твистера» удивленно застыли, подняв пустые кабинки к небу. Над безмолвной каруселью уныло вспыхивала и гасла молочного цвета звезда. Вспыхивала и гасла. Ритм совпадал с пульсом сердца, моего бедного сердца — Белка в оцепенении не могла оторвать взгляд от этой звезды: звезда гасла, но ее призрак еще на мгновение повисал в чернильной пустоте.

Сколько прошло времени — десять минут? Час? Век? Белка немymi пальцами нащупала ключ в замке зажигания, повернула. Она сделала все, что могла. Смысл, который она искала, оказался гораздо ближе — он оказался внутри нее, где-то в районе сердца.

Включила дворники, щетки устало размазали по стеклу слезы вместе с беспризорными огнями пустого луна-парка. Мир стал аморфной абстракцией. Белка выбралась из бездонной тени, на ощупь вырулила на дорогу. Проехала искалеченный шлагбаум: культи с обломком полосатой доски укоризненно торчала вверх, словно взывая к высшей справедливости.

Шоссе опустело, редкие встречные автомобили вежливо переключали дальний свет на ближний. Плоский пейзаж мирно тек мимо, оттенки темно-серого нарушались янтарным морганием светофоров, да уродливыми прямоугольниками придорожной рекламы, из которой в ночь пялились лики каких-то гигантов, пытавшихся всучить запоздалым путешественникам всевозможную трепбедень.

Да, еще была луна — мыльная и скучная, она беспризорно висела чуть правее зеркала заднего вида.

Миля через две впереди суетливо заморгало скопление голубых огней. Белка сбросила скорость. Часть дороги была перекрыта полицией. Судя по скоплению зевак, бросивших свои автомобили и столпившихся вдоль ограждения, там происходило что-то любопытное. Белка съехала на обочину, вышла из машины.

Картина походила на съемки фильма: кусок ночи был беспощадно высвечен ртутными лампами, от сияющего мокрого асфальта поднимался пар, в его мареве бродили inferнальные тени полицейских. Они были заняты чем-то важным; точно актеры они не обращали ни малейшего внимания ни на зевак, ни на ночь, ни на луну. Впрочем, луна этой ночью явно не задалась.

Фокусом внимания был автобус. Двухэтажный, роскошный, словно отлитый из черного стекла, он напоминал какое-то инопланетное чудовище, хищное и безжалостное. Полицейские растягивали ленту рулетки, что-то мерили, расставляли по асфальту белые таблички с цифрами, фотографировали их. Они ходили вокруг автобуса, постоянно приседая и заглядывая под днище. Тут же, прямо на обочине, устало привалясь к столбу, сидел некто в форменной желтой фуражке, медики и пара полицейских сгрудились вокруг на корточках, словно дети, слушающие увлекательную историю.

Из фургона скорой помощи вытащили носилки. Растянули белую тряпку, закрывая от зевак переднюю часть автобуса. Все полицейские потянулись туда. Автобус, бесшумно, точно скользя по асфальту, попятился. В тишине кто-то громко и медленно произнес: мать Божья... Белка услышала, как кого-то вырвало.

За белой тряпкой, как за ширмой, происходило некое действие, потом оттуда в сторону скорой помощи поплыли носилки с каким-то грузом в черном пластиковом мешке.

Белка подошла ближе. Впереди, метрах в пятидесяти, поперек шоссе стоял джип, черный «лендровер». Водительская дверь была распахнута настежь. Двое полицейских, неспешных и важных, ходили вокруг машины; тот, что с камерой, беспрестанно моргал вспышкой, второй, сунув руки в карманы, следовал за ним, точно проверяя правильность выбранных фотографом объектов съемки.

Неожиданно фотограф закричал, даже не закричал, а коротко взвизгнул высоким бабым голосом. Второй полицейский проворно попятился, задирая ноги, словно путался в высокой траве. Из открытой двери джипа на асфальт соскользнула черная блестящая лента. Толпа зашумела, несколько полицейских побежали от автобуса к джипу. Отойти! Всем отойти! — заорал один, размахивая пистолетом. Раздался выстрел, другой, третий.

Стрелок осторожно нагнулся и поднял что-то с асфальта. По толпе с ужасом, испугом, удивлением прошелестело одно слово. Сухая тетка непонятно-го возраста с ловко нарисованным лицом повернулась к Белке и повторила его:

— Змея!

Белка отрицательно покачала головой.

— Это уж.

И словно в подтверждение один из полицейских громко повторил:

— Да это уж! — полицейский нервно засмеялся. — Боб, ты ужа пристрелил. Ужа!

Уж-уж-уж — зажужжала толпа. Тетка снова повернулась:

— Уж? — подозрительно шурясь, спросила. — А ты, парень, как узнал, что это уж?

— Я не парень, — ответила Белка. — Но у меня хорошее зрение. Очень хорошее. У ужей желтая точка вот тут, на шее.

Белка кивнула в сторону джипа, мол, не так далеко. Тетка не поняла. Капризно дернув плечами, она протиснулась к толстяку в белой ковбойской шляпе, который что-то увлеченно рассказывал, пуча глаза и надувая щеки. Судя по всему, белая шляпа был очевидцем происшествия. Время от времени он показывал на автобус и повторял, как припев, «бац! — и прям всмятку!», при этом с сочной силой шлепал кулаком в ветчинную ладонь.

И держал паузу, оглядывая слушателей.

Представление явно подходило к финалу: гасли ртутные лампы, медики незаметно уехали, полицейские неспешно собирали свои пожитки, курили, тугой струей из брандспойта мыли асфальт. Эвакуатор взгромоздил джип на платформу и увез. В автобусе оказались туристы — за тонированными стеклами их не было видно. Им, наконец, разрешили выйти наружу. Они бродили, потерянно поглядывая на шипящую, как газировка, струю брандспойта, на мокрый асфальт. Полицейский, хмурый плечистый парень, подошел к заграждению:

— Движение будет восстановлено через шесть минут. Прошу всех автомобилистов вернуться к своим автомобилям. Повторяю...

Он повторил и, словно отгоняя мошкар, устало махнул правой рукой. В другой руке, затянутой в рыжую перчатку, он держал сапог — высокий черный сапог, дорогой лаковой кожи, с наборным скошенным каблуком и острым хищным носом, украшенным серебряной чеканкой.

51

Белка доплелась до машины.

Сложив руки на баранке, она уткнулась лбом, закрыла глаза. Мыслей не было, была усталость, смертельная усталость. Усталость и пустота. До нее долетал приглушенный говор, зеваки тревожными голосами обсуждали увиденное. Хлопали двери, фыркали моторы, хрустел гравий под грубыми протекторами колес. Постепенно все стихло.

Перед глазами вялым хороводом плыли бледные круги, они мутно наливались цветом, но неярким, а разбеленным — словно в молоко капали сироп и размешивали: из малины получался розовый, из мандарина — палевый, из персика выходила непередаваемая нежность, имени у которой нет.

Белке нравились эти цвета, трогательно девственные — в такие любящие родители наряжают своих младенцев. Она пыталась разглядеть круги, но они плыли, плыли, плыли. Постепенно снизу проступила зеленая полоса, она начала

подниматься, расти. Трава — догадалась Белка, летняя трава. Она увидела свои ноги, босые, оранжевые от загара, с белыми полосками от сандалий.

Спать нельзя — сказал кто-то в ее голове.

А, собственно, почему нельзя? — возразил другой голос.

Белка сделала шаг — это оказалось легко, трава была мягкой, влажной от росы. Вокруг краснели маки, тяжелые мокрые цветы покачивались на высоких стеблях. Яркий зеленый холм круто уходил вверх, он весь был в маках. Что там, за холмом? Белка пошла вверх, легко и быстро. Потом побежала, трава приятно холодила пятки, Белка вдыхала сладкий, свежий травяной дух, иногда на бегу, точно глядя, касалась ладонью красных цветов.

Она взбежала на холм и замерла — перед ней распахнулась бескрайняя даль: внизу и дальше, до самого горизонта, лежали луга, желтели квадраты полей, зеленой дымкой мерцала березовая роща, петляла речка, то исчезая, то снова выглядывая из-за холмов и деревьев. В туманной дали вода сияла расплавленным серебром, а ближе гасла, темнела, становилась ультрамариновой.

Горизонт не был прямой линией, он искривлялся дугой — Земля действительно была круглой. Из-за горизонта, словно сон, будто мираж, поднимались лесистые громады гор, прозрачные, точно смытая акварель. Они плавно переходили в светлую лазурь неба, летнего неба, какое бывает в июне, в самом начале каникул, которые кажутся такими же бесконечными, как бездонное небо или бесконечными как сама жизнь.

За рощей белела церковь — как Белка ее сразу не заметила? — на верхушке игрушечной колокольни золотой каплей сияла маковка. От церкви змеился проселок, Белка разглядела крыши деревни, кукольные домики рассыпались по пологому берегу реки. Долетел звук — Белка прислушалась. Что это? Ей почудилось, что кто-то зовет ее. Эхо прокатилось по полям, она ясно различила:

— Ау! Соня! Соня Белкина, ау!

У Белки перехватило дыхание, она сглотнула, отчего-то слезы выступили на глазах.

— Ау! Соня, ты где?

Она нагнулась, посмотрела вниз. Холм обрывался пропастью. Ее босые ноги стояли на самом краю, тут трава была сухой и щекотной, в ней вовсю звенели кузнечики. Белка беспомощно оглянулась, маки сочувственно качали красными головами.

Из дальнего угла сознания долетел другой звук — тревожный, нервно крутящийся, как злая юла. Слабый, не громче осинового зуда, он стал постепенно расти и приближаться. Белка узнала звук патрульной сирены.

— Ау! — доносилось с лугов. — Ау-у!

Эхо плыло над бескрайними полями, скользило по тихой речке, путалось среди прозрачных берез и нежно таяло в лазоревом небе. Белка зажмурилась, вдохнула полной грудью, развела руки в стороны и смело шагнула вперед. Ничего страшного не случилось, ее тело оказалось легче пуха, легче зефирных облаков — теплый воздух упруго подхватил ее и понес.

Сирены были совсем рядом, но это уже не имело ни малейшего значения — Соня Белкина уносилась все дальше, все выше в летнюю синеву, оставляя позади бессмысленный вой полицейских сирен, шоссе номер Девятнадцать, а вместе с ним и весь штат Аризона, с его городами, тюрьмами, луна-парками, дворцами правосудия и прочей чепухой, выдуманной несчастными и вконец запутавшимися существами, доживающими свой век на этой, в целом не такой уж скверной, планете.

Наум Басовский

Не оглядывайся назад!

* * *

Это окно ночного, почти пустого трамвая:
смотрю наружу, а вижу только себя.
Жёлтые пятна, там, за окном, проплывая,
портят портрет, на фрагменты его дробя.

Я привыкаю к подвохам тряски вагонной,
и отчуждение больше меня не злит, —
я привыкаю к тому, что мир законный
необъяснимо с моими чертами слит.

Мой портрет сминается, рвётся на части
и возрождается снова во весь экран,
ибо я не свидетель событий, я их участник —
окружающий мир в *моих* ощущениях дан.

Его воспринять реально требуется сноровка;
только её накопишь, установишь закон —
тут водитель объявит: — Конечная остановка!
Трамвай уходит в депо — освободите вагон!

Плуг

Откопал премудрость мой старый друг,
позвонил, поделиться рад:
«Возложивший руку свою на плуг,
не оглядывайся назад!»

Я сижу с клочком бумаги в руке,
записал и читаю вслух.

Вижу поле и пахаря вдалеке,
вижу лошадь и вижу плуг.

Ах, какие давние это дела —
нужно очень много труда,
чтоб всегда на пашне ровной была
и глубокою борозда.

Басовский Наум — поэт. Родился в 1937 г. в Киеве. Окончил Киевский педагогический институт и Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. С 1962 г. жил в Москве, работал в области технической акустики. С 1992 г. живет в Израиле. Автор более десяти сборников стихов, в т.ч. последние — «Контрапункт. Двадцать три поэмы» (Иерусалим, 2010), «Пустынник» (Иерусалим, 2012), «Камни и миражи» (Иерусалим, 2014). Дважды лауреат поэтического фестиваля памяти Ури-Цви Гринберга (2004, 2006).

Потому у пахаря соль на спине
и ночами кости болят,
и старинная мудрость понятна мне:
не оглядывайся назад!

Если взял ты ручку и белый лист
и пошёл, сперва наугад,
если духом прочен и сердцем чист,
не оглядывайся назад!

Где пора пахать, много мест вокруг;
а косить, молотить, молотить?
И трудись, не жалея спины и рук,
где поставил тебя Господь.

Будь, идя за своей мечтой потайной,
в меру сложен и в меру прост,
и взойдут хлеба за твоей спиной
и поднимутся в полный рост.

Стихосложение

Тревожный звук — откуда, не пойму,
и вот я весь, от пяток до залысин,
на некий срок от боли независим,
готов послушно следовать ему.
Но надобно сперва определить
тональность, громкость и состав оркестра.
А улица, лежанка или кресло —
неважно, где звучание продлить,
чтобы возникли первые слова
в тональности, пока ещё до смысла,
и чтоб в оркестре пауза повисла —
проверить, что мелодия права.
И слово к слову мягко подвести,
как две недалёких клавиши рояля,
чтобы они в соседстве постояли
и общий звук смогли произвести.
Так шаг за шагом — где уж тут покой! —
идя, сверяться вдумчиво с истоком,
чтобы с пути не сбиться ненароком,
строку соединяя со строкой.
И не бояться слов совсем простых,
хоть слово — материал, конечно, ковкий,
и лишь тогда заняться оркестровкой,
когда вчерне уже построен стих.
И, от себя сомнений не тая,
пройти весь путь ещё раз — от начала,
и вслушаться в звучание финала,
и прошептать: — Неужто это я?..

* * *

Вовсе не надо быть проницательным или хитрым
или блестяще владеть своим учебным предметом.
А просто кто-то рождается с таким особенным фильтром
на звучание слов — он-то и станет поэтом.

Он может быть погружён в заботы вполне бытовые,
он может быть невнимательным к доносящимся стонам,
но вот какое-то слово он слышит, словно впервые,
и оно на время поселяется в нём камертоном.

И от этого слова, как от семечка в грунте,
появится тонкий росток, ведущий к другому слову,
и эта пара с оттенком радости или грусти
для продолженья строки некую даст основу.

Два слова — два ударенья — это начало ритма;
он может ради напева смениться не раз и не дважды:
на это влияют аллюзии, на это влияет рифма,
но всё подчиняется главному — утолению жажды.

Слова образуют строки, строки текст образуют;
слово, прошедшее фильтр, словно бы обновится.
Вряд ли эти стихи кого-нибудь образумят,
но кто-нибудь остановится и кто-нибудь удивится.

Может быть, поначалу себя ощутит неловко
тот, в котором возник отзвук стихотворенья.
Но чтоб уточнить дорогу, надобна остановка.
Чтобы жизнь уточнить, надобно удивленье.

Ревич

Он меня не подначивал
тонкой структурой сонета,
он меня не приваживал к хитросплетеньям венка
и суждение своё не приглаживал формой совета,
а оценка была справедлива, строга, глубока.

Он, уверенный мастер,
владеющий всем арсеналом,
называл рукодельем механику сборки стиха;
если ж правда была,
оставался доволен и малым:
чтоб дышалось просторно и музыка чтоб неплоха.

Он не шёл никогда на базар многоликий и злачный,
из его болтовни для себя извлекая урок.
Проходили года. Он писал всё нежнее и прозрачней,
и друзья понимали, что в нём прорезамлся пророк.

Понимали, конечно, но не говорили об этом,
ибо он приучал применять первозданно слова,
и довольно того, что он был настоящим поэтом
в силу знаний, и веры, и сути его существа.

* * *

Вьётся сна затейливая нить —
рассказать я долго не решался:
в нём я должен маме позвонить,
что в пути слегка подзадержался.
Покупал я белую фасоль
в подмосковной лавке-развалюхе,
где играли заданную роль
тёмные сварливые старухи:
крик одной про двери на засов,
крик другой про кошелек пропавший...
В общем, от прилавка и весов
я ушёл не солоно хлебавши,
и придётся снова в общепит,
где всегда недёшево, да мило...
Мысль, что мама в Киеве не спит,
в этот миг меня остановила.
Шарю по карманам впопыхах
и — одно из впечатлений сильных —
вижу, что держу в своих руках
весь заизвесткованный мобильник.
Я причин тому не нахожу,
в размышленья тоже не пускаюсь:
по экрану пальцем провожу —
капли крови оставляет палец.
И тогда решил я, что дойду:
Подмосковье, Киев — это рядом.
Лезу на высокую гряду,
и старухи провожают взглядом.
Сверху по гряде идёт трамвай
прямо до маминого дома.

Сам себе талдычу: — Не зевай,
слава Богу, это всё знакомо.
А в трамвае ругань, теснота,
жарко и трясёт невероятно.
Он идёт, я слышу, до моста,
а ведь мне-то надобно обратно!
Как же это промахнулся я?
Что мне делать — на ходу не выйти!
В сон мой добавляет колея
новые затейливые нити...
Надо выйти! Цель осознаю
и сквозь давку пробиваюсь к цели,
выхожу, растерянно стою
на угрюмой улице в Брюсселе.
Быть на ней уже случилось мне,
хоть она какая-то другая,
но мужчина в чёрной куфие,
как тогда, всё смотрит не мигая.
Этот взгляд, понятно, не сказал
ничего хорошего в итоге,
а направо — площадь и вокзал,
и, пожалуй, лучше делать ноги.
Снова рельсы, снова колея,
паспортные штампы на границе —
это неприкаянность моя
гонит, не даёт остановиться.
Сон, конечно, — полный произвол;
помнится однако, беспокоя...

Землю я на старости обрёл,
а вот время для меня — какое?..

* * *

Нужна тишина, чтобы молча обдумывать жизнь,
а в мире сегодняшнем громкого звука — навалом.
Поэтому лучше намеренно ты откажись
от шумных застолий, от праздников и карнавалов.

Себя защитить попытайся от рёва турбин,
от стука колёс, от гудков корабельных в тумане,
и пусть журавлиный случайно замеченный клин
в далёкие странствия снова тебя не заманит.

Смотри свои сны или просто смотри на луну,
копи впечатления дня в тайниках и подвалах,
но в час тишины погружайся в свою глубину
в надежде на мир откровений, ещё небывалых.

И если случится тот мир невзначай обрести
среди повторений, ошибок и ложных находок,
добро бы запомнить дороги к нему и пути
и знаки-приметы на дальних и ближних подходах.

Да вот незадача — дорога потом не видна,
приметы теряются в гуще событий и встрясок,
и ты понимаешь: затем и нужна тишина,
чтоб снова спускаться и снова искать —
без подсказок.

Возвращение к причалу

Я вернулся в край заповедный,
где стоял причал неприметный
на реке, не очень широкой,
но спокойной, чистой реке.
А прошли немалые сроки;
вот опять заря на востоке,
и опять в тишине рассветной
на причальной стою доске.

Я стою, удручённый малость:
от причала что и осталось —
нет ограды и нет настила,
а вот именно что доска.
А река как воды катила,
так и катит. Встаёт светило.
Где в душе мечта улыбалась,
подступает уже тоска.

Сваи сгнили, торчат неровно;
для ремонта лежали брёвна —
увели их люди лихие,
на траве только тяжкий след.
Остальное — дело стихии,
довершит. А места такие —
населенье уснуло словно,
не опомнится столько лет!

На округу гляжу устало,
мне злорадствовать не пристало —
для души, без того печальной,
дополнительный горький знак.
И стою на доске причальной,
трудно памяти изначальной:
то, что было, и то, что стало,
совместить не может никак...

* * *

Во мне расстилается степь, границ никаких не зная,
до края полная трав и всё же для взгляда сквозная.
Она полна ароматов, простора и тишины,
там редки резкие звуки, но далеко слышны.

Во мне поднимается к небу лес — огромная пуща,
где сказки, легенды и были соседствуют в тёмной гуще,
где водятся лоси и зубры, где дятлы сурово бьют,
где ягодный дух местами и смоляной уют.

Во мне накопился жар больших камней пустыни,
где все пейзажи в сиене, умбре или кармине,

где льётся и льётся с неба голубоватый зной
и солнечные тюльпаны густо цветут весной.

И вот над финальной частью личного манускрипта
во мне возникает крона мощного эвкалипта,
и все остальные виденья ослабевают под нею,
как бы отодвигаясь и немного тускнея...

Смешанный лес

В.

Смешанный лес — не дубовая роща,
не корабельный возвышенный бор.
Он победнее, и выглядит проще,
и для фантазии меньше простор.
Но углубишься в его светотени,
в мягкие тропки, в глухой сухостой —
скромные лики знакомых растений
тронут неброской своей красотой.

Взгорок окрасится россыпью ягод,
мох оттопырится стайкой маслят...
Может быть, на день, а может быть, на год
лес прикуёт созерцательный взгляд.
Двигаться будешь неспешно и чутко,
как бы бесцельно, но чутко, пока
не набредёшь на звучащее чудо —
тихо-прозрачный напев родника.

Смешанный лес — не таёжная чаша,
где потеряется и следопыт.
Можно встречаться то реже, то чаще —
смешанный лес не запомнит обид.
Души людские всегда беспокоя
тайной доступности, скрытой от глаз,
это и время, и место такое,
что соразмерно любому из нас.

Роман Сенчин

Идёт вода

Из книги «Зона затопления»

Игнатия Андреевича Улаева называли в родной деревне Молоточком. Слышалась в этом прозвище насмешка над его прямо страстью вечно все перестраивать, ремонтировать. Забор подновлял два раза в год — осенью и весной, — крыши стоек, дровяника перекрывал бесперечь, настил во дворе при первом намеке на то, что одна плаха затрухлявела или просто не так плотно прилегает к другим, начинал перебирать. Даже ящики для куричьих гнезд и собачью будку не оставлял Молоточек в покое.

Жена, пока жива была, ругалась: «Уймись ты, долбила! В мозгу уже эти гвозди твои!» Соседей тоже раздражал стук и стук с утра до ночи.

Теперь у Игнатия Андреевича молотка не было. Вообще квартира стояла почти пустая — лишь самое необходимое, чтоб поесть, поспать, посидеть перед телевизором.

Хотя привез из деревни много чего. Всю квартиру забил до отказа. Из прихожей расходились узенькие тропинки в комнату, кухню, туалет. А вокруг мешки, коробки, углы разобранной мебели, коврики, половики, даже струганные доски на всякий случай.

Приезжала дочь из Ачинска, попыталась разобрать, распределить; Игнатий Андреевич махнул рукой: «Сам потом».

Больше года прожил так, все собираясь, а потом понес на улицу. Удивился, увидев возле контейнеров целые горы коробок, тряпок, полок, железок. По привычке подбирать нужное, стал было в этих горах копать. Опомнися, отдернул руки, заматерился.

Через пару дней встретил в магазине своего земляка Виктора Плотова, бывшего учителя труда, сказал ему, что выкинул многое из того, что привез, чем там, в деревне, дорожил.

— Да мы тоже избавились, — ответил Виктор скорбно. — Куда тут девать? А давило так, моя аж задыхаться стала.

— Во-во! И я. Спать не мог... К чему мне теперь уж барахло это?..

Роман Сенчин — родился в 1971 г. в городе Кызыле. Проза публиковалась в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Континент» и других изданиях. Автор книг «Афинские ночи», «Минус», «Ничего страшного», «Иджим», «Елтышевы», «Информация». Лауреат Премии правительства РФ. Живет в Москве. Последняя публикация в «ДН» — рассказ «Перед судами», № 4, 2014.

Жил Игнатий Андреевич один. Побоялся уезжать далеко от родины к кому-нибудь из детей.

— Седьмой десяток добиваю. Докряхчу тут уж. Хоть кого знакомых буду видеть. А чего мне в Ачинске или Бердске каком-то?

Вскоре, правда, ему пришлось пожалеть, что так круто обошелся с вещами — зимой в гости зачастили мужики-односельчане, а усадить всех — собиралось иногда человек семь-десять — было некуда. Пришлось идти в магазин мебели, купить несколько табуреток.

Выпивали редко, в основном под чай и сигареты вспоминали прошлое, делились новостями и слухами, известиями, что там и как теперь на месте их деревни Пылёво.

— Сын плавал тут перед шугой — вода до школы дошла, — сообщал старик Мерзляков, и собравшиеся несколько минут молча представляли место, где была школа, расстояние и высоту до того, прежнего, берега.

— Высоко-о, — вздыхал за всех один кто-нибудь.

— А, это, там ведь памятник фронтовикам стоял, — вспоминал другой. — Не слышал, его-то забрали?

— Забрали-забрали. Теперь все такие памятники на кладбище стоят. Рядком.

— М-м, ну ладно...

Но обязательно появлялся и несогласный с «ладно»:

— Не на кладбище таким памятникам место, а на площадях центральных, возле школ. Это символ, чтоб ребята видели, помнили.

— Здесь, в городе-то, столько площадей не наберешься — со всех деревень расставить.

— Ну да...

Курили, вздыхали.

— И сколько деревень затопили, получается?

— Ну давай считать.

И с горьким каким-то удовольствием перечисляли названия не существующих больше сел и деревень:

— Кутай, Пылёво наше, Сергушкино...

— Сергушкино-то при чем? Оно стоит. До него никакой потоп не доберется.

— Избы стоят, а людей убрали. Техники там! Все, что насобирали по окрестью, — туда. Барж на десять хватит загрузить железом.

— Ну, мы не про это сейчас... В общем, Сергушкино тоже считаем...

— Проклово, Большаково.

— Усово...

— Красивая деревенька была.

— Да, маленькая, но как игрушка.

— Немцы строили, чего ж...

— Не немцы, а литовцы.

— Ну, разницы-то...

— Косой Бык, Селенгино, — упорно продолжал тот, кто предложил сосчитать.

Но его снова перебивали:

— Селенгино уж давно пустым стояло.

- По бумагам-то было. Да и дома оставались...
- Костючиха там до последнего жила. Старуха такая — ух! Всех гоняла...
- Померла.
- Да ты что! Не слышал...
- Буквально перевезли ее, и через месяц... Теперь какой-то суд с родней.
- А чего?
- Ну, квартира не в собственности была, поэтому город, или кто там, не отдает родне... Ну, там черт ногу сломит разбираться.
- Мозги.
- А?
- Мозги сломит.
- Мозги-то мы себе здорово повывихивали. До сих пор как в чаду.
- Эт точно.
- Эх-х...
- А с Таежным как? Неужели оставят?
- Часть расселили, но в основном стоит.
- Там так — у кого изба на суше, а огород — на дне. Кочегарка на самой кромке — метров десять буквально от воды...
- Вроде, слышал, дамбу какую-то мощную сыплют. Важный, говорят, поселок, нельзя терять.
- Ну дак, федеральная трасса через его проходит.
- И чего? Дорога дорогой, а людей-то зачем там держать? Они вообще там в панике — каждый день ждут, что затопит. Тем более сейчас, зимой...
- Может, хе, деньги кончились — переселять. Разорились на нас.
- Они разорятся...
- Вон и Путин на пуск гидры не приехал. Из Москвы руководил. Сэкономил.
- Приехал бы, порыбачил заодно.
- Да че ему у нас... Его Шойгу на рыбалку в такие места возит!.. А мы... в говно превратили реку...

Приходил к Игнатию Андреевичу и Алексей Брюханов. После долгой непонятной болезни он похудел, потускнел... В первое время, выписавшись, пытался добиваться правды — что же все-таки это у него за язвы на руках (они, черноватые, то исчезали, то появлялись снова, гноились), но заметил: чем громче добивается, тем сильнее сторонятся его окружающие, — мало ли, действительно, чем он заражен, — и бросил. Принимал рекомендованные лекарства, они вроде бы помогали.

В основном помалкивал, усмехался горьким шуткам и острым словам земляков. А потом стал приносить листочки.

— Дочери купил компьютер, и сам в него лазить наладился. В интернет. Много там всего... Для чего раньше надо было целую библиотеку перелопатить, теперь за пять минут найти можно. Там и про наши места много чего. Могу почитать. Записал кое-что.

— Давай-давай, Лёш, хоть узнаем.

Брюханов кашлянул, объяснил:

— Это путешественник, еще до Петра Первого, семнадцатый век... Не путешественник то есть, а посол. В Китай ехал и к нам забрался. Дневник вел... И вот он пишет, короче: «На левой стороне деревня Кутай, от острова Варатаева

две версты. На той же стороне речка Кутай. А на той речке поставлена мельница, и собирают на Великого Государя...»

— Погоди, — остановил Брюханова Геннадий, бывший тракторист, а теперь грузчик в торговом центре. — Погоди, почему на левой стороне? Кутай же на правой был.

— Может, раньше на левой, — заикнулся Игнатий Андреевич, — три века назад-то...

— Ну а речка тоже место поменяла?

— Лежа неправильно списал, видать.

Невесело посмеялись.

— Я думаю, это он относительно себя определял, — предположил Брюханов. — Он же вверх плыл. И от него, значит, слева.

— Гм... видимо... Чего там дальше?

— «А как идешь от деревни Кутая, и от того места идут все острова, и другого берега не видать».

— Угу, угу, значит, точно вверх шел. Островов выше Кутая полно.

— «На той же стороне деревня Огородникова, от речки Кутая пять верст. На той же стороне деревня Кромилова, а под деревнею речка Мамырь, от деревни Огородной четыре версты. На правой стороне деревня Софронова...»

— А что это за Мамырь? — нахмурился, вспоминая, Игнатий Андреевич. — Под Братском, знаю, Мамырь есть, село... Это он уже в Иркутскую область, что ли, уплыл?

— Да вряд ли... Да мало ли Мамырей? У иркутов и поселок Кутайский тоже есть. Тоже недалеко от Братска.

— Да?.. То-то с нами не церемонились — одним Кутаем больше, одним — меньше... Москву бы не стали топить...

— Хе-хе, эт ты к месту сказанул. Про Москву.

С минуту молчали, представляя, что вот появилась идея перегородить Москва-реку, построить на ней ГЭС. И началось расселение москвичей по России...

— А Пылёво-то, — не выдержал Виктор Плотов, — Пылёво наше там хоть упоминается?

Брюханов мотнул головой:

— У этого — нет. Дальше будет... А здесь вот что интересно: оказывается, столько деревень стояли между Кутаем и Усть-Илимском. Тут названий двадцать. — Глянул в бумагу: — Софронова, Суворова, Смородникова... И вот, кстати: «Против той деревни Смородникова искали жемчуг. И в тех местах жемчугу сыскали небольшое, и велми мелок. Только сыскали одно в гороховое зерно грецкое».

Это сообщение вызвало долгий спор. Одни удивлялись и не верили, что в их реке могут обитать жемчужницы, другие уверяли, чуть не божились, что видели не только эти раковины, но и мелкие жемчужины в них.

— Ну, я даже и не додумался, что это жемчужина, — говорил Женька Глухих. — Думал, песчинка такая крупная. Мало ли...

Ему не то чтобы верили, но опасались объявлять, что врет — именно Женька, выпивоха и шалопай, никчемный мужичок, притащил несколько лет назад в деревню осетра на сорок килограммов...

— А вот здесь про Пылёва, — продолжал Брюханов, — который, наверно,

и деревню поставил. Или сын его... «Вверх по реке деревня Кутайская, а в ней пашенные крестьяне: Дёмка Привалихин, Васька Пылёв, Ивашко да Лучко да Климко Савины».

— Привалихин, — вздохнул Виктор. — Сколько всего случилось за триста лет с лишним, а фамилия сохранилась. Не фамилия даже — род!

— Ну, в документах куча фамилий знакомых. Заборцевы, Рукосуевы, Сизыхи, Верхотуровы, Саватеевы, Усовы. Моих предков полно — Брюхановых.

— Да-а, веками держались. А вот взяли их... нас всех, и — смыли.

Много вечеров и выходных дней провели бывшие пылёвцы за обсуждением брюхановских записей. Бывало, и кряхтели, глотая слезы, когда слушали вроде этого школьного сочинения:

«В объятиях красивой природы, в живописнейшем местечке среди лесистых сопок, располагалось красивое таежное село Пылёво — моя родина. Исключительно удобное место по достоинству было оценено еще в семнадцатом веке. Наши предки наверняка были поражены богатством и красотой этой местности. Кругом непроходимая тайга, где грибы и ягоды, а на лесных полянах — море цветов. Когда-то первые засельники метр за метром отвоевывали землю у суровой тайги, чтобы вырастить хлеб. Поля вокруг были небольшие, словно заплатки. Защищенные от ветров, они давали хорошие урожаи. В реке всегда было много рыбы, в лесу — зверей.

Люди здесь жили гостеприимные, накормят проезжего всем, чем богаты сами, наварят ухи или затушат мяса с рассыпчатым картофелем.

Стояло Пылёво на видном месте — высоком берегу, окруженное с одной стороны тайгой. Летом долины вдоль берега были все в цветах. Зимой, когда река покрывалась льдом и снегом, между холмами и изгибами стелилось такое широкое белое поле, что дух захватывало. Как жалко, что теперь ничего этого не стало».

Как-то с листочком пришел и Геннадий. Долго мусолил его, потом не выдержал:

— Я тут стишок... ну, написал, в общем. Послушаете?

Стихи и песни в Пылёве писали многие, поэтому не особенно удивились. Хотя от Генки этого не ожидали — он всегда лирику не любил, посмеивался.

— Давай-давай, Ген!

— Чего...

Замолчали. Смотрели в стороны или в пол, чтоб не смущать. Геннадий тщательно прокашлялся и начал:

Богучаны, Богучаны —
Заполняет землю тухлая вода,
Создавая олигархам океаны
Для процентов новых с рабского труда.

— Нет, — скомкал бумажку, — не в этом дело. Не про то...

— Ты че, Ген?! Нормально...

— Да не про то, говорю же. Не в олигархах дело, не в плотине, алюминии...

И не в том даже, что мы свою родину потеряли. Не от этого тошно.

— А от чего? — сухо вато спросил старик Мерзляков.

— Ну, мне вот лично не от этого. Я, как... как вы видели, знаете, никогда

особо этой деревенской жизни не радовался. На огород меня силком жена тянула. Грядку выполоть — хуже, чем повеситься... Мне легче было трактор перебраться, чем картошку протяпать. Ну не лежала душа, с детства не лежала... А теперь маюсь, и снится огород этот чертов, двор свой, хоть и жаловаться вроде грех — квартиру нормальную дали, работа — не копейки платят, тем боле не на горбу таскаю мешки, а тележкой, цивилизованно...

— И к чему ты все это? — устав слушать, поторопил Виктор.

— К тому, что не саму деревню нам жалко. Ладно, — поймав глаза мужиков, Генка поправился, — мне, о себе говорю... Не деревню саму и эту жизнь деревенскую, а... Там я жил, томился по чему-то такому, по другому. И вот попал в другое, и чувствую — потерял защиту... Не такую, что, в смысле, от земли оторвали, а... а другую какую-то... Как объяснить?..

— Чего-то ты такое загнул, что сам вон запутался, — усмехнулся Игнатий Андреевич. — Скажи прямо: скучаю по деревне, жалко...

— Скучаю. Скучаю, но не потому, что мне там хорошо было. Хм, — Геннадий усмехнулся пришедшему сравнению, но все же произнес его: — Так вот некоторые, слышал, по тюрьме скучают.

— Ну-у!

— Или по армии. По армии же скучаете? А точнее всего, думаю, это как если монастырь закрыть и монахов разогнать, чтоб они в миру жили... Они будут жить и мучиться, о своем монастыре плакаться.

— Какой у нас монастырь! — хохотнул Женька Глухих. — У нас такие были ягодки в Пылёве!

— Я ж не в этом смысле...

— Ну да, Ген, — сказал Брюханов, — я понимаю, кажется... Я тут одну историю вычитал: в тридцатые годы на Волге построили станцию, и там огромные территории затоплялись, переселяли сотни тысяч. И я нашел документ в компьютере, что двести с чем-то человек отказались переселиться и утонули.

— Ни хрена себе!

— И под документом, в обсуждалке, целая ругачка: одни говорят, что быть такого не могло, фальшивка, мол. Что, дескать, вода медленно поднималась, месяцами, их бы всех переловили и насильно увезли бы. А другие — нет, могли утонуть, в подполье набились, в ямы...

— В тридцатые годы — могли, — задумчиво произнес старик Мерзляков. — Тогда другой народ был. Это нас, как баранов, погнали, и мы побежали.

— Хм! — Генка стал расправлять листок. — У меня тоже тут про баранов было... Шас...

Только вот в какие страны
Потечёт дешёвый ток Сибири?
И дешёвый алюминий
Чьи заполнит закрома?
Мы же все, о господи, бараны,
Не хватает нам ни чести, ни ума!

Конец посиделкам положил такой случай.

Собрались, как обычно, человек пять-семь, разговаривали. Вспоминали в кои веки забавное. По кругу байки гоняли. Смеялись. И тут — звонок в дверь.

— Виктор, видать, — Игнатий Андреевич поднялся с табуретки. — Обещался сёдни зайти.

За дверью стоял милиционер. Погоны старшего лейтенанта.

— Здравствуйте, я ваш участковый уполномоченный, — представился. — Разрешите?

Игнатий Андреевич, растерявшись от неожиданности, посторонился, пропустил.

— Улаев Игнатий Андреевич? — И не дожидаясь ответа, участковый прошел в комнату, на голоса. — Приветствую... Накурено-то у вас. — Не констатировал, а словно сделал замечание.

Мужики замолчали, смотрели на пришедшего. И каждому показалось, что его застали на чем-то незаконном, по крайней мере — нехорошем, предосудительном.

— А что такое? — после некоторого оцепенения спросил Алексей Брюханов.

— Да вот сигналы поступают, и я обязан проверить. Сообщают, что здесь постоянно проходят собрания.

— Собираемся земляки, вспоминаем, — спохватившись, что он здесь хозяин, сказал Игнатий Андреевич. — Чего тут такого?

— Да я понимаю. — Участковый покивал, но так, будто не поверил. — Понимаю... И в то же время обязан проверить. Тем более обстановка в стране не очень простая, разные силы появляются... Слышали, в Москве заговор раскрыли? Нет?... По телевизору постоянно передают: группа лиц планировала Транссиб перекрыть, эков поднять в Ангарске, чтоб беспорядки устроили... Встречались с зарубежными разными хмырями... Арестовали их, допрашивают, сообщников ищут... Блогеры, сепаратисты всякие голову подняли...

— А кто это — сепаратисты? — спросил Игнатий Андреевич с усмешкой, вспомнив слово «сепаратор».

— Кто отделиться хочет. Чтоб, например, Сибирь отдельно была.

Женька Глухих шутливо обрадовался:

— А и неплохо бы...

— Ну-ка! — Уполномоченного как ошпарили. — Не надо таких заявлений. За них теперь и загреметь можно... Так что, — снова оглядел сидевших в комнате немолодых, потрепанных, с морщинистыми напряженными лицами мужиков, — так что, граждане, прошу быть поаккуратней. Договорились?

Они без готовности покивали.

— А вы, — повернулся участковый к Игнатию Андреевичу, — хозяин квартиры, как я понимаю.

— Но.

— Я к вам, если позволите, буду заглядывать. Вы человек одинокий, пожилой. Вдруг что...

Когда он ушел, повозмущались, посмеялись. Вроде, отнеслись к этому визиту, как к недоразумению какому-то, анекдоту. Но с этого дня стали приходить к Игнатию Андреевичу все реже и все меньшим количеством. А через месяцок посиделки и вовсе прекратились.

Нет, не то чтобы мужики испугались милиционера с его предостережениями, но как-то неуютно, недушевно стало. Сломало его вторжение настроение, убило теплоту. И даже грусть воспоминаний стала какой-то ненастоящей, наигранной.

Игнатий Андреевич проводил дни перед телевизором. Смотрел всякую ерунду; попадая на новости, скорее переключал каналы. Но успевал услышать: в Сирии бои, сотни убитых и раненых, бывший полковник Квачков приговорен за подготовку мятежа к тринадцати годам заключения, в Либерии разбился самолет, в Республике Коми взорвался газ в шахте, разбился самолет на Украине, в Европе в каком-то блюде вместо говядины обнаружили конину и это вызвало грандиозный скандал...

Каждая отдельная новость, каждая передача вообще-то располагали к раздумьям, но их было так много, они лились таким непрерывным потоком, что в них попросту захлебываешься, тонешь.

Читать Игнатий Андреевич не любил, не понимал, как можно часами ползать взглядом по строчкам. Всю жизнь он занимался физическим трудом — копал землю, ворочал назём, прибывал доски, ставил столбы, и теперь, ничего не делая два года, чувствует, как дряхлеет, размякает, слабнет.

Уже через несколько месяцев после переезда напугали руки, кисти рук. Задубевшая, почти окаменевшая кожа стала сначала шелушиться, а потом отслаиваться целыми пластами. Желтовато-серые панцири мозолей на ладонях и у основания пальцев отпадали, но отпадали не сразу, а постепенно, с одного края. Игнатий Андреевич пытался отдирать их, но не получалось — было больно. Словно отдираешь недозревшую коросту.

Под этим сходящим панцирем появлялась красная, как после ожога, тоненькая кожа. Щипало, когда мыл посуду, да и просто умывался. Пальцы стали гибкими, чувствительными к любой мелочи. Даже отдельную крупинку сахара могли распознать.

— Хе-хе, скоро на пианине заиграю, — шевеля пальцами, приглядываясь к ним, говорил Игнатий Андреевич; было и тревожно и как-то приятно ощущать их такими, новыми, как бы не совсем своими.

И в конце концов само собой, без усилий снялось обручальное кольцо, которое вросло в кожу-панцирь сорок с лишним лет назад... После смерти жены Игнатий Андреевич подумывал даже распилить его. «Да на хрена! — рассердился на себя за эту мысль. — Не еще же раз жениться!» А теперь испугался: как знак какой-то это кольцо на ладони. То ли действительно возьмет и встретит женщину, приведет в дом, то ли... Покойников-то обычно без золота хоронят, даже коронки зубные снимают.

Положил кольцо в ящик комода, постарался забыть о нем.

Не забывалось — все сильнее давило одиночество, гнули дряхлость, старость... Игнатий Андреевич почти каждый день выходил на улицу, подолгу, медленным шагом, бродил по городу, избегая оживленных мест, автомобильных магистралей. Убеждал себя, что для здоровья бродит, дышит свежим воздухом, но на самом деле что-то искал, ждал чего-то. И часто замечал стариков и старух, так же бродящих поодиночке и явно тоже чего-то ищущих...

Встречал и знакомых, но даже со своими земляками лишь здоровался. Говорить уже было нечего и не о чем. Да и редкие известия, касавшиеся их города, родных мест, не трогали. Вот, например, арестовали главу дирекции по подготовке ложа водохранилища Рашида Рифатова, — воровал, говорят, безбожно, или — наконец компенсировали убытки владелице пылёвского магазина «Северянка» Любе Гришиной. Ну и что? Какой толк? Ничего не изменится. Пылёво и другие деревни это не вернет, водохранилище с плотиной из-за этого

не исчезнут. Придется ему, Игнатию Андреевичу, и сотням таких же стариков и старух доживать в чужих, немилых квартирах, на не своей земле, дышать пусть свежим, но не своим воздухом... Да и у тех, кто моложе, вряд ли будущее светлее. Наоборот — они дольше стариков мучиться будут. Счастливых он пока не встречал.

В середине апреля позвонила дочь. Справилась о здоровье, а потом произнесла серьезным и несмелым голосом:

— Отец...

Игнатий Андреевич решил, что она опять начнет уговаривать переезжать к ней в Ачинск: «Не хочешь в квартире — избушка есть хорошая на примете. Купим...» Заранее вскипел, хотел перебить, но услышал неожиданное и моментом вернувшее силы:

— Отец, ты не против будешь, если Никитка с тобой поживет недели три? Мы тут ремонт хотим сделать, лоджию застеклить, пока деньги подкопились, а потом с Юрой, — это муж дочери, — на море съездить. На Кипре тепло уже будет, и путевки дешевые... Как-то замотались последнее время, и вдвоем побыть... Как, не против?

— Не против, ясно! — Игнатий Андреевич услышал в своем голосе молодецкую нотку. — Вези!

— Спасибо... И Никитке полезно будет... В этом году в первый класс ведь. Хоть впечатлений наберется.

— Ну да, ну да! Когда ждать?

— В следующие выходные тогда. Надо и мне и Юре отпуска оформить. Не оформляли пока, твое мнение хотели узнать.

— Ну уж, разве бы я отказал? — обиделся Игнатий Андреевич.

— Да нет! Но вдруг... здоровье бы не позволило...

Полторы недели, которые ждал внука, тянулись бесконечно долго. За первые два дня Игнатий Андреевич подготовил в комнате уголок для Никитки, собрал кровать, купил детских книжек, раскраски, альбом для рисования, — знал, что внук любит рисовать.

Никитку в последний раз видел прошлым летом — дочь с ним приезжала на короткое время. Тогда ему было пять лет, теперь, значит, шесть. Самый хороший возраст, чтоб что-нибудь рассказывать поучительно-интересное, общие занятия находить. Как говорится: старый да малый... У сына дети взрослые, у них свои интересы совсем, а у дочери один вот Никитка... Скорей бы... Может, рыбачить будут ездить: говорят, клюют на водохранилище окуни хорошо...

Так извелся Игнатий Андреевич ожиданием, что под конец и спать не мог — кружил по квартире, как волк в западне.

Дождался, приехали. Дочь переночевала, прибралась — хотя вроде Игнатий Андреевич и навел порядок, но женщине виднее, — разложила Никиткины вещи в комод и, о чем-то пошептавшись с сыном, в чем-то его убедив, отправилась обратно.

Никитка не то чтобы заметно подрос за этот неполный год, но пополнел, что ли, посерьезнел. Стал похож на мужичка. В основном сидел на кровати, играл в тонкой пластиковой плашке.

— А что эт у тебя такое? — кивнул Игнатий Андреевич на плашку.

— Айфон... Он как телефон... и еще много другого есть. — Никитка отвечал, серьезно глядя в экранчик, двигая по нему пальцем.

— Новое изобретенье?... Может, погулять пойдем?

— А куда?

— Ну, это... Тут площадки есть детские. Качели.

Внук промолчал. Игнатий Андреевич придумал другое:

— Или давай на рыбалку. А? У меня удочки есть, снасти. Наладимся и поедим.

— А долго ехать? — не отрывая глаз от экранчика, спросил Никитка.

— Минут двадцать.

Сказав это, Игнатий Андреевич с минуту ждал реакции внука — или «поехали», или «да ну, далеко». Но он молчал, казалось, не услышав последних слов деда. Да нет, слышал... Игнатия Андреевича кольнула обида, и он собрался сказать Никитке, что нельзя так себя вести. Предложили тебе, отвечай...

Никитка опередил неожиданным вопросом:

— Дедушка, а у тебя огород есть?

— А?... Нет, нету теперь... В деревне был. Помнишь деревню?

Внук оторвал взгляд от экранчика, коротко глянул на Игнатия Андреевича.

— Нет, не помню.

— Ну да, тебе года три было. Куда помнить... Большой огород был, арбузы росли. Ты как-то объелся... — Игнатий Андреевич хотел досказать — «и описался», но не стал. — Малина, смородина... Много было всего.

Снова молчание, и теперь не тягостное. Игнатий Андреевич мысленно ходил по огороду...

— Дедушка, — позвал Никита.

— А?

— Дедушка, а деревни теперь совсем нет?

— Ты, это... ты лучше «деда» говори. — О деревне было тяжело говорить. — Мы своих всегда «деда», «баба» называли.

— «Баба» же плохое слово.

— Почему это?... А, ну это в другом ведь смысле. А бабушку бабой можно называть. Ничего...

Снова в разговоре прореха. Потом новый, еще более тяжелый вопрос:

— Деда, почему мы все так скучно живем? Почему у нас дома такие скучные?

— Как — скучные?

— Не как у народных людей. — Никитка отложил свой айфон и заговорил необычно для себя торопливо и горячо: — Я когда президентом стану, сделаю, что все будут в отдельных домах жить. И чтобы у всех были свои коровки, и свинки, и куры. И женщины будут женскую работу делать, а мужчины — мужчинскую.

— Хм, — с озадаченной улыбкой кивнул Игнатий Андреевич. — Хорошо бы... Правильно мыслишь.

— А сейчас неправильная жизнь. Все перепуталось. Женщины, как мужчины есть, и мужчины, как женщины совсем. И делать нечего, когда не на работе, не в садике. Дома сидим и... и нечего.

— Да, Никит, в деревне некогда было скучать. Как с утра начиналось... — Игнатий Андреевич решил объяснить, почему многие живут в городах: —

Государству города нужны — чтобы много людей вместе жили. Заводы, фабрики... Рабочие должны рядом быть, для них и стали строить большие дома с квартирами такими вот... А там и другие все так жить стали.

— А вот в фильмах иностранных в городах в отдельных домах живут. Там лужайки у них, и огороды есть...

— Ну да, видал. Но не все так... Это какие должны быть пространства, чтоб миллион людей на земле поселить... Но, конечно, так правильной. И у вас ведь в Ачинске тоже много изб с огородами.

— Их сносят, большие дома ставят.

Игнатий Андреевич улыбнулся на это «дома». Поправлять не стал. Покачал головой:

— Ну да, ну да...

— Я маму с папой прошу дом купить, они не хотят.

— Почему?

— Что времени нет на него. И не надо на грядках кланяться, говорят... Папа получает хорошо — можем что надо покупать. Ну, еду разную.

— Так-то так, только ненадежно это все. Зарплаты, город. В любой момент может так получиться, что все снова к земле кинутся... Да уже сейчас целые замки строят вокруг Москвы. Гектарами землю скупают. Готовятся...

— К чему готовятся? — с какой-то взрослой тревогой спросил Никитка.

— Что придется на земле жить. Самим все растить, как ты велишь, когда президентом будешь... Вспашут свои лужайки и картошкой засадят, а те, кто в квартирах — пойдут по миру.

Никитка тяжело вздохнул и снова взялся за айфон.

— Ну чего, едем рыбачить? — спросил Игнатий Андреевич.

Внук буркнул:

— Не хочу.

На памяти Игнатия Андреевича из всех церковных праздников отмечали, помнили один — Пасху. Даже в годы гонений на веру красили яйца, пекли куличи и в воскресенье приветствовали друг друга не обычным «здорово», «здравствуйте», а — «Христос воскресе». И даже партийные отвечали в этот день: «Воистину воскрес!»

Церковь в их селе была закрыта, а потом ее, деревянную, обветшавшую, свалили, построили на ее месте клуб; в избах не осталось красных углов — иконки, если и были, стояли в дальних комнатах на комодах или скрывались в буфетах, за зеркалом. Но в Пасху их доставали, выставляли на виду, зажигали свечи... Постящихся Игнатий Андреевич не встречал, хотя в последнюю неделю перед Пасхой многие ограничивали себя, особенно в яйцах — даже ребятишкам запрещали их есть, а яйца были одним из главных продуктов: мясо далеко не всегда имелось, а яйцо-другое выпил, и сыт...

Под конец восьмидесятых с религией стало посвободней, хотя в их деревне, да и по району это никак не проявлялось — церковей не строили, обрядов не соблюдали. Случалось, крестились, но если выезжали в Красноярск или другие крупные города... В Кутае здание храма вроде бы вернули церкви, но это ускорило его превращение в руины. Был там до этого склад под крышей, с застекленными зарешеченными окнами, а через полгода бесхозности остались голые стены. Потом и стены стали рушиться... Некоторые местные жители, а в

основном приезжие специалисты забили тревогу, правда, ничего это не дало: «Все равно территория уйдет под воду. Какой смысл восстанавливать?» Возникла идея перенести стены с уникальными узорами в Колпинск или Енисейск, и тоже быстро умерла: «Нет средств на столь сложную операцию. Для Сибири, конечно, кладка уникальная, но в европейской части России подобных храмов в избытке». И в итоге стены церкви были затоплены — даже на подрыв их дирекция по подготовке не стала тратить.

В новом райцентре — Колпинске — построили большой Преображенский собор. Прихожан было немного, но почти всегда кто-нибудь молился или пытался молиться. Обращались с просьбами к богу.

Игнатий Андреевич верующим себя не считал. В ранней юности посмеивался над крестившимися на заколоченную черную церковку женщинами. Однажды об этом узнала мать, подбежала к нему со страшным лицом, толкнула в грудь: «Не смей-й! Не смей смеяться! Это нам подфартило, что живы все, отец целым с войны вернулся. А им... Им только и осталось кресты класть на себя!»

С тех пор Игнатий Андреевич таких не то что уважал и понимал, но жалел. Действительно, от хорошей жизни к религии вряд ли кто припадет, а несчастным хоть какая-то надежда, поддержка. Сам же он полагался на свои силы и прожил, считал, неплохую, ровную, крепкую жизнь. Последние годы только — смерть жены, переселение с родины, хоть и добровольное, но тягостное одиночество... С другой стороны, пенсия не нищенская, квартира с большой комнатой, застекленная лоджия. При желании можно под теплицу приспособить или верстак поставить. Правда, смысл-то...

В молодости он любил праздники. Радовался, когда приглашали в гости и сам не оставался в долгу — бывало, полдеревни собиралось, гуляли до утра. Но с годами желание праздновать постепенно пропадало, и даже в Новый год кое-как дожидался боя курантов и шел спать. В чужие дома почти не ходил, гостей не созывал.

Единственным праздником, которого ждал, к которому подготавливался, осталась Пасха.

В Пылёве, да и вообще по краю перед Пасхой было принято делать ремонт — белили, красили, мыли, выбивали половики и коврики, в позднюю Пасху вторые рамы снимали. Прибирались и на могилах родных, подкрашивали памятники, лавочки, оградки, украшали бумажными цветами. Поминать покойников собирались обычно в первую субботу после Пасхи. Несли яйца, конфеты, кусочки уже зачерствевших куличей; некоторые ставили перед памятником стопку водки, тем, кто курил, клали пару сигарет...

Даже после смерти жены Игнатий Андреевич почти каждую весну белил ковыльной кистью избу, хлопал деревянной лопаткой по развешенным на заборе коврикам, покрывалам, приводил в порядок двор, огород, подбивал гвоздями ослабевшее, расшатавшееся за зиму. Чистил могилки на кладбище. Сам красил яйца в луковой шелухе, но кулич теперь покупал в магазине — там продавали испеченные в кутайской пекарне.

Прошлую Пасху, правда, не справил. Не было душевных сил. И яйца не покрасил — шелухи, которая в деревне собиралась сама собой, не оказалось, а искать, спрашивать показалось глупо и унижительно как-то. На кладбище тоже не был. Ходил туда всего один раз — когда хоронили перевезенных из Пылёва. Увидел, где теперь могилки родителей, жены, дядьев, друзей.

Больше не мог — так непохоже было это новое их жилище на то, что принято называть могилками, погостом. Надеялся, что покойные простят его.

Может, и в этом году Игнатий Андреевич не стал бы готовиться к Пасхе, но рядом оказался внук. «Пускай приучается. Хотя что-то засядет в памяти... О жизни, хм, народных людей».

Никитка сперва помогал нехотя, кривясь, иногда одной рукой, — в другой был айфон, — но быстро увлекся.

Конечно, большой ремонт делать не стали, да и не было в этом надобности — квартира еще свежая, обои светлые. Это в избе, тем более в которой углем топят, за зиму стены сереют, печка вообще стоит черная, а здесь, конечно, не так... Помыли плитку, окна, вынесли во двор и выбили дорожки и половики (ковер со стены Игнатий Андреевич снимать не решился — тяжеловато). Никитка колотил висевшие на турнике тряпки азартно, гикал, когда вылетало облако пыли.

Пока выколачивали, к турнику выстроилась небольшая очередь; Игнатий Андреевич порадовался: значит, не умерла традиция...

Помыли полы, постелили пахнущие свежим ветерком половички, длинную полосатую дорожку, ведущую из прихожей в комнату.

— Завтра стираться начнем, — сказал Игнатий Андреевич. — Пасху надо в чистом встречать.

Одежды сменной было и у него и у внука немало, белье постельное занимало два ящика в комод, но не хотелось оставлять нестиранное в праздник, да и внука делом занять...

Пододеяльники, простыни закладывали в машинку «Ока», а рубахи, носки терли на стиральной доске. Никитка впервые видел ее, был поражен.

— Вот так народные люди белье до чистоты доводили, — объяснил Игнатий Андреевич, и похвалил себя, что не выкинул доску, специально для нее вбил в стену ванной гвоздь.

— Деда, а можно мне?

— Давай-давай. Я передохну.

И внук стал шоркать носки по волнистому полотну.

— Молодец. Вон грязь какая стекат. Никакой машинке так не суметь.

Купили кисточки, белой, голубой, коричневой краски, искусственных цветочков и в субботу утром, за неделю до Пасхи, отправились на кладбище.

— За могилками, брат, надо ухаживать, — говорил Игнатий Андреевич. — Мы, вишь, их сюда взяли, добились, чтоб рядом были. А так бы затопило их... И уж раз взяли...

— Как — затопило? — перебил Никитка.

— Ну, тут ведь море сделали, на месте деревень наших. Электричество теперь из воды делают...

— Да, это я знаю. Не из воды только, а из ее энергии. Она через турбины идет и вырабатывает ток... И кладбища затопили?

— Почему затопили? Сюда вот перенесли... Брошенные могилки только остались... маленько... Поэтому надо поддерживать, чтоб видно было, кто лежит, чья родова.

Сели в автобус в сторону кладбища. Сразу столкнулись с Валентиной Логиновой, землячкой.

— Вот с внуком едем могилки красить, — не без гордости сказал Игнатий Андреевич.

Озабоченное лицо Валентины прояснилось улыбкой:

— Это младший ваш?

— Ага. Никита. Осенью — в школу.

— Хорошо-о... А я тоже решила навестить... Но так уныло там, так уныло, господи!.. Как хорошо на нашем было. — И Валентина привычно заплакала. Не рыдая — просто слезы потекли из глаз и голос стал мокрым.

Доехали до конечной остановки, расположенной неподалеку от старой части городского кладбища. С недавних пор стали делить — кладбище городское и переселенческое.

Кусты, деревья, между ними памятники, кресты, тумбочки, но много и затянутых травой пустых холмиков. Лежат под ними первые жители Колпинска — те, кто съезжался сюда в семидесятые перекрывать реку камнями, рыть фундамент плотины, строить временки и бараки. Часто были они людьми одинокими, из дальних мест, и некому сохранять о них память. Тумбочка с традиционной тогда звездочкой подгнила и упала, табличка, где имя-фамилия-отчество, изжавела, и все — словно не было человека на свете... Книга в кладбищенской конторе, в которой записано, кто где похоронен, мало что может дать — если и сохранились сведения о покойнике, то уж тот пяточок земли вряд ли определишь...

Но были могилы и ухоженные. С ажурными оградками, лавочками, а то и столами для поминок, окруженные елочками, черемухами, рябиной. Представлялось, что мертвым лежать там хорошо и спокойно, и что жизнь у них была ровная, правильная, ненаспешная.

— А наши скоро? — видимо, начав уставать, спросил Никитка.

Проселочная дорога вдоль кладбища ощутимо вела под гору. Но идти действительно утомительно. Пасха в этом году поздняя — пятого мая, — и сейчас, в последние дни апреля, солнце припекало, от каждого шага с земли поднималась удушливая пыль. Деревца кончились, потянулись унылые сероватые кресты и памятники недавних захоронений.

— Вот и Наталья Сергеевна наша, — сказала шедшая впереди Валентина Логинова.

Остановились, постояли. Игнатий Андреевич вспомнил, как копали ей могилу на деревенском кладбище лет пять назад; старики — Игнатий Андреевич тогда себя к старикам не причислял, копал с мужиками, — сколотили гроб, старухи обтянули его красной материей, женщины готовили для поминального застолья... Но похоронили Наталью Сергеевну здесь (дочь забрала), да и правильно — не пришлось выкапывать, перевозить сюда, как других. Страшная процедура...

Валентина отозвалась на эти мысли:

— Хотя на хорошем месте лежит. Сухо, не так, как у наших...

Да, перенесенных из деревень похоронили в низине, где был чахлый осиновый лесок. Осины выдрали бульдозером — вон они гниют вдали кучей — вырыли траншеи и поклали кости покойников из их Пылёва, из Кутая, Косого Быка, Большакова и других, уже сожженных и ушедших под воду сел и деревень.

Ровные ряды однообразных крестов. Игнатию Андреевичу напомнили они,

эти ряды, фотокарточки захоронений погибших в России немцев во время войны. Такой же бездушный порядок...

На деревенских погостах порядок был другой: хоронили родню рядом, кружком, и получались такие островки могил, напоминающие фундаменты каких-то невидимых изб. Вот здесь род Привалихиных, здесь — Заборцевых, Рукосуевых, Брюхановых, Сизыхов... А вот Эккеры, Гамбурги — у старших еще свои кресты, нерусские, потом — обычные советские памятники, а у недавних кресты уже наши...

Теперь же все под одно. Лишь изредка увидишь отличительное пятнышко — значит, родня настоящая, чтоб забрали памятник с деревенского, родного, погоста, или сами привезли.

— Деда, а там речка, да? — потянул за рукав Никитка.

— А? Где? — И Игнатий Андреевич сразу увидел беловатую полосу льда вдали справа. — А, ну да... Не речка то есть, а это... водохранилище. Подступило.

— А вон там тоже вода...

— Вода! — ахнула и Валентина Логинова.

Меж холмиков, как какие-то щупальца, ползла вода. Медленно, тяжело, тратя силы и время на то, чтобы промочить, напитать сухую почву. Концы этих щупальцев словно проваливались в землю, делая ее, серовато-коричневую, почти черной, но через несколько секунд новый толчок огромного организма двигал щупальце дальше. И новая полоска земли чернела, вода исчезала, а следом уже шел новый толчок.

Этих щупальцев становилось все больше, они двигались по дорожкам, охватывали кладбище... Меж крестов бежали к дороге люди.

— Го-осподи-и! — взывала Валентина. — Господи, да что ж это...

Игнатий Андреевич глянул на свои руки, будто ожидая увидеть в них лопату, но в руках была лишь сумка с краской, кисточками, водой... Да и что тут сделаешь лопатой... Главное, внука не потерять в этой сутолоке.

Никитка стоял рядом, завороченно смотрел на щупальца.

— Але! Але! — кричала Валентина. — Вода идет на кладбище! Прорвало что, я не знаю... Сообщите там, поднимайте всех! Вода идет...

К Игнатию Андреевичу подскочил смутно знакомый мужик в бушлате.

— Уводи пацана! На реке затор, видать... Так может хлынуть!.. — Но сам не побежал дальше, оглянувшись, достал сигареты. — Вот судьба же, а! И здесь не уберегли... Довелось им хлебнуть. Эх-х...

Сделал несколько быстрых затяжек, бросил сигарету.

— Уходить надо. Бежать!

Мужик затопал вверх по дороге. Игнатий Андреевич с Никиткой — за ним... Сзади голосила и металась Валентина Логинова.

Вера Зубарева

Взлётное поле

* * *

Где загорали вы? В Италии,
На склоне года, в ноябре,
В предместье Рима — в той дыре,
Что и названья не слыхали вы,
Что и на карте не сыскали бы —
В такой невиданной мечтании
Я загорала в ноябре.
Сияли глянцами магнолии.
Всё было так, как говорю.
И тосковала я не более,
Чем принято в сием краю.
И восхищалась я: в Италии
На этом самом берегу
Я ль очутилась, я ли, я ли, я!..
И плыл обёрнутый в фольгу
Кусочек жизни в поднебесье
Туда, где нет уже тепла,
Где я была,
Где быть могла...
К далёкой, дорогой...
К Одессе...

Зубарева Вера Кимовна — поэт, прозаик, литературовед. Окончила докторантуру Пенсильванского университета, где преподаёт искусство принятия решений в литературе, кино и шахматах. Первая книга стихов «Аура» (с предисловием Б. Ахмадулиной) вышла в 1991 в Филадельфии. Автор 16 книг поэзии, прозы и литературной критики на русском и английском языках. Главный редактор журнала «Гостиная». Президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА). Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной (2012) и др.

* * *

Сесть в самолёт
И лететь, и лететь
В город,
Где солнечных зайчиков медь
Сыплется прямо
Из неба-кармана,
Падает в море
И ловится в сеть.
Шурятся чайки
В блёстках волны.
Живо хозяйки
Жарят блины
С красной икрой,
С чёрной икрой,
Разных покроев
И толщины.
Плещется рыба
На мраморных льдах,
Всем исполняет
Желанья за так.
И рад покупатель,
Гурман, обыватель,
Делец и мечтатель,
Поэт и рыбак.

Город-веселье,
Город-Гвидон,
Как карусели
Крутится он
В празднике детства,
В слове «Одесса»,
Вдоль волнореза
В шёпоте волн.
Сесть в самолёт
И лететь, и лететь,
Туда, где с морскою
Небесная твердь
Пенится с воблой
И клешнями раков
Под стук домино
И прелюдию Баха.
— Сесть в самолёт... —
Я пишу-бормочу.
Месяц в окне зажигает свечу.
Взлётное поле
Листа наготове.
В путь!
И лечу, и лечу, и лечу...

Ялта

Рыбы режутся о каменистое дно, в царапинах море.
Зонтик с книгой в обнимку дремлют на скамейке влажной.
Ялта в дымке историй выходит на берег Истории.
Дама с собачкой неспешно гуляет по набережной.
Впереди у неё душная комната, крах седьмой заповеди.
Покаянье, зевок любовника: — Да о чём ты?
После — море, как вечный сон, в Ореанде,
А напротив — церковь в сумерках, белая в чёрном.
Он вернётся в Москву.
Будут улиц метаморфозы,
Колокольный звон, осетрина с душком, смятенье,
Город С. и серое платье, и слёзы,
И гостиничный номер с окошком, в котором темень.
А потом метель, февраль, словно мир распятый,
А потом июль, подвал, разложение веры,
Нарушение заповеди — шестой и пятой,
А потом четвёртой, третьей...
Наконец — первой.
А страницы бегут, бегут. Всё опаснее угол крена.
Пароход судьбы опять возвращается в Ялту.
— Пусть простит меня Бог! — восклицает Анна Сергевна.
И идёт на набережную к Пилату.

* * *

Лунный свет бродил по берегу,
Гребни тёплых волн очерчивал.
По утёсу крутоверхому
Рисовал прибой подсвеченный.
Спали дети в дальних странствиях,
Покрывалось небо звёздами,
И в его безбрежном царствии
Только боги были взрослыми.
То и снится, что аукнется
В памяти, где мы — вчерашние,
Где уводит к морю улица
Чуть запавшей чёрной клавишей.
Там сидим на побережье мы,
Временем не опечалены,
И следы детей по-прежнему
Скачут буквами печатными.

* * *

Водорослей спутанные вести
Выталкивает прибой,
В раковинах призраки древности
Аукают наперебой.
Чайки расклёвывают конические свитки
Под бренчанье мух.
Вечер на фиолетовой скрипке
Мечтает вслух.
Дом с двумя окнами на переносице
Глядит в облака.
И мошкаркою по ветру носится
Память песка.

Письмо

Милый Антон Павлович! Помните Ялту?
Она, как тогда. Не волнуйтесь, не переехала.
Я проверяла, читала, сличала карту.
Всё хорошо и спокойно в домике Чехова.
Ялта мне снится. Как ангел всего полуострова,
«Белая дача» его от падений хранила.
Я разделяю о ней слова Паустовского:
Место «в России (...) огромной лирической силы».
Впрочем, кто я? Ванька Жуков в семье сапожников.
Стукнут, чуть что, молотком за моё недомыслие.
Так что письмо — между нами, пускай, если можно.
Главное — это свобода обмена письмами.
Главное — чтоб адресат на земле своей значился.
Главное — чтоб не сносили его как помеху.
Главное — чтоб почтальон доносил по адресу
Ныне и присно: «Крым. На деревню Чехову».

Андрей Столяров

Дайте миру шанс

Повесть по мотивам реальности

Шквал сенсационных новостей обрушивается на Западную Германию. Одна за другой гремят по стране вооруженные акции, проводимые группой людей, которые называют себя «Фракция Красной Армии». Ошеломляющее впечатление на немцев производит операция в конце сентября, когда в течение всего десяти минут были ограблены сразу три крупных берлинских банка. Позже выяснилось, что предполагалось совершить налет и на четвертый, но его отменили, так как в этот день в здании банка начался капитальный ремонт. Общая сумма экспроприированного — более 200 тысяч дойчмарок. Через некоторое время происходит налет на два банка в Касселе. Там террористам удается взять 115 тысяч дойчмарок. В банке Кайзерлаутерна они берут еще 285 тысяч, и примерно такую же сумму приносят им налет на банк в Людвигсхавене.

Становится ясным, что это не разрозненные эксцессы, это стратегическая борьба, имеющая целью смену власти в стране. В Германии образовался «внутренний фронт», началось что-то вроде гражданской войны, масштабы которой стремительно расширяются. Также становится ясным, что террористы прекрасно вооружены, у них военная дисциплина, они прошли соответствующую подготовку. Поражает тщательное планирование операций: боевики в масках и с автоматами выныривают ниоткуда и после акции, будто демоны ночи, проваливаются в никуда. Полиции не удается обнаружить никаких концов. Тем более, что при попытке задержания боевики тут же начинают стрелять, и делают они это явно лучше, чем сотрудники той же полиции.

Однако вовсе не банки являются их главной мишенью. Зимой 1971 года появляется в нелегальной печати программный документ РАФ, озаглавленный «Концепция городской герильи» (Das Konzept Stadtguerilla) и написанный, судя по всему, Ульрикой Майнхоф. Здесь точка зрения «Красной Армии» четко определена. «Городская герилья выступает логическим отрицанием парламентской демократии, давно уже подорванной ее собственными представителями. Это единственный и неизбежный ответ и на чрезвычайные законы, принятые правительством ФРГ, и на правило "ручной гранаты", используемое полицией; это готовность сражаться с Системой теми же методами, которые выбирает Система для уничтожения своих оппонентов... Городская герилья начинается с

признания того факта, что время революционной борьбы пришло. В стране, чей аппарат насилия так велик, а революционные силы так слабы, каковой является ФРГ, без открытой революционной инициативы не будет даже нацеленности на революцию... Городская герилья означает вооруженную борьбу, безусловно необходимую в данный момент, так как полиция без ограничений пользуется огнестрельным оружием — убивает нас, заживо хоронит наших товарищей в тюрьмах. Быть "городским партизаном" означает не позволять насилию со стороны Системы деморализовать себя... Цель городской герильи — атаковать государственный аппарат в ключевых местах, вывести его из строя, разрушить миф о вездесущности, всевластии и неуязвимости буржуазного государства»...

И более простыми словами: «Нам нужен мир без частной собственности и диктата банкиров, без садизма полиции, парламентского балагана и клинического идиотизма прессы, без семей, калечащих наше сознание, без тюрем и армейских шеренг».

Манифест РАФ становится одной из самых популярных публикаций в стране. Его перепечатывает множество немецких газет, его цитируют, на него ссылаются, его обсуждают в бурных дискуссиях левые и правые интеллектуалы. Этому способствует и яркая эмблема организации: на фоне пятиконечной красной звезды — черный, как зловещая смерть, автомат Калашникова (через некоторое время его заменит пистолет-пулемет марки «кох») и крупными буквами — RAF (Rote Armee Fraktion).

Декларации Манифеста немедленно подтверждаются действиями. Вот хроника только так называемого майского наступления РАФ. 11 мая взорваны бомбы во Франкфурте около входа в штаб 5-го корпуса армии США: здание разрушено, погиб лейтенант, воевавший, кстати говоря, во Вьетнаме, ранено тринадцать американских солдат, ущерб оценивается в миллион западногерманских марок. 12 мая взорвано здание полицей-президиума в Аугсбурге: пострадали пять полицейских, выгорело несколько этажей. Через час гремит взрыв на государственной автостоянке для автомобилей чиновников: уничтожено и серьезно повреждено более шестидесяти машин. 15 мая в Карлсруэ взорван автомобиль судьи Будденберга, который подписывал большинство ордеров на арест членов РАФ. В тот же день в Гамбурге несколько бомб взрываются в офисе концерна «Шпрингера», в результате чего пострадали около двадцати человек. 24 мая мощный взрыв раздается в Главном штабе армии США в Европе: погибают трое американских военнослужащих, двое офицеров и рядовой. Через прессу РАФ сообщает, что эти взрывы — ответ на американскую агрессию во Вьетнаме... А ведь была еще попытка взорвать поезд канцлера ФРГ в Гейдельберге, разрабатывались планы вооруженного нападения на ряд крупных военных баз.

За вторую половину 1970 года боевики РАФ осуществили около восьмидесяти поджогов и взрывов — административных, военных и общественных учреждений. Ударам подверглись объекты в Берлине и Франкфурте, в Дюссельдорфе и Мюнхене, в Эссене, в Глодбахе, в Кельне. Характерными чертами атмосферы Германии становятся копоть и гарь. Характерными приметами звукового фона — стрельба и вой тревожных сирен. А к концу 1971 года РАФ осуществила уже более пятисот акций, экспроприировав при этом два миллиона марок.

Это великолепное представление, полное драматизма, неожиданных поворотов, эффектных сцен. С напряженным вниманием следит вся Германия, как

крохотная когорта революционных бойцов сражается с могущественным государством. «Шестеро против шестидесяти миллионов», скажет о них лауреат Нобелевской премии Генрих Белль. Это уже не студенческие демонстрации, которые можно разогнать дубинками и слезоточивым газом. И не «шизофреники» Бомми Баумана, которых можно просто арестовать. С первого же момента боевики «Красной Армии» дают понять, что они будут сражаться не на жизнь, а на смерть. Они объявили буржуазному государству войну, и, как на всякой войне, они не дают пощады врагу, но и сами ее от врага не ждут.

Уже в декабре 1970 года, когда полиция останавливает машину, где находятся два члена РАФ, один из них, Али Янсен, выхватывает пистолет и начинает стрелять. Правда, Янсена все равно задерживают, а за попытку убийства приговаривают к десяти годам тюрьмы. Тем не менее, начало положено. Важная психологическая граница пересечена. Через пару месяцев, когда полиция пытается арестовать двух других членов РАФ, пистолет выхватывает уже Манфред Грасхоф. В это раз ему и Астрид Пролл, той самой младшей сестре Торвальда Пролла, которая пришла в «Красную Армию» вместо него, удается благополучно уйти. Однако в начале лета изумленные немцы наблюдают сцену, будто сошедшую с экрана американского боевика: погоня по улицам на машинах, завывание сирен, мигалки, стрельба — это полиция пытается задержать Ральфа Райндерса и Альфреда Марландера. При этом один полицейский ранен, и новость об этом проходит по страницам всех немецких газет. А в июле, во время проведения очередной из облав, «БМВ», в котором находятся Вернер Хоппе и Петра Шельм, неожиданно набрав скорость, прорывает полицейский блокпост на окраине Гамбурга. Описание дальнейших событий сильно разнится, но, вероятно, Петра Шельм, выскочив из машины, начинает стрелять и сама убита ответным огнем. Это первая настоящая жертва беспощадной войны. Петре Шельм было всего девятнадцать лет. После этого никакое снисхождение уже невозможно. Осенью двое полицейских серьезно ранены, когда пытаются проверить автомобиль, припаркованный как-то не так. Позже выяснится, что стреляли Маргрит Шеллер и Хольгер Майнц. Вскоре происходит перестрелка в Гамбурге, где один из полицейских, пытавшихся задержать ту же Маргрит Шеллер, убит. А вслед за этим убит Георг фон Раух, член РАФ, который при аресте попытался выхватить пистолет. Далее при попытке задержания стреляет в полицейских Андреас Баадер, еще один полицейский убит при налете «красноармейцев» на банк, убит Томми Вайсбекер, тоже, как и фон Раух, попытавшийся при аресте выхватить пистолет, а Манфред Грасхоф, которого так настигают в подпольной типографии РАФ, где изготавливаются фальшивые документы, пистолет выхватить успевает и убивает офицера полиции.

Война идет не только в физическом, но и в информационном пространстве. Правая пресса немедленно создает крайне негативный ярлык «Банда Баадера и Майнхоф». Никакой «Красной Армии», никакого «сопротивления», никаких «революционных бойцов», это обыкновенные уголовники, наркоманы, распоясавшиеся от безнаказанности хулиганье, их деятельность — «запугивание мирного населения», «провокации», «безжалостные убийства и грабежи». С фотографиями, печатающимися в этих газетах, делают то же, что и с фотографиями Руди Дучке: Баадер с челкой под Гитлера выглядит именно как отпетый бандит, а портрет Ульрики Майнхоф отретуширован так, что в глаза бросается прежде всего зверообразная тупая упертость.

«Фракция Красной Армии» стреляет из своих пропагандистских орудий. После взрыва американской базы во Франкфурте «Петра Шельм Коммандо» (военное подразделение РАФ) выпускает Коммюнике № 1: «Западный Берлин и Западная Германия больше не будут безопасным тылом для организаторов войны во Вьетнаме. Они должны знать, что преступления, совершенные ими, превратили их во врагов — нигде в мире они не укроются от возмездия революционных партизанских отрядов... Мы требуем немедленного прекращения минной блокады Северного Вьетнама! Мы требуем полного вывода американских войск из Индокитая! Победу Вьет-Конгу!» О том же говорит и Коммюнике № 5: «За последние семь недель ВВС США сбросили на Вьетнам больше бомб, чем на Германию и Японию, вместе взятые, за всю Вторую мировую войну. Пентагон пытается остановить наступление Северного Вьетнама с помощью миллиона бомб. Это геноцид, убийство целого народа, уничтожение, новый Освенцим!» А после взрывов в офисе Шпрингера, где пострадало больше десятка служащих (здание не было эвакуировано, хотя РАФ предупредила об акции специальным телефонным звонком), выходит яростное Коммюнике № 4: «Шпрингер скорее рискнет жизнью своих работников, чем несколькими часами рабочего времени, ведь это принесет ему прибыль. Для капиталиста прибыль — это все, а люди, которые ее приносят, — дерьмо. Нам искренне жаль, что пострадало столько людей. Мы старались этого избежать».

И эту войну, принципиальную войну за умы, РАФ, по крайней мере на первом этапе, несомненно выигрывает. Вокруг них сразу же возникает легенда. Как бы ни старались официозные СМИ представить их исключительно «уголовниками», «бандитами, сорвавшимися с цепи», «грабителями», «убийцами невинных людей», «сумасшедшими анархистами», «клоунами», «девочками-монашками и мальчиками с замашками кинозвезд», но факты, которые немедленно раскапывают журналисты, свидетельствуют об обратном. Ошеломляющее впечатление производит на немецкое общество то, что Ульрика Майнхоф мало того, что известная журналистка, главный редактор популярного журнала «Конкрет», все бросила, оставила даже детей, ушла в террор, но она еще, оказывается, и потомок великого поэта-романтика Гельдерлина, Ян-Карл Распе — потомок знаменитого писателя Распе, автора книги о приключениях барона Мюнхгаузена, Гудрун Энслин — прямой потомок самого Гегеля; Хорст Малер, собственно, он и придумал РАФ, — родственник великого композитора Густава Малера. И даже Андреас Баадер, вроде бы единственный среди них «хулиган» — потомок Франца Ксавера Баадера, выдающегося немецкого философа-идеалиста. Это уже не социальное дно, не ущербные маргиналы, это нечто совершенно противоположное.

Вот чего не могут объяснить официозные СМИ: почему молодые люди, в большинстве своем высокообразованные, в большинстве своем из достаточно благополучных социальных слоев, отринули эту жизнь и начали рискованную борьбу. Значит, что-то неблагополучно в «королевстве датском». Муж Гудрун Энслин неслучайно заявит судье: «Плоха вся ваша система».

К тому же революция всегда имеет преимущество перед традиционной реальностью. Любая революция, какой бы ад она впоследствии ни принесла, всегда провозглашает исключительно высокие цели: свободу, справедливость, братство, равенство всех людей. Она возвещает, что идет новый мир, что

наступает эпоха, где больше не будет места уродливым явлениям прошлого. Она призывает к тому, чего человечество стремится достичь уже тысячи лет. А что может предложить молодежи капитализм? Машину престижной марки? Дом в пригороде? Счет в банке, который требуется ревностно пополнять? Тратить на это драгоценную жизнь, которая дается человеку всего один раз? «За уверенность, что не умрешь с голоду, платить риском умереть со скуки»? — так писали восставшие французские студенты на стенах парижских домов. А потом этот жалкий мирок, который ты так тщательно вокруг себя создавал, из-за алчности и лицемерия продажных буржуазных политиков снова провалится в очередную мировую войну?

Вот в чем заключается преимущество революции. Она дает молодежи романтику, которую не в состоянии предложить старый капиталистический мир — романтику восстания против вопиющей несправедливости, романтику Робин Гуда, романтику Вильгельма Телля, романтику Че Гевары, романтику победоносных красных знамен.

Члены РАФ первоначально и ведут себя как романтики. Во время налетов на банки — так «Красная Армия» добывает средства, необходимые для борьбы, — они читают банковским служащим краткие лекции о марксизме, угощают их крекерами и шоколадом, которые специально захватывают с собой. Они оставляют листовки: «Конфисковано у врагов народа». Они пишут, что берут по праву лишь то, что принадлежит не капиталистам, а всем. Всю прессу Германии облетает история, как во время одной из экспроприаторских акций РАФ Андреас Баадер, заметив старушку, испуганно воскликнувшую в дверях: «Что здесь происходит?», вежливо, под локоть, проводит, усаживает ее и объясняет, что ничего особенного: «Мы грабим банк». Это напоминает эпизод из известного фильма «Бонни и Клайд», где герои на вопрос обывателя, чем они занимаются, тоже вежливо отвечают: «Мы грабим банки. Разве в этом есть что-нибудь плохое?», и зачуханный американец тут же соглашается, что ничего плохого в этом, разумеется, нет, потому что несмотря на весь свой стихийный либерализм, несмотря на благоговейное уважение к собственности, привитое ему американской культурой, даже несмотря на свою тайно лелеемую мечту самому стать банкиром, в душе он ненавидит проклятые банки так, как ненавидит дьявола протестант, чувствующий мерзостный запах серы во всем, что мешает ему праведно жить.

Бонни и Клайд — это тоже легенда. Тоже — отчаяние, тоже — кошмарный кризис, взрывливший всю прежнюю жизнь. Только это, конечно, не социальная революция, а криминальная, воплощающая романтику по-американски: разбогатеть немедленно и любой ценой.

Можно сказать и проще. Эпоха потребовала героев, и герои пришли. Буквально за несколько месяцев бойцы «Красной Армии» становятся культовыми фигурами для молодежи. Ими восхищаются, им завидуют, им пытаются подражать. РАФ формирует топ немецких новостных лент. Известность их выходит далеко за пределы Германии. «БМВ», излюбленную машину РАФ (эту марку они угоняют чаще всего), теперь расшифровывают как «Баадер — Майнхоф — Ваген», кожаные куртки, темные очки (униформа РАФ) приобретают необычайную популярность. Рок-музыканты предоставляют им свои квартиры. «Шикарные левые» организуют сбор в их пользу денежных средств. Король немецкого поп-арта Герхард Рихтер вывешивает в галерее огромные

цветные портреты Баадера и Майнхоф, скопированные с плакатов «они разыскиваются». А когда в солидном западногерманском еженедельнике «Шпигель» появляется специальный раздел «Б — М», никому ничего не требуется объяснять: здесь будут печататься материалы о «Красной Армии». Один из будущих историков скажет: «Радикальный блеск РАФ-террора подтолкнул многих вполне благополучных молодых людей вступить в организацию и стать на тот же рискованный путь». А судья, ведший процессы РАФ, с раздражением пояснит: «Вот они (молодежь) приходят на суд, видят своих кумиров, с восторгом внимают им, а потом через год, через два сами оказываются в тюрьме, потому что пытаются им подражать».

Это действительно так. Подвиг гипнотизирует молодежь своим прорывом за пределы реальности. У каждого поколения возникает своя метафизическая мечта. У американцев — это миллион долларов. У русских — светлое будущее, коммунизм. У немцев, по крайней мере в 1970-х годах, — освобождение от проклятья фашизма. «Красная Армия» задела самую больную струну: коричневый дурман прошлого должен быть развеян полностью и окончательно. Поражают данные социологических опросов того времени. Выясняется, что почти четверть граждан Германии в возрасте до тридцати лет в той или иной степени симпатизируют РАФ, это более семи миллионов людей, а каждый десятый готов им помочь — например, дать денег или приютить террористов на ночь.

Причем слова здесь не расходятся с делом. Во время попытки ареста Манфреда Грасхофа его спасает совершенно незнакомый ему человек: вывозит на своей машине из опасной зоны и даже, поскольку у Грасхофа денег нет, покупает ему билет на пригородную электричку. Еще одного члена РАФ, Бомми Баумана, также выводят из полицейского оцепления две совершенно незнакомые девушки. Ему достаточно было подойти к ним и назвать себя.

Множество людей сочувственно относятся к «Красной Армии». Печатники изготавливают для них фальшивые документы, техники делают механизмы для зажигательных бомб, механики перелицовывают угнанные машины: прячут их в гаражах, перекрашивают, вешают фальшивые номера. В последнем случае вообще складывается целая индустрия. Обычно следят за каким-нибудь многоквартирным домом, пока не подъезжает к нему подходящий автомобиль, далее звонят хозяину машины, представляются работниками социологических или муниципальных служб, беседуют и получают всю необходимую информацию. Затем угоняют аналогичную марку, делают для нее такой же техпаспорт и регистрационные номера. Таким образом создается точная копия автомобиля: в случае проверки он у полиции никаких сомнений не вызывает.

В общем, как на спортсмена, ставшего чемпионом, работает специализированный коллектив — невидимая команда тренеров, психологов, менеджеров и врачей — так на компактное ядро рафовских боевиков, зачастую бесплатно и добровольно, работают сотни людей.

Это то, что позволяет «Красной Армии» ставить один «рекорд» за другим.

Результаты не замедляют сказаться. Весной 1972 года в общественном сознании Федеративной Германии начинает складываться ощущение, что РАФ побеждает. Доказательством здесь служат не только непрерывные акции «Красной Армии», грохочущие одна за другой, но и то, что за короткое время в стране возникает множество самых разных подпольных террористических групп, раздувающих пламя революционной борьбы. Возникают «Тупамарос Западного

Берлина», названные так в честь уругвайской организации, начавшей применять — и весьма успешно — тактику городской гериллы еще в 1960-х годах, возникает грозное «Движение 2 июня», увековечившее в своем имени дату гибели Бенно Онезорга, возникает «Южный фронт действий», образованный «мюнхенскими коммунарами», возникает довольно странная организация «Социалистический коллектив пациентов», его создают психологи, считающие, что болеет общество, а не человек, возникают «Революционные ячейки» («Revolutionäre Zellen») и их женское крыло «Rote Zora», провозгласившие своей целью «создание нелегального аппарата, делающего возможным новые формы борьбы». Кажется, что надвигается неудержимый девятый вал, вздымается шторм, готовый смести собой все. Полиция пребывает в растерянности: она не представляет, как этот хаос остановить. В растерянности пребывает и правительство ФРГ: все его громкие обещания «немедленно восстановить порядок», «вернуть обществу спокойствие и закон» оказываются сотрясением воздуха. Чуть ли не каждый день ошарашивают Германию известия об очередной акции террористов. Чуть ли не каждый день возникает новая трещина в монолитном, казалось бы, фундаменте власти. Еще немного — и рухнет все здание. А безнадежность ситуации, по мнению многих, усугубляется тем, что в таком положении оказывается не только Западная Германия. В соседней Франции возникает «Революционная коммунистическая лига», призывающая к борьбе, в соседней Италии выходят на сцену «Красные Бригады», которые тут же развертывают жестокий антиправительственный террор, скоро начнут действия «Революционные ячейки» в Бельгии и даже на далеком и вроде бы благополучном Острове хризантем организуется «Японская Красная Армия» (Нихон сэкигун), выпустившая соответствующий манифест. Да что там Япония! В такой твердыне западной демократии, как США, подпольные группы сопротивления возникают одна за другой: «Черные пантеры», провозгласившие, что «войну можно остановить только войной, и чтобы отложить оружие, нужно сначала взять его в руки»; «Республика Новая Африка», имеющая целью создать независимое государство с преобладающим афроамериканским населением на территории южных штатов Америки; «Везермены» («Синоптики»), ставящие своей задачей уничтожение буржуазного истеблишмента и осуществившие около тридцати взрывов в студенческих городках; «РМД-1», выдвинувшее лозунг «Принести войну домой», то есть распространить гериллу на территорию Соединенных Штатов; чуть позже — «Симбионистская армия освобождения» (те, что захватили в заложники и заставили сотрудничать с ними внуку миллиардера Патрисия Херста).

Представляется, что в огненный катаклизм попал весь Запад. Колеблется почва, раскалывается материковый гранит. Пророчеством звучит фраза, которой заканчивался Манифест РАФ: «Зацвели сотни цветов! Это начали действовать сотни вооруженных революционных групп!» Миг торжества близок, до крушения отвратительного капиталистического мироустройства остаются считанные часы.

Через двадцать пять лет после гибели первого поколения РАФ на экраны уже объединенной Германии выйдет фильм «Красный террор» («Baader»), повествующий об этих событиях. Фильм, надо сказать, весьма примитивный, в частности, Андреас Баадер изображен там как самодовольный и туповатый

бандит, изрекающий время от времени карикатурно-революционные фразы. Он и внешне, по сытой своей, тяжелой, малоподвижной физиономии очень похож на российских «быков» образца бандитских 1990-х годов.

В фильме есть удивительный эпизод. Высокопоставленный чиновник криминальной полиции ФРГ, глава федерального Центра по борьбе с терроризмом — это единственный в правительственных кругах человек, кто с пониманием, а, может быть, и с определенным сочувствием относится к целям РАФ, а потому втайне от начальства и подчиненных он встречается с Андреасом Баадером и предлагает ему прекратить бессмысленную борьбу. Мотивировка проста: плоха та идея, ради которой приходится убивать. В ответ Баадер тоже изрекает что-то банальное: дескать, его дело правое, победа будет за ним. Пусть лучше он сам погибнет, но его смерть вдохновит миллионы людей.

Эпизод, разумеется, совершенно неправдоподобный. Эта психологическая «находка» целиком лежит на совести режиссера. И вместе с тем она отражает реальный факт: в сентябре 1970 года некий Хорст Герольд, до того скромный чиновник немецкой криминальной полиции, неожиданно становится Верховным комиссаром БКА¹ и тут же, преодолевая все бюрократические препоны, начинает превращать эту службу в аналог американского ФБР².

Данный карьерный взлет Хорста Герольда можно объяснить лишь тем отчаянным положением, в котором пребывает правящая верхушка Германии. Настроения, царящие там, близки к панике. На правительство давят промышленники и банкиры, высокопоставленные чиновники администрации, полиции и суда, политические деятели даже из числа близких союзников, члены парламента, представители различных общественных групп — весь тот тесный, но чрезвычайно влиятельный круг людей, от которых зависит само существование власти. Снижается международный авторитет Германии. Собственно, какой может быть у страны международный авторитет, если в ней непрерывно гремят взрывы, происходят убийства, поджоги и грабежи, а правительство не способно противопоставить этому ничего, кроме судорожных движений и громких слов. Разумеется, никакого авторитета. Тот, кто не в состоянии навести порядок у себя в доме, не может претендовать на серьезную роль и при наведении порядка в международных делах. Все требуют мер. Все требуют решительных и эффективных шагов. Однако никто не может сказать, что именно следует сделать. Никто не может предложить хоть сколько-нибудь приемлемый план. И вдруг в обстановке хаоса и смятения появляется человек, который заявляет, что знает, как покончить с террором. В обычных условиях Хорсту Герольду потребовалось бы, вероятно, служить еще много лет, медленно одолевая ступеньки карьерной лестницы, чтобы занять этот пост, но тут разбушевавшиеся волны событий мгновенно выбрасывают его на самый верх.

Роль отдельного человека в истории то переоценивается, то недооценивается. Карлейль полагал, что историю творит одинокий герой. Марксизм, по крайней мере в его классической версии, напротив, считал, что историю создает

¹ БКА (Bundeskriminalamt) — Федеральное управление по криминальным расследованиям ФРГ.

² ФБР (Федеральное бюро расследований) — американское ведомство при министерстве юстиции США, подчиняется Генеральному прокурору, входит в состав Разведывательного сообщества США, имеет полномочия расследовать нарушения федерального законодательства и обеспечивать безопасность государства, нации и президента страны.

народ (хотя заметим, что практика советской власти опиралась почти исключительно на вождизм). Частично правы, по-видимому, и те, и другие. А если сформулировать эту проблему в самых простых словах, то можно сказать, что историю, пусть даже микроскопическую — в локальных временных областях — творит тот, кто, обладая для этого необходимыми данными, оказался на нужном месте в нужный момент. Тогда происходит что-то вроде короткого замыкания: трещат искры, дергается весь механизм, электронный пробой поворачивает громоздкую государственную колесницу на новую колею.

Хорст Герольд оказывается точь-в-точь на своем месте. Одержимости террористов, считает он, следует противопоставить еще большую одержимость, фанатизму революции — еще больший, более отчаянный фанатизм. Хорст Герольд наделен обоими этими качествами в полной мере. Он давно уже осознает, что старые методы, используемые для борьбы с уголовниками, здесь не годятся. Требуются принципиально новые технологии, которые в те годы только-только еще начинают завоевывать мир. Преодолевая опять-таки все вязкие бюрократические препоны, он за короткие сроки создает в Висбадене, где расположена штаб-квартира БКА, мощнейший для того времени компьютерный центр: теперь 70 000 линий связывают в единое целое полицию всех федеративных земель. Одновременно такие же электронные линии он прокладывает в полицейские ведомства Европы и США и через министра внутренних дел Геншера, который поддерживает его, добивается, чтобы между ними происходил непрерывный информационный обмен. Параллельно он начинает накапливать гигантскую базу данных, куда заносятся все детали, все сведения, хоть как-то связанные с немецкими террористами. Он не пренебрегает никакой информацией, сколь бы незначительной она ни была. В базу данных включаются не только лидеры и бойцы различных террористических групп, но — их родственники, друзья, приятели и сочувствующие, их привычки, склонности, особенности поведения. В скором времени эта база включает в себя около пяти миллионов имен, а также сведения более чем о трех тысячах легальных и нелегальных организаций, коллекция отпечатков пальцев насчитывает два миллиона оттисков, фотоальбом — два миллиона качественных фотографий, коллекция почерков — более шести тысяч четко классифицированных образцов. Одна только папка «Контакты/Слежка за заключенными» содержит список из 6 632 людей, когда-либо посещавших или переписывавшихся с террористами, находящимися в заключении.

Конечно, с точки зрения наших дней, это все достаточно элементарные вещи. Аналогичные базы данных существуют сейчас в любой квалифицированной полиции мира. Однако тогда это был принципиальный прорыв: многофакторный анализ, ставший возможным благодаря компьютерной технике, позволяет теперь создавать достоверные профили и событий, и организаций, и миллионов отдельных людей, а мощные алгоритмы, обрабатывающие информацию, сортируют их по уровням общественной опасности/безопасности. Именно Хорст Герольд первым начал вносить в электронные полицейские картотеки данные о банковских переводах граждан, об аренде ими квартир или машин, об их письмах, поездках, об их телефонных звонках — обо всех тех «электронных следах», которые оставляет в своей повседневной жизни любой человек.

Гигантская информационная сеть накрывает Германию. По эффективности слежки она не уступает тотальному просвечиванию инакомыслящих, органи-

зованному в свое время гестапо. Хотя сам Хорст Герольд болезненно обижается, если кто-нибудь, хотя бы в шутку, называет его «Старшим Братом» — он чрезвычайно гордится своей системой и не раз высказывается в том смысле, что с ее помощью можно было бы истребить преступность вообще. Идея, разумеется фантастическая. Преступность, как доказывает уже наше время, растет даже там, где видеокамеры повешены практически на каждом углу. Правда, в те дни это кажется вполне достижимым. Более того, это начинает работать, что позволит Герольду позже гордо сказать, что терроризм в Германии победил именно он. Он вообще испытывает к «Красной Армии» нечто вроде любви и, по воспоминаниям современников, чувствует себя крайне польщенным, когда узнает, что Андреас Баадер внимательно изучает его статьи и заставляет делать это других членов РАФ. Он полагает, что Андреас Баадер — единственный, кто его по-настоящему понимает, а он, Хорст Герольд, — единственный, кто по-настоящему понимает его. Она оба — люди одной идеи. Она оба поставили перед собой фантастически трудную цель. Чтобы не отвлекаться по мелочам, Герольд даже переезжает жить в свой компьютерный центр, а несколько позже, когда он все-таки приобретет собственный дом, оборудует там бетонированный подвал с терминалом, где будет проводить целые дни. До конца жизни, куда бы он ни пошел, его будут сопровождать два автоматчика из БКА, и через несколько лет он станет жаловаться, что единственная разница между террористами, пребывающими в тюрьме, и им, обреченным на добровольную изоляцию, заключается только в том, что ему, в отличие от политических заключенных, никто не сочувствует.

Последствия этих мер сказываются почти сразу же. Уже в декабре 1970 года полиция арестовывает Карла Руланда, который начинает давать показания на известных ему членов РАФ. Не следует думать, однако, что это чистая трусость или предательство. Карл-Хайнц Руланд — механик, и до того занимавшийся полукриминальной перелицовкой машин, к «Красной Армии» он присоединился не столько из политических убеждений, сколько, по-видимому, соблазненный щедрой оплатой своих профессиональных услуг. Кроме того, здесь, вероятно, сыграли роль личные отношения: недавно в группе появился ветеран западноберлинской «Коммуны № 1» Ян-Карл Распе, очень быстро ставший одним из лидеров РАФ, и — сформулируем это так — «вытеснивший Руланда из сердца Ульрики Майнхоф». Руланд знает довольно много, конспирация у «красноармейцев» пока еще не на высоте, и полиция тут же начинает прочесывать явочные квартиры РАФ во Франкфурте, Гамбурге, Бремене и Гелсенкирхене.

Той же ночью в Нюрнберге при попытке угнать машину арестованы Али Янсен и Ули Шольц. Шольц ведет себя сдержанно, и позже его отпускают, а Янсен, как уже говорилось, выхватывает пистолет, стреляет и получает за попытку убийства десять лет тюремного заключения. Зимой 1971 года арестован Ганс-Юрген Бэкер, а в мае в Гамбурге полиция задерживает Астрид Пролл. Ее уже пытались задержать в феврале, но тогда им с Манфредом Грасхофом удалось уйти. Далее арестованы Томми Вайсбекер и Георг фон Раух, а в июле во время блокады полицией всех основных дорог ФРГ задержан Вернер Хоппе и убита в перестрелке недавно пришедшая в РАФ Петра Шельм. Почти сразу же после этого арестован Дитер Кунцельман, который за организацию поджогов, взрывов и покушений получает впоследствии девять лет.

«Красная Армия» начинает терять бойцов одного за другим.

Однако самый страшный провал происходит уже в начале. Еще в октябре 1970 года полиция получает сведения о подозрительной квартире на Кнезебекштрассе 89, Западный Берлин. Полиция вламывается туда и арестовывает Ингрид Шуберт, при которой находят заряженный пистолет. Кроме того в квартире обнаруживают еще один пистолет, «коктейли Молотова» и фальшивые автомобильные номера. Вскоре в квартиру звонит Хорст Малер и, зайдя внутрь, видит направленные на него двенадцать оружейных стволов. При Малере тоже находят заряженный пистолет. Через полчаса там же арестована Моника Берберих, а затем в капкан попадают Ирэн Гергенс и Бригитта Асдонк.

Особенно тяжелой оказывается для РАФ потеря Малера. Хорст Малер — известный в общественных кругах Германии весьма преуспевающий адвокат, его уход с этих позиций в террор производит не меньшее впечатление, чем аналогичный шаг Ульрики Майнхоф. К тому же Малер — прекрасный администратор, именно он организовал поездку двух групп «Красной Армии» в тренировочные палестинские лагеря; организация «тройного ограбления банков», которое вызвало невероятный шум в прессе, также принадлежит ему. И вот после первых блестящих шагов — внезапный идиотский провал. Все последующие операции РАФ, которые принесли им подлинную известность, все последующие драматические перипетии осуществляются уже без него. Он — в тюрьме, он оторван ото всего, про него забывают, он отодвигается на задний план. Для человека честолюбивого, каковым Малер несомненно является, это совершенно непереносимо. Кто знает, как бы сложилась его судьба, а также судьба всей «Красной Армии», если бы не этот дурацкий арест. Тем более, что Хорст Малер — настоящий интеллект. В конце концов саму идею создания РАФ высказывает именно он. И именно он, пожалуй, единственный из всех членов группы, за исключением, может быть, Ульрики Майнхоф, понимает, что политическая стратегия революционной борьбы не менее важна, чем эффектная революционная практика. (Андреас Баадер, например, понять этого так и не смог.) Однако все рушится буквально в один момент: жизнь переламинается и далее представляет собой уже не восходящую линию, а ломаные зигзаги, ведущие в никуда. Малер проводит в тюрьме десять лет, пишет собственный манифест «Новые правила дорожного движения», который категорически отторгается всеми членами РАФ, в 1980 году досрочно освобождается (чему способствовал его адвокат, будущий канцлер Германии Герхард Шредер), еще в тюрьме становится членом маоистской партии ДКРМЛ, затем некоторое время состоит в СвДПП (свободные демократы), а далее внезапно вступает в правоэкстремистскую Национально-демократическую партию Германии, которую многие считают преемницей гитлеровской НСДАП, и начинает откровенно фашистскую и антисемитскую пропаганду, за это его вновь приговаривают к шести годам заключения. Странная жизнь, странная идеологическая судьба пламенного революционера.

Правда, все это еще впереди. А пока «Красная Армия» ощущает боль первых потерь. В ее рядах то и дело падают сраженные вражеской пулей бойцы. Причем, вряд ли это можно считать исключительной заслугой западногерманской полиции или той информационной работы, которую неустанно проводит Хорст Герольд. Сама РАФ в этот период проявляет удивительное легкомыслие. Настоящего опыта подпольной работы еще ни у кого нет. Романтика революционной борьбы заслоняет такие скучные вещи, как конспирация и дисциплина.

Пару раз «Красная Армия» оказывается на грани полного уничтожения. Во время налета на мэрию в городке Ланггенс (там РАФ взяла полторы сотни чистых бланков для документов, государственные печати и станок для изготовления паспортов) полиция останавливает машину Ульрики Майнхоф. Ульрика уже начинает паниковать, но полицейские, не опознав, отпускают ее, несмотря на то, что фотография «"королевы" террора» с надпечаткой «разыскивается» расклеена по всем городам Германии. В другой раз ее и Астрид Пролл едва не задерживают при попытке угнать «мерседес». Однако им тоже удается благополучно уйти. Так же легко ускользает и Андреас Баадер. Сначала он по каким-то случайным причинам не является на квартиру, где полиция организовала засаду, а затем, когда его все-таки останавливают, сразу же начинает стрелять и, пользуясь растерянностью полицейских, скрывается.

Лидерам «Красной Армии» необычайно везет. Они даже подтрунивают над тупостью и неповоротливостью немецкой полицейской машины. Вместе с тем, бесконечно везти не может. В тупом занудстве, в унылом упорстве непрерывно работающих рычагов как раз и заключается сила государственного репрессивного механизма: десять раз он по-глупому промахнется, а на одиннадцатый попадет. И этот одиннадцатый удар будет смертельным.

К тому же полиция тоже многому учится. Министру внутренних дел ФРГ, на которого с фанатичным упрямством давит Хорст Герольд, наконец удается собрать разрозненные полицейские части федеральных земель Германии в единый кулак и подчинить их единому центру. Начинается грандиозная операция «Кора», цель которой — полное и окончательное уничтожение РАФ. Блокированы все главные дороги Германии, закрыты ее границы, вокруг городов воздвигаются временные блокпосты, взлетают полицейские вертолеты, движутся бронетранспортеры, выходят на улицы вооруженные патрули. Идет тотальная проверка документов, машин, квартир, сотни людей доставлены в участки полиции для выяснения личности, аресту подвергается каждый, на кого падает хоть тень подозрения в причастности к акциям РАФ.

Ничего подобного Западная Германия еще не знала. Кажется, что действительно возвращаются коричневые времена гестапо. Однако правительство категорически отвергает все подобные аналогии. Демократия должна себя защищать, заявляет оно. Против бандитствующих анархистов будут приняты самые жесткие меры.

Это, вероятно, переломный момент. Становится ясно, что власть больше не собирается отступать. Она намерена проявить твердость любой ценой. На несколько дней вся Германия, как оглушенная мышь, замирает. А когда немцы вновь приходят в себя, выясняется, что они живут уже в совершенно иной реальности.

Правда, ожидаемых результатов эта грандиозная операция не приносит. По итогам тотальной зачистки, как называли бы данное мероприятие в наши дни, обнаруживается, что подавлено (неизвестно насколько) уличное хулиганство, арестовано (что, кстати, можно было сделать давно) множество мелких и крупных уголовных преступников, камеры переполнены, задержанных просто некуда помещать, но главные цели акции, вопреки колоссальным усилиям, не достигнуты: лидеры «Красной Армии», будто призраки, просочились сквозь все полицейские бредни, тщательно прочесывавшие страну.

Правительство Германии разочаровано. В сердца высокопоставленных западногерманских чиновников вселяется страх. Если уж даже такие чрезвычайные меры не приносят плодов, то может быть, «Красная Армия» в самом деле непобедима? Может быть, в Германии действительно начинается революция — надо спасаться, пока красный шторм, как когда-то в России, не перевернул все вверх дном?

Разочарование проступает буквально во всем: немецкая марка колеблется, на биржах воцаряется тревожная неуверенность, деловые индексы падают, замедляется экономический рост — непонятно, что будет в самые ближайшие дни. Правда, заметим, что это вовсе не результат террористической деятельности РАФ, аналогичные явления отмечаются во всем Западном мире. Тем не менее, растерянность властей ФРГ очевидна: они сделали все, что могли, никто не знает, что можно было бы еще предпринять.

И вот тут выясняется, что зачистка все-таки дала неожиданный результат. В Германии начинают ощутимо меняться общественные настроения. Бюргеры несомненно встревожены. Одно дело, находясь в безопасности, наблюдать по телевизору эффектный спектакль, и совсем другое — самим стать участниками трагических действий. Одно дело услышать по радио, что РАФ ограбила очередной банк, подожгла магазин, напала на чиновника, устроила взрыв на американской военной базе и совсем другое когда бюргера едущего, например, в офис или домой, внезапно останавливает полиция, наводит на него автоматы, приказывает выйти из машины, обыскивает, требует предъявить документы, открывает багажник, портфель, а в случае хоть каких-нибудь подозрений задерживает для дальнейшей проверки. Вся романтика революции тут же развеивается как дым. Никакие идеалы не действуют, если дело касается драгоценных личных удобств. «Миру погибнуть или мне чаю не пить? Так вот: мир пусть погибнет, а мне чаю все-таки пить!» В данном случае — есть любимые сосиски с капустой.

Через много лет Биргит Хогефельд из второго поколения РАФ скажет, что тяготы от обысков и проверок, от кошмарных облав и арестов невинных людей бюргеры возложили не на государство, проводившее их, а на «Фракцию Красной Армии». А другой член РАФ пояснит: «Это все равно как если бы вину за гитлеровские репрессии возлагать на тех, кто боролся с фашизмом. Дескать, если бы не боролись, то не было бы и концлагерей».

Немцы ошарашены истерией насилия, которая вдруг выплескивается на улицы городов. Полицейские тоже люди. Им тоже не хочется умирать. И если полицейский знает, что в ответ на свое, в общем, безобидное требование предъявить документы он может получить пулю в грудь, то пальцы его при любом подозрительном жесте, пусть даже воображаемом, непроизвольно давят на спусковой крючок.

На всю Германию гремит история, как в Тюбингене очередью из автомата был убит семнадцатилетний подросток Ричард Эппле, который никакого отношения к РАФ не имел: он просто не остановился по требованию полиции, потому что у него не было водительских прав. Или другая история, как был задержан профессор социологии, поскольку полицейский решил, что он «учит молодежь не тому». Облавы, которые теперь идут чередой, уже называют в прессе «расстрельными». Подсчитано, что за период 1971—1978 годов в них погибло более ста сорока ни в чем не повинных немецких граждан. Одни

«недостаточно быстро подняли руки вверх», другие, по мнению полиции, «подозрительно оглядывались по сторонам», третьи также «подозрительно держали руки в карманах, можно было предполагать, что собираются выхватить пистолет». Вот случай, типичный для тех сумасшедших дней. «Мы шли мимо "Кауфхофа" (название крупного магазина в Кельне), Клаус тащился сзади: он держался за щеку, у него болел зуб. Вдруг мы услышали очередь, крик. Мы обернулись — Клаус уже лежал, одежда у него была в крови. К нему бежали полицейские с автоматами. Мы закричали: "Что вы наделали! Он ни в чем не виноват!" Полицейский крикнул в ответ: "Он террорист! Он закрывал руками лицо!" "Посмотрите, какой же я террорист?!" — простонал Клаус. Он хотел обратить их внимание на свои очки — у него была сильнейшая близорукость. "А по-моему, ты типичный террорист", — сказал полицейский и выстрелил в него еще раз». Несколько лет родственники и приятели Клауса обращались в суды, пытались добиться хоть какой-нибудь справедливости. Вместо этого они получили обвинения в помощи террористам, увольнения с работы, слежку и обыски со стороны полиции.

Безумие тотальных репрессий достигает предела. Левая оппозиция, пусть слабая и раздробленная, все чаще и чаще ставит вопросы, ответить на которые не так-то легко. Что у нас — демократия или полицейское государство? У нас правит закон или, как в гитлеровские времена, произвол? Что является истинной причиной насилия — действия полиции или единичные акции РАФ?

Правда, эти вопросы практически не слышны. Концерн Шпрингера контролирует почти 80% западногерманских газет, и шизофреническая истерия, которую он развязывает, еще больше подливает масла в огонь. Удар наносится не только по террористам. «Ковровой бомбежке» подвергаются все представители левых движений в Германии. Появляется даже специальный термин «симпатизант» — это тот, кто осмеливается высказывать критические замечания о западном обществе. Критикует Запад — значит на стороне террористов. Критикует полицию — значит сочувствует РАФ. Против «симпатизантов» идет непрерывная кампания травли и клеветы. Их запугивают, их увольняют с работы, организуют давление на их родственников и друзей. Один из немецких учителей, например, будет уволен только за то, что ознакомит учеников с текстом Заключительного акта международного Совещания в Хельсинки, который, между прочим, подписан был и правительством ФРГ. Как видим, «за Хельсинки» преследовали не только в СССР.

Особую ненависть Шпрингера вызывает интеллигенция. Немецкий истеблишмент не без оснований считает, что именно вечно фрондирующие интеллектуальные «леваки» виноваты в том, что молодежь взялась за оружие. Это их безответственные высказывания раздули пожар. Их подстрекательская философия оправдывает кровавый террор. Шквал негодования обрушивается на немецких писателей. К числу «симпатизантов» относятся самые примечательные фигуры немецкого литературного мира: Генрих Белль, Гюнтер Грасс, Гюнтер Вальраф, Макс фон дер Грюн, Зигфрид Ленц — те, кто в своих произведениях выступал против фашизма. Их обвиняют в измене, в ненависти к народу, в неприкрытом стремлении установить в Западной Германии коммунизм. Ситуация накаляется до того, что председатель Союза писателей ФРГ Бернт Энгельман вынужден сделать официальное заявление, в котором предупреждает, что если эта кампания травли и клеветы не будет прекращена, то многие немецкие

писатели будут вынуждены эмигрировать из страны. Большинство газет отказывается печатать его заявление. Зато теперь к «симпатизантам» отнесены даже швейцарские писатели Фридрих Дюрренматт и Макс Фриш, поддержавшие своих немецких коллег, а также кинорежиссеры Райнер Фасбиндер и Маргарет фон Тротта. Более того, выходит из печати книга «Терроризм в ФРГ», где в пособники террористов зачислены даже новый министр внутренних дел Майхофер и федеральный канцлер Западной Германии Гельмут Шмидт. А представители ХДС в бундестаге официально требуют, чтобы всех «симпатизантов» немедленно поставили на учет (как ставили на учет евреев во времена фашизма). Пострадал даже рок, объявленный «музыкой, пропагандирующей наркотический бред», «музыкой насилия», «музыкой упадка и разрушения». Интересно, что аналогичное отношение к року было и в Советском Союзе.

Лидеры левых сил попадают в трудное положение. С одной стороны, они действительно призывали к сопротивлению, к масштабным протестам, к непрерывной революционной борьбе, с другой — это выглядит совершенно иначе, когда начинают звучать реальные выстрелы и литься настоящая кровь.

Единства в среде немецких интеллектуалов нет. После захвата активистами РАФ немецкого посольства в Стокгольме Герберт Маркузе, кумир левой молодежи тех лет, в интервью каналу ARD говорит, что он по-прежнему остается марксистом, однако настоящий марксизм отвергает террор как средство революционной борьбы. «Если смотреть субъективно на деятельность РАФ, — продолжает он, — то можно прийти к выводу, что террористы считают свои действия политическим инструментом. Если же смотреть объективно, то это совсем не так. В том случае, если политическая акция влечет за собой смерть невинных людей, то политическая акция, в ее объективной интерпретации, перестает быть таковой и превращается в преступление». А Руди Дучке, чей авторитет в Германии по-прежнему очень высок, вообще заявляет, что терроризм — это глупость, он ни к чему хорошему не приведет.

Не может РАФ рассчитывать и на помощь из ГДР или СССР, хотя подобные обвинения будут преследовать «Красную Армию» вплоть до нашего времени. Как раз в эти годы ситуация в мире принципиально меняется. После долгого периода недоверия начинается улучшение отношений между Советским Союзом и ФРГ: заключен Московский договор 1970 г., где зафиксирована нерушимость послевоенных границ, объявлен отказ от всяких территориальных претензий и даже продекларирована (на словах, разумеется, в отдаленном будущем) возможность объединения ФРГ и ГДР. Провозглашена «политика разрядки», что означает нормализацию отношений с Западом вообще, и Советский Союз вовсе не склонен осложнять этот важный процесс, поддерживая каких-то сомнительных анархистствующих бунтарей. Когда в начале 1990-х годов произойдет объединение обеих Германий и будут открыты многие документы восточногерманских спецслужб, выяснится, что власти ГДР предоставляли убежище лишь тем членам «Фракции Красной Армии», которые хотели выйти из вооруженной борьбы. Отказ от всякой революционной деятельности был обязательным условием предоставления права на жительство в ГДР. Это вполне естественно. Ни одна страна Восточного блока, разумеется, не хотела, чтобы и там начался стихийный «революционный процесс». Более того, когда Тиль Мейер, один из членов «Движения 2 июня», только что совершивший сенсационный побег из тюрьмы Моабит, оказался в Болгарии, где рассчитывал

некоторое время передохнуть, то он вместе со своими соратниками был негласно выдан болгарскими спецслужбами властям ФРГ. «Красная Армия» не случайно много раз выступала с критикой СССР, утверждая, что там победил не социализм, а «тоталитарный бюрократизм».

Нет в этот период единства и внутри самой подпольной организации. Неожиданно для большинства членов РАФ Ульрика Майнхоф заявляет, что им нужна совершенно иная политическая стратегия. Мы проигрываем войну за сознание масс, говорит она. Немцы видят в нашей борьбе исключительно террористическую составляющую. Они наблюдают только взрывы и выстрелы. Они видят лишь грабежи, насилие, кровь. Им непонятно, чего мы хотим. Буржуазные медиакраты, контролирующие газеты, радио и телевидение, изображают нас хищниками, дикими зверями, вырвавшимися на свободу и сеющими вокруг себя только ужас и смерть. Нам необходимо легальное представительство — люди, которые, будучи формально с подпольем не связаны, могли бы выражать нашу точку зрения на революционный процесс.

Это вызывает взрыв ярости со стороны Гудрун Энслин. В ход идут такие тяжелые обвинения как идеологический оппортунизм, трусость, предательство, свойственное мелкобуржуазным, вечно колеблющимся слабакам, которые только играют в революционные лозунги, а в действительности не готовы ничем пожертвовать ради других. Полицейские свиньи нас убивают, наши товарищи прямо сейчас мучительно умирают в тюрьме, а ты тоскуешь по своему шикарному дому, по своим двум «мерседесам», по французским винам, по платьям, которые ты заказывала модным портным. Тебя вообще следует исключить из РАФ!..

Существуют и личные причины для подобного накала страстей. Прошли те времена, когда только что вернувшиеся в Германию «поджигатели», Гудрун и Андреас, скрывались на квартире у знаменитой журналистки Ульрики Майнхоф, и она с высоты своего социального положения снисходительно выслушивала их запальчивые директивы о необходимости вооруженной борьбы. Ныне положение изменилось. Они вместе в подполье, вместе сражаются, рискуют плечом к плечу, но для всего мира Ульрика Майнхоф по-прежнему известная общественная фигура, человек, чье лицо напечатано на обложке журнала «Штерн», ее называют «королевой террора», считается, что это она вдохновляет и организует все силовые акции РАФ, остальные члены организации как бы в тени, даже левая пресса именует «Красную Армию» «группой Баадера — Майнхоф». Это жутко раздражает Гудрун, впрочем, как и многих других.

Нападки Гудрун тем более обоснованны, что Ульрика по складу характера совершенно не вписывается в подпольную жизнь. Она плохо переносит всплески экстремального напряжения, она нервничает, она путается, она допускает непростительные ошибки. Во время налета на Сберегательный банк на Альтона-уэрштрассе группе, которой руководит Ульрика Майнхоф, удается взять всего около восьми тысяч дойчмарок — они не заметили (это позже выясняется из газет) коробку, где лежало почти сто тысяч. А когда уже с другой группой они грабят мэрию городка Нойштадт, чтобы взять государственные печати, чистые бланки паспортов и идентификационных карт, Ульрика при отправке добычи в Берлин что-то путает в написании адресов и бандероли намертво тонут в недрах почтового сортировочного узла. Операцию приходится повторить.

Она вообще боится стрельбы. Члены РАФ потом вспоминали, что Ульрика

всякий раз была рада, если дело обходилось без жертв. Она выступает против проведения крупных «взрывных диверсий», поскольку это может повлечь за собой гибель людей, и даже — о, ужас! — шокирует членов РАФ, высказываясь за прекращение всякой террористической деятельности.

Самое интересное, что она тут совершенно права. В ретроспективной оценке понятно, что именно сумасшедший террор оттолкнул от «Красной Армии» тех, кто ей первоначально сочувствовал. Клаус Юншке через двадцать лет подтвердит, что «да, после взрывов мы начали терять симпатии населения». О том же незадолго до суда скажет и Биргит Хогефельд (в 1995 году за участие в терроре она будет приговорена к пожизненному заключению): «В этом состояла одна из наших главных ошибок, начиная, по крайней мере, с конца 1970-х годов. Мы в своих рассуждениях исходили из идеи разрыва — не только с Системой, но и со всем западным обществом. Мы считали, что "принадлежим этому обществу лишь постольку, поскольку выступаем против него"... Мы преступили все мыслимые границы: наша революционная практика изменилась до неузнаваемости, общество нас отторгло, мы потеряли все точки соприкосновения с ним».

Не имеют значения конкретные цифры. Например, то, что во всех акциях РАФ за два десятилетия напряженных революционных боев погибли чуть более ста человек (в подавляющем большинстве — представители западногерманского истеблишмента), а в результате действий полиции по обезвреживанию террористов погибли за тот же период более двухсот невиновных людей. Арифметика здесь вообще ни при чем. По мнению немцев, войну начала «Красная Армия», и вина ее в жертвах и разрушениях очевидна для всех.

Вот когда ощущается разрыв с Хорстом Малером. Вместе они, вероятно, могли бы противостоять и неистовому напору Гудрун, требующей не останавливаться ни на миг, и темпераментному хулиганству Баадера, который к тому же сильно подсел на амфетамин¹, и желанию большей части «красноармейцев» взрывать, взрывать и взрывать. После «майского наступления» РАФ в организации вообще царит эйфория. «Красной Армии» кажется, что отныне она пойдет только вперед. Ведь цель так близка! «Бумажный тигр», как окрестил капитализм Мао Цзэдун, поджал хвост и в растерянности отступает. Еще одно усилие, еще удар, и он побежит. Проклятая Система развалится. Революция победит, наступит счастье и освобождение всего человечества.

Со своей стратегией «легальной политики» Ульрика остается в удручающем одиночестве. Никто не хочет этого всерьез обсуждать. Никто даже не интересуется тем, что выходит за рамки эффектного «деструктивного противостояния». В организации, ради которой она пожертвовала всем, у нее нет больше союзников и друзей. Тем более, что Ульрика сама ни в чем не уверена, в ней нет спасительного для жизни в подполье «крестового фанатизма» Гудрун. Нет у нее и мировоззренческой ограниченности Баадера, который, не заглядывая ни в какое будущее, живет только «здесь и сейчас». В отличие от них она вечно в сомнениях, у нее непрерывный кризис идей, чем, собственно, и отличается творческий человек, она легко поддается идеологическому давлению, и потому, сидя на одной из конспиративных квартир, наговаривает на диктофон призывы к пламенной ненависти. «Мы говорим: существо в униформе — это наш враг.

¹ Амфетамин — стимулятор, повышающий энергетику организма, вызывает психологическое привыкание.

Мы говорим: существо в униформе — тот, кто убивает людей. Мы говорим: существо в униформе — это не человек, а свинья, и поступать с ним следует соответственно. С ним нельзя разговаривать. В него надо только стрелять!»

Между тем эйфория РАФ преждевременна. Конечно, «Красная Армия» может еще обсуждать грандиозные планы: например, похитить сразу всех военных комендантов Западного Берлина (эту операцию РАФ уже не успевает осуществить). Конечно, Андреас Баадер может еще заявлять (в ответ на слух, что он готов на определенных условиях сдаться полиции): «Я никогда не сдамся. Ни один из пленников РАФ, находящихся ныне в застенках, не высказывался за прекращение нашей борьбы. Остановить нас нельзя. Нас можно только убить. Сила нашей герильи — это наша решимость. Мы вовсе не пребываем в бегах, как иногда кто-то считает. Мы скрылись в подполье, чтобы организовать вооруженное сопротивление против существующего порядка. Борьба только началась!» Однако в действительности положение РАФ критическое. По ее следу идут сотни оперативных работников. Информационная сеть, брошенная Хорстом Герольдом на страну, стягивается все туже. Проскальзывать сквозь ее сужающиеся ячейки становится все трудней. За любые сведения о террористах объявлено высокое вознаграждение, и на служебных операторов связи обрушиваются тысячи телефонных звонков, которые полиция с методичной дотошностью проверяет.

В конце мая 1972 года Хорст Герольд начинает очередную масштабную операцию, названную им «Водный удар». Суть этого названия он объясняет так: если взорвать в воде бомбу, то оглушенная рыба всплывет. Снова объединяются все полицейские силы Германии, снова выводятся бронетранспортеры, выходят на улицы многочисленные вооруженные патрули. Именно в этот момент из тысяч тех самых «гражданских» телефонных звонков компьютер вылавливает сообщение, что возле гаража одного из районов Франкфурта замечены несколько подозрительных молодых людей. К счастью, силы полиции отобилизованы. Сотрудники ее, одетые в штатское, немедленно блокируют весь район. В гараже обнаруживается взрывчатка, которую тут же заменяют костяной мукой, а во дворе и на ближайших улицах скрытно располагаются несколько вооруженных групп. На следующий день около шести утра к гаражу подъезжает машина, сиреневый «порше», в которой сидят трое мужчин. Двое из них, как выясняется, Баадер и Майнц, заходят в гараж, а третий, Ян-Карл Распе, остается снаружи. Через некоторое время он замечает вокруг подозрительное движение. Распе выхватывает пистолет, но поздно — все выходы из двора перекрыты военными транспортерами. Попытка отстреливаться ни к чему не приводит, уже через пару минут Распе схвачен и, скованный наручниками, усажен в полицейский фургон.

Осада самого гаража длится более двух часов. Стреляют полицейские, стреляют террористы — из темноты полуоткрытых ворот, перемещаются по двору и вокруг дома бронированные машины. Все это в прямом эфире передает бригада Франкфуртского телевидения, предвещая тем самым последующие сенсационные репортажи, которые через несколько лет начнет транслировать на весь мир американское CNN. Полицейские бросают в гараж гранаты со слезоточивым газом. Баадер и Майнц ловко выбрасывают их обратно. Стреляет снайпер, Баадер ранен в бедро. Из окон осторожно выглядывают взбодораженные обыватели. Наконец около восьми утра Хольгер Майнц выходит из гаража с поднятыми руками. Полицейские в бронежилетах с оружием наизготовку врываются внутрь. Андреас Баадер лежит на земле, истекая кровью. Все очень

быстро, выстрелить еще раз он не успевает. Репортерам, которых к тому времени уже чуть ли не больше, чем полицейских, удастся сделать эффектный кадр: главного террориста Германии несут на носилках. Волосы Баадера обесцвечены, он блондин, он в черной кожаной куртке и черных очках. У него еще хватает сил поднять скованные наручниками руки и показать на пальцах латинскую V — «победа».

И все же это победа полиции. Причем удача, как водится, никогда не приходит одна. Как «Красной Армии» в начале ее деятельности сопутствовал «тройной успех», так теперь «тройного», а может быть, даже и «четверного успеха» добивается Хорст Герольд. Всего через неделю после штурма франкфуртского гаража в Гамбурге арестована Гудрун Энслин. Она заходит в магазин модной одежды, чтобы в очередной раз сменить внешний вид, и продавщица вдруг замечает в ее небрежно брошенной сумочке пистолет. Полиция приезжает в бутик немедленно. Когда Гудрун появляется из примерочной, на нее набрасываются четверо здоровенных мужчин. Гудрун отчаянно сопротивляется, но силы, разумеется, неравны. Скованную наручниками, ее доставляют в полицейский участок. Весть об этом вызывает нескрываемую радость властей. Еще через пару дней в Западном Берлине задержана Бригитта Монхаупт (в РАФ она отвечала за оружие, логистику, связь). А еще через неделю уже в Ганновере полиции удается арестовать саму Ульрику Майнхоф. Поскольку основные конспиративные квартиры РАФ провалены, она просит убежища у Фрица Родвальда, своего школьного друга, человека левых воззрений, председателя местного Союза учителей. Родвальд квартиру предоставляет, но тут же сообщает об этом полиции. Та сначала арестовывает Герхарда Мюллера, скрывающегося вместе с Ульрикой, который выходит на улицу, к телефону-автомату, чтобы позвонить, а потом вежливо стучит в дверь. Ульрика настолько ошеломлена провалом, что впадает в истерику. Распухшее от слез, отечное лицо ее в синяках, у нее другая прическа, другой цвет волос. Она абсолютна не похожа на фотографию, которая имеется у полицейских. Подтвердить ее личность удастся лишь через пару часов. А 7 июля в Оффенбахе арестованы Клаус Юншке и Ирмагд Меллер. Их под полицейским нажимом сдает один из молодых членов РАФ. Любопытно, что Фриц Родвальд, выдавший Ульрику, даже получает вознаграждение, обещанное за донос, которое, правда, позже передает в Фонд защиты содержащихся в тюрьме бойцов «Красной Армии». Таковы причудливые извивы революционного сознания тех лет.

В общем, власти Западной Германии могут торжествовать. Изолированы и, как представляется, навсегда главные лидеры террористов. Демократия устояла, изнурительная война победоносно завершена. Принимаются поздравления, раздаются награды, денежные поощрения и чины. Кажется, теперь можно облегченно вздохнуть. И ни у кого даже тени догадки нет, что эта полицейская эйфория так же преждевременна, как и террористическая эйфория РАФ, что надежды на мир обманчивы, что жестокая война вовсе не завершена, что она будет длиться еще почти двадцать лет и что второй этап этой войны, который только что начался, окажется для правительства ФРГ значительно тяжелее первого.

Штутгарт — один из древнейших городов Германии. Уже во II веке нашей эры здесь находилась римская крепость, охранявшая важные перекрестки торговых путей. Однако собственно город основан был в 950 году швабским

герцогом Людольфом, сыном императора Священной Римской империи, который построил здесь конный завод и возвел первые укрепления. Тогда город назывался Stutengarten («кобылий сад») и лишь впоследствии превратился в Stuttgart. Гербом города стал черный конь на желтом фоне.

Штутгарт последовательно был столицей графства, герцогства, королевства, в бурном 1918 году, когда в Германии вспыхнула революция, он был даже провозглашен столицей «Свободного народного государства Вюртемберг», а после Второй мировой войны вошел в состав ФРГ и превратился в главный город объединенной земли Вюртемберг — Баден.

Здесь родились знаменитый немецкий сказочник Вильгельм Гауф и великий немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Здесь же возникли мощные промышленные концерны — «Мерседес-Бенц» и «Порше». В XX веке Штутгарт становится «автомобильной столицей» Германии.

Вполне естественно, что в Штутгарте множество достопримечательностей. В Старом замке находится богатейшая археологическая экспозиция, также здесь есть отделы средневековой иконописи и скульптуры, в Новом замке — Римский лапидариум, где демонстрируются образцы древней письменности, выполненной на каменных плитах, музей «Фрухткастен» представляет собрание музыкальных инструментов, а музей Линдена — громадные этнографические коллекции. Есть также музеи «Мерседес-Бенц» и «Порше». Однако ни в одном рекламном справочнике, ни в одном путеводителе не указан комплекс строений, благодаря которому Штутгарт становится известен по всей Европе в период 1970-х годов. Это тюрьма Штаммхайм, расположенная на окраине города.

Выстроена она была в конце 1960-х годов и предназначалась для содержания особо опасных преступников. Все здесь было подчинено этой цели: стены из сверхпрочного бетона, который не поддается никакому сверлению, прозрачные перегородки, позволяющие непрерывно следить за узниками, особый «Судебный корпус», чтобы процессы можно было вести, не вывозя обвиняемых за пределы тюрьмы, высокая сплошная стена, опоясывающая весь комплекс, за ней — контрольно-следовая полоса, затем — сетка с колючей проволокой наверху, ряд мощных светильников. Немецкие архитекторы превосходно справились с созданием сугубо функциональных строений. «Более холодную архитектуру трудно себе представить», скажет об этом комплексе один из его летописцев. Штаммхайм — символ того, чем в действительности является власть. Ницше ведь не случайно назвал государство «самым холодным из всех холодных чудовищ».

Соответствует жестокой функциональности и система содержания заключенных. Именно здесь, сразу же после водворения в главный корпус арестованных лидеров РАФ вводится так называемая «система мертвых коридоров». Это означает — полная изоляция каждого узника, абсолютная тишина, минимальные и предельно формализованные контакты с внешней средой.

Разумеется, такая система не есть изобретение западногерманских тюремных властей. Еще в начале XIX столетия в пенитенциарных учреждениях Европы и США возникла концепция, согласно которой абсолютная изоляция считалась лучшим способом перевоспитания любого преступника. Предполагалось, что заключенные, оставленные наедине со своей совестью и, разумеется, с Библией — в каждой камере непременно имелся соответствующий экземпляр — предадутся благочестивым размышлениям (поскольку ничем иным все равно заняться

нельзя), пересмотрят свою прежнюю жизнь, осознают ошибки, раскаются и станут законопослушными гражданами. О сенсорной депривации тогда слыхом не слыхивали. Никому в голову не приходило, что тем самым на людях ставится долгий и кошмарный эксперимент. Лишь значительно позже и, в частности, благодаря тому резонансу в мире, который вызвали протесты членов РАФ, заключенных в Штаммхайм, было осознано, что здесь что-то не так. Новые, «правильные» и весьма дорогие тюрьмы вовсе не способствовали раскаянию преступников. Более того, оказалось, что абсолютная изоляция дает скорее обратный эффект — она чрезвычайно пагубно действует на психику заключенных. Уже в конце того же XIX столетия появились медицинские наблюдения, где говорилось о том, что у людей, помещенных в специальный блоковый изолят, появляется неконтролируемое чувство страха, психомоторное возбуждение, галлюцинации, бред, довольно часто — резкая психическая деградация (одни заключенные превращаются в буйно помешанных, другие сворачиваются и «становятся, как эмбрион»), заключенные жалуются на расстройства памяти, зрения, головные боли, бессонницу, у них развиваются клаустрофобия и длительные депрессии, переходящие в суицид, возникает апатия, сменяющаяся иррациональными приступами агрессии, их преследуют навязчивые кошмары — непрерывно проворачивающиеся в сознании «циклы» одних и тех же мыслей и чувств. Причем сами заключенные, как правило, не понимают, что с ними происходит и, не отличая иллюзии от реальности, не могут этому противостоять. Для возвращения к нормальному состоянию им требуется длительная реабилитация, хотя некоторые последствия изоляции могут сказываться еще много лет.

Все это было названо «психозом одиночного заключения». В исследованиях Европейской комиссии по правам человека, осуществленных в 1980—1990 годах, указывается, что одиночное заключение уже само по себе, даже в отсутствие открытого физического насилия, пищевой недостаточности и очевидной антисанитарии, может стать причиной серьезных психологических травм, привести к снижению умственной деятельности, деперсонализации, крайним формам психопатологических девиаций. Сейчас множество экспертов из медицинских и правозащитных кругов требуют, чтобы одиночное заключение, особенно в условиях принудительных сенсорных ограничений, было признано одним из видов пыток, унижающих человека, и исключено из практики пенитенциарных систем.

Однако это только сейчас. А тогда, в начале 1970-х годов, власти ФРГ в строгой изоляции арестованных членов РАФ видят единственный способ прервать их связи с соратниками, оставшимися на свободе. Поэтому «красноармейцев» в Штаммхайме размещают так: на каждом этаже тюрьмы содержится лишь один заключенный, более в этом секторе — никого; также пусты смежные с ними камеры сверху и снизу. В самой камере — минимум необходимых вещей, мебель привинчена, пол, стены и потолок окрашены в изнуряющий белый цвет, круглые сутки, без перерыва, горит лампа сверху, и от этого монотонного освещения кажется, что время остановилось. Даже не остановилось, а превратилось в единую вязкую массу вместе с заполняющей камеру убийственной тишиной. Ульрика Майнхоф проводит в акустической изоляции почти год и описывает свои ощущения в следующих словах: «Чувство, что твоя голова взрывается... Чувство, что позвоночник медленно вдавливается в мозг... Страшная агрессия, которая не находит выхода... Мы еще живы — вот все, что можно

о нас сказать»... Не менее темпераментно пишет об этом и Гудрун Энслин: «Разница между "мертвыми коридорами" и "изолятором" — это разница между Освенцимом и Бухенвальдом. Все очень просто: после Бухенвальда выжило больше людей... Те из нас, кто уже давно находится здесь, могут лишь удивляться, что *они* еще не пускают в наши камеры газ».

Кроме того, и это совершенно очевидно для всех, тюремная администрация надеется сломать хотя бы нескольких членов РАФ, чтобы получить свидетелей на Большом процессе, который сейчас готовится юридическими инстанциями ФРГ. Делается это разными способами. Например, в камеру второстепенного члена РАФ Герхарда Мюллера (того самого, что был арестован вместе с Ульрикой Майнхоф) каждый час, как по будильнику, врываются надзиратели, ставят заключенного смирно, производят тщательный обыск камеры и личный досмотр. Продолжается это круглые сутки, день за днем, в течение многих недель. Мюллер в конце концов не выдерживает и соглашается дать требуемые признания. Его свидетельства на процессе РАФ станут главными аргументами обвинения.

Арестованные члены РАФ попадают как бы в темное чрево Левиафана. Разумеется, не в том смысле, как библейский Иона попал в чрево чудовищного кита, а в том, более страшном, более безнадежном, как об этом писал Томас Гоббс, называвший Левиафаном громаду современного государства. Иону спас бог; бойцы «Красной Армии» могут рассчитывать только на свои силы. Уже в первые дни заключения они разрабатывают кодекс поведения революционера в тюрьме — в нем каждая фраза звучит, как выстрел тех, кто не сдастся, лучше умрет: «Ни слова *свиньям*, под каким бы видом они ни являлись к вам, даже если под видом врачей. Никакой помощи — мы даже пальцем не пошевелим, чтобы им в чем-то помочь. Ничего, кроме ненависти и презрения... Мы защитим себя только непримиримостью, только неумолимостью — теми человеческими качествами, которые нам доступны».

Декларациями дело не ограничивается. У заключенных, даже лишенных всех прав, есть средство борьбы, которое они использовали во все времена. Это политическая голодовка. «Красная Армия» не замедляет этим средством воспользоваться. В январе 1973 года заключенные тюрьмы Штаммхайм начинают всеобщую голодовку, требуя вывода из «мертвых коридоров» Ульрики Майнхоф и Астрид Пролл, состояние которых внушает особенно серьезные опасения. Через адвокатов о голодовке узнает немецкая пресса, закипают эмоции, поднимается невероятный скандал, в правительство летит множество критических стрел, возмущаются парламентарии, поступают запросы международных общественных организаций, под этим давлением тюремная администрация вынуждена отступить: Ульрику переводят в обычную одиночку, а Астрид Пролл после обследования врачей, признавших ее недееспособной, освобождают вообще — уже через месяц полиции приходится локти кусать: как только Астрид Пролл поправляется, она сразу уходит в подполье, чтобы продолжить борьбу.

Впрочем, это ничего не меняет. Через некоторое время РАФ вынуждена объявить голодовку вновь. Начинается процесс над Ульрикой Майнхоф и Хорстом Малером, которых обвиняют в том, что в 1970 году они организовали побег Баадера из Института социальных исследований. Западногерманская Фемида действует очень жестко: процесс объявляется закрытым, туда не допускают ни родственников, ни журналистов, вообще никого, суд отказывается

вызывать свидетелей, на которых указывает защита, подсудимые и адвокаты превращены в безгласных статистов. В ответ на протесты председатель Верховной судебной палаты Западного Берлина, где проходит процесс, Гюнтер фон Дренкман имеет глупость сказать: «Демагогия этих подонков опасна для окружающих. Они, как бешеные псы, могут заразить своей ядовитой слюной всех остальных»... Разумеется, такого оставить нельзя. Члены РАФ полны решимости идти до конца. Андреас Баадер сообщает на волю: «Голодовку мы не собираемся прекращать. Это значит, что кто-то из нас умрет»... Не собирается отступать и тюремная администрация. Она во что бы то ни стало пытается уничтожить волю к сопротивлению — причем сразу и навсегда. Начинаются процедуры принудительного кормления: узника привязывают к кровати, открывают ему плоским ломиком рот, запихивают туда резиновую кишку, через которую накачивают жидкую пищу. Тем не менее, через 83 дня умирает от истощения Хольгер Майнц. Незадолго до смерти он скажет (и адвокаты передадут прессе его слова): «Это мой последний бой за освобождение человечества. С любовью к жизни, презирая смерть, я служу своему народу»... Газеты печатают кошмарные фотографии: вот улыбающийся молодой парень, студент института кинематографии, вся жизнь впереди, и вот высохший труп, скелет, обтянутый кожей, похожий на те, что сбрасывали во рвы в фашистских концлагерях. Так вот что происходит в тюрьмах демократической свободной страны! Так вот чем заканчивается гарантированный конституцией гражданский протест! По всей Германии прокатываются уличные беспорядки. На похоронах «мученика революции» две тысячи человек скандируют: «Месть!.. Месть!.. Месть!..» Руди Дучке, так и не оправившийся после ранения, поднимает над головой кулак: «Хольгер, борьба продолжается!» Начинаются стихийные поджоги судов и нападения на машины полиции.

Ответ самой «Красной Армии» следует незамедлительно. 9 ноября приходит известие о смерти Хольгера Майнца, а уже 10 ноября председатель Судебной палаты Гюнтер фон Дренкман убит. В дверь его квартиры, где судья празднует день рождения, звонят две симпатичные девушки. Одна из них, ослепительная блондинка, вручает Дренкману букет алых роз, а вторая, брюнетка, вытаскивает автомат и стреляет в упор. В поздравительной открытке, оставленной террористами, сказано: «С днем рождения, Гюнтер! Помни: РАФ никогда не прощает врагов». Ответственность за данную акцию на себя берет «Движение 2 июня», которое к тому времени уже полностью солидаризуется с РАФ.

Настроение немецкого общества опять меняется. Только что после взрывов и выстрелов «Красная Армия» пребывала в политической пустоте: и правые, и левые, и «болото» дружно осуждали террор. Хорст Герольд тогда имел все основания говорить: «Никогда прежде я не видел такого единодушия между гражданами и полицией». И вот, чуть ли не в одночасье, происходит трансформация эмоциональных координат. Из недавних преступников члены РАФ превращаются в жертв; низвергнутые во тьму заключения, они становятся мучениками жестокой системы.

Власти Федеративной Германии совершают ту же ошибку, которую в упоении всемогущества совершает почти каждая власть. Чрезмерной жестокостью, тупым полицейским давлением на любой гражданский протест они создают своим оппонентам социальный авторитет. Очевидец тех дней вспоминает, что «оказавшись в тюрьме, группа (лидеров РАФ) обрела ранее недостававшее ей

политическое влияние. Беспрецедентные меры предосторожности наделили заключенных политической значимостью, не идущей ни в какое сравнение с тем, чего они смогли добиться с помощью своих публикаций и террористических актов».

Известность РАФ в Германии и Европе непрерывно растет. Образуется «Красная помощь», объединение адвокатов, защищающих узников тюрьмы Штаммхайм. Туда входят многие авторитетные немецкие юристы, представляющие собой сообщество, с которым не считаться нельзя. Причем они не только налаживают обмен информацией между арестованными членами РАФ и их соратниками, пребывающими на свободе, но и проводят собственные протестные акции, привлекающие внимание радио, телевидения и газет — то пресс-конференции, где рассказывают о положении дел в тюрьме, то однодневные голодовки у бетонной стены, опоясывающей Штаммхайм, то демонстративный отказ участвовать в судебных процессах, где ограничиваются их права. В Англии, Франции и Голландии возникают Комитеты защиты прав заключенных, ориентированные в первую очередь на помощь РАФ. В Гамбурге образуется немецкий Комитет против пыток, который публикует в легальной и нелегальной прессе один сенсационный материал за другим. Теперь в определенной мере оправдывается даже террор, поскольку казнь Дренкмана несомненно повлияла на поведение судей. Хотя в дальнейших процессах над членами «Красной Армии» также было множество нарушений юридических норм, но демонстрировать такую откровенную ненависть к подсудимым больше не осмеливается никто.

Кульминацией общественной популярности РАФ становится поездка в Штаммхайм Жан-Поля Сартра, признанного в те годы лидера философствующей Европы. Правда, содержательного разговора Сартра с Баадером не получается — слишком разных политических взглядов они придерживаются. Сартр считает, что открытый левый террор можно использовать как средство борьбы лишь где-нибудь в Гватемале, но в Европе, имеющей давние демократические традиции, он совершенно не применим. Баадер же, в свою очередь, полагает, что Сартр как философ от нынешнего времени безнадежно отстал и потому просто не видит перспективной революционной реальности. Сказывается на разговоре и физическое состояние собеседников. Сартр к тому моменту уже перенес два инфаркта, временами в нем ощущается острый упадок сил, а Баадер, только что закончивший голодовку, выглядит истощенным и, теряя нить разговора, то и дело хватается за голову, будто испытывая сильную боль. Тем не менее по окончании встречи Сартр печатает в «Либерасьон» статью, где категорически протестует против пыток «мертвыми коридорами», применяемых в тюрьме Штаммхайм. «К заключенному должны относиться как к человеку. Он лишен свободы, но он не должен быть объектом каких-либо пыток или чего-либо, имеющего целью деградацию человеческой личности или смерть. Эта же система направлена именно против человеческой личности и разрушает ее».

Позиция Сартра — это еще один плюс. Находясь в заключении, «Красная Армия» обретает ту подлинную магнетическую притягательность, которой недоставало ей в «фазе террора». Прав был судья, сказавший, что молодежь, видя своих кумиров, начинает им подражать. Правительство ФРГ явно проигрывает важнейшее идеологическое сражение. Согласно полицейской статистике, с 1970 по 1972 год (лидеры «Красной Армии» на свободе) в розыске находилось около

сорока человек, подозреваемых в причастности к деятельности РАФ. К 1974 году (лидеры РАФ в тюрьме) их число возросло до трехсот. А в списке сочувствующих «Красной Армии», то есть тех, кто составляет ее потенциальный резерв, находятся уже более десяти тысяч людей. Опросы также показывают, что в середине 1970-х годов Ульрика Майнхоф является самой популярной женщиной Федеративной Германии.

Ситуация становится и вовсе критической, когда в мае 1975 года начинается Большой процесс РАФ. Целых три года готовится к нему правительство ФРГ, и все это время оно отступает под сокрушительными ударами «Красной Армии».

Самая масштабная трагедия происходит еще осенью 1972 года на Мюнхенской олимпиаде. Террористы из палестинской организации «Черный сентябрь» захватывают 11 членов израильской олимпийской сборной. Двух они убивают сразу, поскольку те оказывают сопротивление, а в обмен на оставшихся требуют освобождения 234 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, а также освобождения лидеров РАФ — Андреаса Баадера и Ульрики Майнхоф. В противном случае они грозятся убивать по одному заложнику каждый час. Начинаются мучительные переговоры. Террористам предлагают громадный выкуп, но они отвечают: «Деньги ничего не значат для нас, наши жизни тоже ничего не значат для нас. Мы требуем освободить наших товарищей из тюрьмы». В конце концов Министерство внутренних дел ФРГ принимает решение выволнить заложников вооруженным путем, однако опыта контртеррористических операций такого рода у него нет — попытка штурма на аэродроме в Фюрстенфельдбруке, куда привезли спортсменов якобы для отлета в Египет, заканчивается полным провалом: не было специальной подготовки ни у одного из снайперов, часть полицейских из оцепления неожиданно отошла, не поставив об этом в известность свое командование, опоздали с прибытием бронетранспортеры, не вовремя и не согласованно открыт был огонь, неудачно сел вертолет, закрывший собой траектории прицельной стрельбы. В результате все заложники погибают. Трое оставшихся в живых террористов арестованы и попадают в тюрьму. Предполагается, что их будут публично судить. Однако уже через полтора месяца они оказываются на свободе — после того как очередная палестинская группа захватывает «Боинг-727», принадлежащий «Люфтвагзе», с тринадцатью пассажирами на борту. «Я не видел иного выхода, — объяснит свое решение канцлер ФРГ Вилли Брандт. — Пришлось принять ультиматум, чтобы избежать новых смертей». В ответ премьер-министр Израиля Голда Меир заявит: «Похоже, за решеткой уже не осталось ни одного террориста. Всех отпустили. Все капитулировали перед ними. Все, кроме нас». Голда Меир имела право так говорить. В эти дни Израиль начинает секретную операцию «Гнев божий», которая продолжалась более двадцати лет и привела к уничтожению почти всех террористов, причастных к трагедии в Мюнхене.

Однако этим дело не ограничивается. В марте 1973 года та же палестинская организация «Черный сентябрь» захватывает посольство Саудовской Аравии в г. Хартум (Судан), убиты секретарь посольства, бельгийский дипломат, посол США. В числе требований террористов — освобождение всех членов РАФ. В ноябре 1974 года убит судья Дренкман. Ульрика Майнхоф по этому поводу заявляет: «Мы не будем жалеть о смерти Дренкмана. Мы рады его казни. Это необходимая мера, чтобы каждый судья или полицейский знал, что ему не

избежать ответственности за свои поступки». Начинает активные действия «Движение 2 июня». В июле они грабят крупный западноберлинский банк и уносят оттуда 200 000 дойчмарок. В августе, каким-то образом обезоружив охранников, совершают фантастический побег из тюрьмы Габриелла Рольник, Джулиан Пламбек, Моника Берберих и Инга Витт. В ноябре совершает сенсационный побег из тюрьмы другой член этой организации Тиль Мейер. А в феврале 1975 года «Движение 2 июня» похищает Питера Лоренца, кандидата на пост мэра Западного Берлина от ХДС. Напуганное катастрофой на Мюнхенской олимпиаде правительство ФРГ после коротких и путаных переговоров капитулирует: пять ранее арестованных членов «Движения 2 июня» оказываются на свободе. Далее эта же группа захватывает немецкое посольство в Стокгольме и несмотря на провал данной акции, закончившейся грандиозным и бессмысленным взрывом, впечатление на немецкие власти она производит: складывается ощущение, что террористы всесущи, они могут нанести удар в любой точке планеты.

Впечатление это усиливается во много раз, когда в июне 1976 года боевики из Народного фронта освобождения Палестины при содействии немецких «Революционных ячеек» захватывают очередной самолет, в данном случае — авиакомпании «Эйр Франс», и сажают его на аэродроме Энтеббе близ столицы Уганды. Требования террористов стандартные: освободить палестинских заключенных и арестованных лидеров РАФ. Здесь, однако, происходит перелом в ожесточенном сражении. Израильтяне (а подавляющее большинство заложников составляют граждане этой страны), которые уже многие годы живут в обстановке непрекращающегося террора, после трагедии в Мюнхене принимают стратегическое решение: никогда больше террористам не уступать. Хватит компромиссов и соглашений: война есть война. Осуществляется уникальная операция — израильские коммандос на четырех самолетах тайно вылетают в Уганду. В обстановке строжайшей секретности они преодолевают четыре тысячи километров пути, высаживаются на аэродроме Энтеббе, уничтожают всех террористов и освобождают заложников. Попутно они отбивают атаку подразделений президента Иди Амина (те потеряли в ночном бою около пятидесяти человек) и уничтожают практически всю угандийскую авиацию — тридцать «МиГов», поставленных в эту страну Советским Союзом. Это колоссальный успех. Оказывается, террористам можно противостоять.

Вместе с тем настроение у заключенных Штаммхайма приподнятое. Разумеется, провал в посольстве в Стокгольме и последовавший за ним провал на аэродроме в Энтеббе их сильно разочаровал. Надежда на свободу было забрезжила, но горизонт опять потемнел. И тем не менее, опускать руки рано. Сопротивление продолжается. Не вышло в этот раз — получится в следующий. Сама ситуация в мире работает на «Красную Армию». Соединенные Штаты Америки проигрывают войну во Вьетнаме. Они вынуждены признать поражение и вывести оттуда войска. Подтверждается прогноз теоретиков революционной борьбы: крохотная страна при международной поддержке может противостоять могущественной державе. А ведь в этом есть и наша заслуга! Авторитет США скатывается чуть ли не до нуля. Тем более, что одновременно на них обрушивается еще один мощный удар. После очередной войны на Ближнем Востоке, которую арабы называют «Октябрьской», а израильтяне «Войной Судного дня», нефтедобывающие арабские страны накладывают эмбарго на

поставки энергоносителей тем государствам, которые поддерживают Израиль, это опять-таки в первую очередь — США. В четыре раза взлетают цены на нефть, и энергетический кризис мгновенно перерастает в кризис всей западной экономики. Содрогаются самые основы существования. Громовые раскаты следуют один за другим. Невооруженным глазом заметно, что мир меняется, и изменения эти чувствуются даже в темном чреве Левиафана.

В такой обстановке начинается в Штаммхаймской тюрьме Большой процесс РАФ. Власти Федеративной Германии напрягают все силы, чтобы данное публичное действо обрело необходимый пропагандистский формат. Они учитывают опыт предыдущих судебных процессов, которые «Красная Армия» и, главное, ее адвокаты превратили в эффектный спектакль, в политическое представление, рекламирующее «всемирную революцию». Больше они такого допускать не намерены. «Фракция», по их мнению, это сборище бандитов и закоренелых убийц, и судить их следует именно как бандитов и закоренелых убийц. В три дня принимается пакет чрезвычайных законов, которые сразу же получают название «Законы Баадера и Майнхоф». Согласно им, суд получает право вести слушание дела без присутствия обвиняемых, если те нарушают формальные процедуры суда. Более того, суд получает право отстранять от процесса всех адвокатов, «заподозренных в поддержке преступной группы, осуществлявшей террор». Законы сразу же вводятся в действие. Отстранен от процесса адвокат Штробеле — только за то, что он придерживается социалистических убеждений (хотя социал-демократы, то есть умеренные социалисты, входят в состав правительства ФРГ), отстранены адвокаты Круассон, Грюнвальд и Ланг — тоже в качестве «заподозренных и сочувствующих». Давление на них непрерывно растет. Ганс-Христиан Штробеле, в частности, вспоминал: «Газеты устроили мне настоящую травлю. Меня оскорбляли, мне угрожали. По почте анонимные авторы присылали мне патроны с запиской: "Ты приговорен к смерти! Готовься к ней". Я постоянно находился под наблюдением спецслужб. Впоследствии я узнал, что Федеральная служба по защите конституции даже завербовала секретаря в моем офисе. Затем мне было предъявлено смехотворное обвинение, что я "слишком сильно" защищаю своих подсудимых. Меня тут же исключили из СДПГ. А в 1980 году даже сумели приговорить к десяти месяцам тюрьмы условно за "поддержку преступной организации". В качестве доказательств моей вины фигурировало, например, то, что после начала голодовки заключенных я собрал пресс-конференцию. Или что я перевел на счет заключенных пятьдесят марок и на них они купили себе сигарет. Или что вместе с другими я организовал систему обмена информацией, чтобы десять обвиняемых и от десяти до двенадцати адвокатов могли эффективнее готовиться к защите».

Результаты такого давления оказываются парадоксальными. Часть адвокатов, разуверившись в возможностях легальной защиты, действительно уходит в подполье и пополняет ряды «красноармейских команд». Власть по обыкновению сама создает себе непримиримых врагов.

Однако даже этого мало. В уголовный кодекс Федеративной Германии вводится особая, очень специфическая статья (129-а), согласно которой наказуемым является не только деяние, но и просто членство в террористической организации. Таким образом преодолевается недостаточность доказательной базы, составлявшей главную трудность всех предыдущих процессов над членами

РАФ. Видеокамер еще и в помине нет, свидетели операций «Красной Армии», если таковые оказываются, наблюдают просто неких вооруженных людей, лица которых скрыты под масками. Оpoznать их впоследствии не может никто. Конечно, после каждой акции РАФ делает специальное заявление, в котором берет ответственность на себя, однако как доказать вину конкретного человека? «Принцип коллективной ответственности», как немедленно была квалифицирована эта статья, позволяет теперь осудить любого «за членство в преступной группе». Данная статья существует в немецкой юстиции до сих пор.

Вместе с тем суд — оружие обоюдоострое. Гласность, свобода слова, которых власти ФРГ отменить не могут, работают в этом случае против них. Суд превращается в трибуну протеста, откуда «Красная Армия» делает заявления на весь мир. Члены РАФ выступают на процессе один за другим. Они говорят, что террор для них вовсе не цель, а трагическая необходимость. Они говорят, что обратились к вооруженной борьбе лишь тогда, когда на собственном опыте убедились в бессилии легальной демократической оппозиции. Они говорят о фашистских и полицейских методах действий властей ФРГ, чему приводят многочисленные примеры. Они обличают, они негодуют, они призывают к подлинной справедливости и свободе.

Любопытно посмотреть фотографии, сделанные на этом процессе. Суд хоть и проходит в специальном корпусе тюрьмы Штаммхайм, в изолированном, внутреннем помещении, практически не имеющим окон, но обстановка, по современным представлениям, очень вольготная: нет ни железных клеток для обвиняемых, ни «аквариумов» из пуленепробиваемого стекла. Подсудимые, одетые в джинсы и свитера, сидят на скамье, огороженной лишь невысоким барьером, под охраной, конечно, но — совершенно открытые и доступные общению с публикой. И они этой возможностью непрерывно пользуются. Фидель Кастро на аналогичном процессе скажет: «История меня оправдает». Андреас Баадер в ответ на все обвинения громко заявит: «Нас будут судить следующие поколения». Зал эти заявления бурно поддерживает. Пресса, даже несколько не сочувствующая «левакам», без промедления разносит их речи по всей Германии. Вопреки намерениям властей процесс сразу же обретает не уголовный, а ярко выраженный политический и революционный характер.

Причем обвиняемые выглядят явно убедительнее, чем судьи. Когда эксперты оглашают характеристику терроризма, данную министром внутренних дел ФРГ: «Основная цель терроризма — убить как можно больше людей. Очевидно, что террористы хотят вселить в сердца людей по всему миру ужас и страх», то Баадер немедленно отвечает: «Я бы сказал, что это очень точное определение той политики, которую проводит Израиль по отношению к Палестинскому освободительному движению, это очень точное определение политики, которую проводили США во Вьетнаме... И именно немой ужас пытается вселить в сердца людей прокуратура ФРГ, когда строит в тюрьмах новые мертвые коридоры». А Ульрика Майнхоф тут же дополняет его: «Терроризм — это разрушение таких объектов, как дамбы, каналы, больницы, электростанции. Начиная с 1965 года, США систематически подвергали бомбардировке в Северном Вьетнаме именно такие объекты. Терроризм действует среди всеобщего страха. Городская герилья, которую мы ведем, напротив, внушает страх только государственной машине».

Суд ничего не может с этим поделать. Разумеется, он использует все возможные методы, которые содержит его исторический арсенал: подсудимых

одегивают, лишают слова, удаляют из зала или, наоборот, принудительно доставляют туда, отклоняют все их протесты, требования, тем более — по составу суда, полиция, в свою очередь, откровенно преследует их адвокатов: задерживает, устраивает обыски в офисах, конфискует рабочие документы. Однако приводит это только к тому, что обвиняемые отказываются признать законность такого суда и перестают отвечать на самые простые вопросы. Даже для установления личности подсудимых (необходимая процедура) судье Принцингу требуется целых 26 дней. Часто суд попадает в идиотское положение. Например, когда Ульрика Майнхоф, выведенная из себя тем, что одно и то же приходится говорить несколько раз, называет судью Принцинга задницей, тот разъяренно требует повторить эти слова, чтобы данное оскорбление можно было занести в протокол, и Ульрика к восторгу зала громко и отчетливо повторяет. Аналогичным образом поступают Баадер и Энслин. Уже вечером их ответы цитируют на собраниях, в клубах, в молодежных кафе. Не вызывают доверия свидетели и обвинения. Даже Герхард Мюллер, на которого суд возлагает особенные надежды (ему обещано досрочное освобождение и денежная премия, составляющая, по некоторым данным, 500 000 марок) дает показания путанные, а зачастую просто бредовые, не могущие никого ни в чем убедить. Правительство ФРГ терпит очевидное поражение в информационной войне против РАФ. Процесс находится в центре внимания и западногерманской, и европейской прессы, политический авторитет «Красной Армии» непрерывно растет. Обезоруженные, брошенные в тюрьму, измотанные голодовками и пребыванием в «мертвых блоках», лишённые нормальной защиты, ограниченные во многих правах, они, тем не менее, явно выигрывают, возможно, главную свою битву и выглядят вовсе не побежденными, а — авангардом, только еще завязывающим решительный бой. Из этого делаются соответствующие выводы, и в борьбе со следующими поколениями «Красной Армии» полиция уже предпочитает не арестовывать членов РАФ, а при малейшем сопротивлении — уничтожать. Сила слова, как это часто бывает, оказывается опаснее силы пуль.

И все-таки государственную машину не остановить. Она подобна жерновам господ бога, которые крутятся медленно, но перемалывают все до конца. Так происходит и на процессе РАФ. Вращаются судебные шестеренки, цепляются зубчики, поворачиваются штифты, надвигается неумолимый финал. Обвиняемым удастся несколько затормозить это действие: так, слушание дела по существу начинается только через восемь месяцев после начала суда. Им удастся сделать публичным компрометирующий администрацию Штаммхайма скандал, связанный с незаконным прослушиванием бесед обвиняемых и адвокатов. Им даже удастся свалить судью Принцинга, доказав, что тот передает следственные материалы в прессу с целью дискредитировать РАФ. Однако это ничего не меняет. Колесики по-прежнему крутятся, валы вращаются, машина перемалывает один протестный аргумент за другим. Сменивший Принцинга в кресле председательствующего судья Фот с тем же механическим упорством движет процесс в заранее намеченный пункт.

Положение «штаммхаймской группы» становится почти безнадежным. Уже четыре года пребывают они в мучительной изоляции, четыре года надежды на скорое освобождение рушатся одна за другой. Все труднее становится им преодолевать отчаяние. Все сильнее сгущается мрак, готовый их окончательно поглотить. Тем более, что по темпераменту своему лидеры «Красной Армии»

вообще не способны долго пребывать в бездеятельности, им требуется воздух сражений, им нужен горячий оперативный простор. Стены Штаммхайма почти физически давят на них, и энергия, не находящая выхода, прорывается в неприятных бытовых инцидентах. Баадер то и дело устраивает драки с охранниками, за что к нему применяют штрафные санкции, лишая свиданий и книг. Устраивает грандиозную драку и Ян-Карл Распе, заражая этим безумством всех остальных, — однажды целых тридцать охранников штурмуют коридор, где содержатся члены РАФ, чтобы навести там порядок. Фанатизм Гудрун Энсселин достигает такого накала, что она уже не в состоянии разговаривать — только кричать. Самое безобидное замечание отвергается ею с пеной у рта. Все чаще вспыхивают конфликты внутри группы. Все выше температура эмоций, разгорающихся из-за пустяков. Все больше опасных трещин появляется в обычных человеческих отношениях.

Хуже всего обстоит дело с Ульрикой Майнхоф. «Мертвые коридоры», куда она попадает одной из первых (даже еще не в Штаммхайме, а в тюрьме Оссендорф), явно сказываются на психике. Она то начинает пугать собеседников совершенно бессвязной речью, то у нее вдруг ни с того ни с сего прорывается беспричинный и бессмысленный смех, то она целую неделю, как проклятая, молчит — перестает причесываться, умываться, отказывается от встреч, не реагирует ни на что. Есть подозрения, что ей дают сильно действующие психотропные вещества. Это попытка тюремной администрации дискредитировать самую известную фигуру революционного сопротивления. Бывают, правда, и периоды просветления, и во время одного из таких она, выступая на суде, говорит, что у человека «в одиночном заключении есть только два пути: предательство или смерть. Нас хотят сломить, вынудить стать предателями. Этого у них не получится никогда».

9 мая 1976 года появляется официальное сообщение, что Ульрика Майнхоф совершила самоубийство. Она якобы сделала веревку из разорванного полотенца и, встав на стул, привязала ее к решетке окна. «Никаких признаков постороннего вмешательства», гласит протокол. Правда, официальному сообщению никто не верит. Сомнение в нем выражает даже нобелевский лауреат Генрих Белль, за что подвергается яростным нападкам в правой прессе. 10 мая на решетке одной из камер тюрьмы Штаммхайм появляется сплетенный из полотенца большой белый крест. На похороны Ульрики Майнхоф в Мариендорфе приходят тысячи человек. Студенты несут траурную ленту с эмблемой РАФ (черный автомат на фоне красной звезды), лозунг, выписанный крупными буквами, гласит: «Товарищ Ульрика, революция отомстит за тебя». Заключенные члены РАФ требуют независимого расследования, но судья Принцинг, который еще председательствует на процессе, просто вычеркивает имя «Майнхоф» из документов суда. Ничто не может остановить бюрократическую машину. На сто девяносто второй день слушаний выносится приговор: подсудимые члены РАФ признаны виновными в совместном совершении четырех убийств, в двадцати семи убийствах, являвшихся результатами нападений, в грабежах и поджогах, в организации преступной террористической группы, подрывавшей общественную безопасность страны. Все они приговорены к пожизненному заключению. Седьмой этаж тюрьмы Штаммхайм срочно реконструируют, и после очередной голодовки находящимся там членам РАФ разрешают ограниченное общение между собой. Никто не может сказать, надолго ли

это. На волю попадает записка: «Мы знаем, что существует четкий план нашего убийства. Сдаться мы не можем. Поторопитесь. Больше сказать нам нечего».

Всем понятно, что это еще не финал.

Итак, осенью 1977 года Западная Германия находится в шизофреническом состоянии. Ее бросает то в холод, то в жар, она то впадает в ступор, то бьется в истерических судорогах. Ее терзают кошмары, как бы выползающие из снов: кровожадные монстры шерятся ей прямо в лицо. Правда, когда она открывает глаза, оказывается, что это не сон, а явь.

Сокрушительные удары следуют один за другим. Сначала происходит убийство генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака: он был приговорен с того момента, как РАФ сочло его виновным в смерти Ульрики Майнхоф, затем, всего через три месяца, убит Юрген Понто, президент крупнейшего «Дрезднер-банка»: террористы всадили в него пять пуль, а еще через месяц, средь бела дня, похищен Ганс-Мартин Шляйер, президент Союза промышленников ФРГ. Не помогли ни охрана, ни чрезвычайные меры предосторожности, ни многочисленные полицейские патрули.

Никто не знает, что делать. Никто не понимает, как «Красная Армия», вроде бы уже разгромленная, лишенная главных своих вождей, нашла в себе силы для нового мощного наступления. Неужели ее ресурсы неистощимы? Неужели титаническое напряжение последних лет было напрасным? Неужели вся полиция Федеративной Германии, все ее службы, все ее колоссальные государственные рычаги не могут остановить ничтожную группу людей?

В известном смысле так оно и есть. Позже, когда грохот ожесточенной битвы утихнет, выяснится, что в это время начинает борьбу так называемое «второе поколение РАФ». Очень многое в истории зависит от личности. В феврале 1977 года выходит на свободу Бригитта Монхаупт, которая ранее была в «Красной Армии» на вторых ролях. Однако последние месяцы заключения она провела в Штаммхайме, где интенсивно общалась с Баадером, Энсслин и Распе. Неизвестно, о чем они там говорили, но на воле Бригитте Монхаупт удастся сплотить вокруг себя группу очень серьезных бойцов — они немедленно приступают к активным действиям. Причем, это уже не возвышенные романтики, как в первом поколении РАФ, а жестокие профессионалы, не боящиеся смертей. Революция невозможна без жертв, считают они, в лайковых перчатках вооруженную борьбу не ведут. Бригитта Монхаупт становится, пожалуй, самым опасным террористом Германии. В следующий раз она попадет в руки полиции только в 1982 году и будет приговорена уже к пятикратному пожизненному заключению. Плюс пятнадцать лет — за организацию девяти убийств.

Однако это еще впереди. А пока многим в Западной Германии кажется, что складывается ситуация, аналогичная временам Веймарской республики, когда страну тоже захлестывал правый и левый террор, когда эпоха тоже разламывалась и сквозь бессильное настоящее просвечивало коричневое фашистское будущее.

Правда, нынешняя ситуация все же немного иная. Срочно созданный Кризисный комитет, который возглавляет лично канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, принимает негласное решение — ни на какие уступки террористам более не идти. На этом особенно настаивает Хорст Герольд. Во-первых, считает он, уже есть негативный опыт: все члены РАФ, освобожденные в обмен на Петера Лоренца,

немедленно вернулись в террор. Во-вторых, в случае капитуляции перед террористами правительство окажется настолько дискредитировано, что будет вынуждено подать в отставку, это усугубит хаос в стране. И в-третьих, хотя прямо об этом не говорится, но кем-кем, а Шляйером вполне можно пожертвовать. Очень уж это одиозная личность даже по низким стандартам послевоенных элит ФРГ: кадровый офицер СС, проводил «чистку» Гейдельбергского университета, по его рапортам десятки людей были уволены, отправлены в тюрьмы и концлагеря, далее чистил Инсбрукский университет в Австрии, затем точно так же — Парижский университет. Кроме того руководил разграблением Чехословакии во время войны, строительством «секретных объектов» на ее территории: тысячи заключенных по окончании работ были «утилизированы», что это означает, не надо объяснять никому, был внесен в список военных преступников, заочно приговорен к смертной казни чехословацким судом, Чехословакия безуспешно требовала его выдачи: правительство ФРГ ответило, что Шляйер «является слишком ценным кадром для промышленности страны». Имеет значение еще одно обстоятельство: и Гельмут Шмидт, и Хорст Герольд в прошлом были офицерами вермахта. А вермахт испытывал традиционную неприязнь к СС.

Под давлением Шмидта и Герольда Кризисный комитет вырабатывает стратегию: затягивать переговоры всеми силами, любой ценой, что-нибудь неопределенное, например денежный выкуп, террористам пообещать, а в действительности — дать полиции время, чтобы нащупать место, где прячут Шляйера. Это, так сказать, первый пункт. Пункт второй: после провала немецких спецслужб на Мюнхенской олимпиаде и после блестящей операции израильтян в Энтеббе, когда заложники были освобождены, в самой Федеративной Германии уже сформирован специальный отряд по борьбе с терроризмом — ГСГ-9 (Grenzschutzgruppe), который возглавляет подполковник Ульрих Вегенер. Как только место укрытия Шляйера удастся установить, ГСГ-9 пойдет на штурм. Ульрих Вегенер, лично участвовавший в угандийской операции израильтян, полон решимости смыть позор Мюнхена.

Первая часть стратегии правительству ФРГ вполне удастся. Лидеры «Красной Армии», содержащиеся в Штаттхайме, полностью изолированы и разобщены, им оставляют только транзисторные приемники, но никаких контактов ни друг с другом, ни с внешним миром у них больше нет. Они вынуждены верить тому, что сообщает им представитель властей. От похитителей, в свою очередь, требуют представить свидетельства, что Ганс-Мартин Шляйер до сих пор жив, а когда такие свидетельства появляются, в них отыскивают неточности, и требуют дополнительных доказательств. Одновременно министр иностранных дел ФРГ начинает переговоры со странами, которые могли бы предоставить убежище арестованным членам РАФ. Переговоры, разумеется, дело долгое. Дипломатия требует исполнения множества формальных муторных процедур. Через некоторое время похитителям сообщают, что Йемен и Ливия принять террористов отказываются (хотя никому не известно, проводились ли такие переговоры вообще), затем сообщают, что также отказываются от содействия Алжир и Вьетнам, составляется новый список предполагаемых стран, куда входят Ангола, Гвинея-Бисау, Эфиопия и Мозамбик. Для большей правдоподобности Кризисный комитет выдвигает условие: террористы, если их обменяют на Шляйера, должны обещать, что они уже никогда в Германию не вернутся.

Хотят воевать — пусть воюют не здесь. После некоторых дискуссий Баадер, Энслин и Распе отвечают, что это условие они согласны принять.

Таким образом удастся оттянуть время до октября. Полиция ФРГ получает целый месяц на поиски. Развертывается грандиозная операция по прочесыванию: идет проверка документов, машин, подсобных строений, квартир, на всех вокзалах, в аэропортах, на перекрестках главных дорог встают усиленные полицейские блокпосты, задерживаются и проверяются сотни людей, отслеживаются и обрабатываются сотни тысяч телефонных звонков, идет интенсивное взаимодействие со спецслужбами других европейских стран, которые, испытывая те же проблемы, готовы помочь. Правда, результаты всей этой лихорадочной деятельности ничтожные. В начале октября полиции лишь удастся найти дом и квартиру в Кельне, где, видимо, первое время содержали Шляйера, в подземном гараже обнаружен автомобиль, на котором его после акции увезли. Однако квартира уже давно пуста. Никаких следов оттуда к похитителям не ведет. Удастся также установить, что большинство звонков, сделанных террористами, исходит из телефонных будок именно в районе железнодорожного вокзала в Кельне. А кроме того в конце сентября после перестрелки в одном из баров Утрехта (в центральной Голландии), где двое полицейских получили ранения, а один был убит, удастся арестовать второстепенного члена РАФ, возможно, причастного к похищению. Однако женщина, которая с ним была, скрылась. Позже в ней опознают Бригитту Монхаупт, и Герольду останется только локти кусать. Компьютерный центр явно не оправдывает возложенных на него надежд. В отчаянии полиция обращается даже к знаменитому экстрасенсу — по его указанию прочесывается громадный кельнский район, где «необычно взбудоражен астрал», результатов, разумеется, никаких.

Положение Кризисного комитета осложняется тем, что в конце того же сумасшедшего сентября «Японская Красная Армия», последовательница и союзница РАФ, захватывает самолет местных авиалиний со 159 пассажирами на борту и требует освобождения шести своих заключенных. «Японская Красная Армия» — это очень серьезная террористическая организация. В 1972 году она уже устроила подлинный апокалипсис в аэропорту израильского города Лод (ныне аэропорт имени Бен-Гуриона), где погибло 26 пассажиров и еще 72 человека были ранены; в 1974 году она захватила французское посольство в Гааге, а в 1975 году — посольство США в Куала-Лумпуре. Члены ЯКА ни на мгновение не задумываются, если нужно стрелять. В аэропорту Лода они открыли огонь по людям, скопившимся в терминале. Японское правительство, опасаясь новой кровавой бойни, капитулирует и выполняет требования террористов. В списке тех, кто подлежит освобождению, узников Штаммхайма нет, но сама победа очередной «Красной Армии», сразу выскочившая в топ мировых новостей, резко ухудшает ситуацию для правительства ФРГ.

Однако выясняется, что это только начало. Пока немецкая пресса следит за судьбой Шляйера и печатает его фотографии с подписями «31 день в плену», драматические события разыгрываются на другом конце света.

13 октября Боинг-737 «Ландсхут» взлетает с Пальма-де-Мальорка, направляясь во Франкфурт. На борту его находятся 86 пассажиров плюс экипаж, в основном это немцы, возвращающиеся из отпусков. Как только самолет набирает маршрутную высоту, двое вооруженных мужчин врываются в кабину пилотов. Одновременно в салоне вскакивают с мест две женщины, которые

вздымают гранаты над головой. Главарь террористов представляется по интеркому как «Капитан Мученик Махмуд», объявляет, что самолет захвачен группой бойцов Народного фронта освобождения Палестины и обещает, что если их требования будут удовлетворены, никто из пассажиров лайнера не пострадает.

Начинается трагическая эпопея, за которой в режиме онлайн (хотя такого термина еще нет) напряженно следит весь мир. Через два часа самолет приземляется в Римском аэропорту Фьюмичино, где его тут же окружают бронированные автомобили и цепь солдат. Министр иностранных дел ФРГ звонит своему коллеге в Италию и настаивает, чтобы самолету ни в коем случае не дали взлететь. Прострелите ему шины! — требует он. Немецкая полиция не хочет выпускать лайнер за пределы Европы. Однако итальянское правительство, ведущее сейчас отчаянную борьбу против «Красных бригад», вовсе не жаждет брать ответственность на себя. У него и без того хватает забот. Самолет после некоторых препирательств все-таки заправляют, и он перелетает сначала в Ларнак, потом — в Бахрейн, а затем — в Дубай. Правда, правительство Эмиратов тоже не хочет ввязываться в эту историю. Более того, оно вообще не намерено принимать этот грозящий непредсказуемыми опасностями самолет, аэродром в Дубае по его распоряжению заблокирован, лайнеру удастся сесть только лишь потому, что один из служащих аэропорта на свой страх и риск убирает препятствие с посадочной полосы. Опять начинаются долгие и сложные переговоры. Министр обороны Дубая приезжает в аэропорт и просит Капитана Махмуда освободить хотя бы женщин, детей и больных. Однако Капитан Махмуд непреклонен. Никаких компромиссов не будет, категорически заявляет он. Более того, Капитан угрожает, что если требования его не будут выполнены в назначенный срок, то он начнет убивать по заложнику каждые пять минут. В результате самолет опять заправляют, и он перелетает уже в аденский аэропорт. Здесь лайнер находится сутки, окруженный йеменскими солдатами, которые, как представляется, готовы открыть огонь. Обстановка на борту самолета ужасная. Заложники привязаны к креслам, на стенах салона размещена пластиковая взрывчатка. Узнав, что среди пассажиров есть несколько израильтян, Капитан Махмуд избивает одного из них (женщину), а потом обещает, что завтра их всех убьет. По его требованию пассажиры отправляют послание Гельмуту Шмидту, канцлеру ФРГ, оно написано на открытке с изображением самолета и гласит: «Мы отдаем свои жизни в ваши руки и умоляем вас спасти нас всех». А чтобы подкрепить данное послание аргументами, Капитан Махмуд убивает пилота Юргена Шуманна, которого еще раньше заподозрил в предательстве. Шуманн единственный, кто на стоянках покидал самолет, чтобы, как ему полагается, проследить за заправкой, и действительно, несмотря на строжайший запрет, передал местным властям информацию о численности и вооружении террористов. Наконец лайнер перелетает в аэропорт Могадишо. Здесь Капитан Махмуд заявляет, что никаких переговоров больше не будет. Все, это предел — до тех пор пока немецкие заключенные, их соратники по борьбе, не будут освобождены. И в завершение добавляет: «Больше нам не нужна еда. Срок нашего ультиматума истекает через три часа. После этого все будут или свободны, или мертвы». А в подтверждение своих слов террористы выбрасывают на взлетную полосу тело пилота Шуманна.

Все это, как лавина, обрушивается на правительство ФРГ. Проблема освобождения Шляйера тут же отодвигается на задний план. На авансцену

выходит другой вопрос: что делать с «Ландсхутом»? Дебаты в Кризисном комитете достигают немыслимого накала. В ночь с 14 на 15 октября они длятся без перерыва с вечера до пяти утра, а потом — с небольшими промежутками — весь следующий день. На правительство давят со всех сторон. Давят промышленные круги Германии: судьба Шляйера — это в какой-то мере их собственная судьба. Давят похитители Шляйера, которые сообщают, что группа, удерживающая «Ландсхут», находится под их контролем. Давит правая пресса, публикующая истерические письма «простых немцев», требующих публично казнить арестованных членов РАФ. В стране внезапно воцаряется атмосфера средневековой охоты на ведьм. За информацию, которая приведет к аресту кого-либо из террористов, объявлена премия в 800 тысяч дойчмарок. Сообщения поступают тысячами, их все необходимо проверить. В одной только области Северный Рейн — Вестфалия за сутки арестовано по подозрению более 80 человек. Потом их всех приходится отпустить. По количеству полицейских и военных на улицах Западная Германия напоминает оккупированную страну. Верят самым фантастическим слухам. На полном серьезе воспринимается заметка одной из газет, что, дескать, «Красная Армия» завладела атомной бомбой, которую угрожает взорвать в ближайшие дни. Нервы у всех на пределе, сознание не выдерживает потока сокрушительных новостей. Кажется, что сейчас немцы просто сойдут с ума и, не разбираясь, кто виноват, кто прав, начнут убивать друг друга.

Самое же неприятное для немецких властей заключается в том, что захват «Ландсхута» превратился в грандиозное реалити-шоу. Толпы журналистов, включая радио и телевидение, следуют за самолетом из страны в страну, и комментарии их, зачастую совершенно безумные, тут же безо всяких ограничений транслируются на весь мир. В ситуации, где требуется трезвый и холодный расчет, преобладают паника и взрывные эмоции.

Колоссальное впечатление на западногерманское общество производит обращение стюардессы Габи Дильман, переданное из захваченного лайнера 17 октября. Габи говорит: «Мы знаем, что это конец. Мы знаем, что мы все скоро умрем. Нам будет очень тяжело, но мы постараемся сделать это с достоинством. Мы все слишком молоды, чтобы умирать, даже старики... Мы только надеемся, что это будет быстро и не очень больно. Но может быть, лучше действительно умереть, чем жить в мире, где возможно нечто подобное. В мире, где важнее оставить в тюрьме несколько человек, чем спасти девяносто одну жизнь... Пожалуйста, передайте моей семье... Пожалуйста, передайте моему другу... что я его очень любила... Я не думала, что существуют такие люди, как те, что входят в наше правительство, это они будут нести ответственность за нашу смерть. Я надеюсь, их совесть позволит им жить дальше»...

Это абсолютный тупик. Если будет еще один неудачный штурм, правительству ФРГ — конец. Ему не простят, что ради задержания считанного числа террористов оно пожертвовало жизнями почти сотни невиновных людей. С другой стороны, если в обмен на заложников освободить арестованных членов РАФ, это будет выглядеть как позорная капитуляция. Это будет признанием собственного бессилия: гражданскую войну, которую уже считали оконченной, придется начать с нуля. Более того, поднимется новая мощная террористическая волна — в «Красную Армию» хлынут сотни бойцов, вдохновленных этой победой.

В правящих кругах ФРГ начинают осознавать, что пока лидеры РАФ живы,

покоя в стране не будет. Узники Штаммхайма стали легендой, ярким символом революции, притягивающим к себе тысячи глаз. Само существование их, пусть даже в темных недрах тюрьмы, является непрерывной угрозой для государства. И потому не вызывает особого удивления документ, опубликованный именно в эти напряженные дни. Врачебная комиссия, обследовавшая заключенных тюрьмы Штаммхайм, пришла к выводу, что Ян-Карл Распе находится в состоянии сильнейшей депрессии, не исключающей суицид. В таком же состоянии, как полагают врачи, находятся и остальные пленники РАФ. Это заключение вызывает резкий протест у Штаммхаймской группы. Андреас Баадер немедленно печатает опровержение: «Если суммировать все те меры, которые были приняты по отношению к нам за последние шесть недель, то можно сделать единственный вывод: администрация тюрьмы хочет спровоцировать нас на совершение самоубийства. Или хотя бы сделать наше самоубийство правдоподобным. Я заявляю, что ни у кого из нас нет никакого желания убить себя. Если же, говоря официальным языком, мы будем "найденны мертвыми", значит, мы были убиты в лучших традициях юридических и политических мер, которые применялись к нам все это время».

Весомость данного заявления станет ясной уже через несколько дней. А пока Кризисный комитет, раздираемый противоречиями, все же приходит к единому мнению, которое можно сформулировать так. Капитулировать перед террористами невозможно, следует попытаться освободить заложников вооруженным путем. Пусть даже риск этой акции чрезвычайно велик. Тем более что соответствующая подготовка уже произведена. С самого начала за захваченным «Ландсхутом» тенью, держась за пределами видимости, следует другой самолет, на борту которого находятся тридцать коммандос из подразделения ГСГ-9. Штурм предполагался еще в Дубае, но правительство Дубая, карликового эмирата, разрешения на операцию не дает. Зато под сильным международным давлением его дает президент Сомали Сиад Барре. Самолет со спецназом под прикрытием темноты тоже приземляется в Могадишо.

Ситуация в самом «Ландсхуте» — на грани трагедии. Капитан Махмуд понимает, что его водят за нос и назначает крайний срок ультиматума на 15 часов по немецкому времени. Правительство Сомали предлагает террористам убежище: их не выдадут ФРГ, если, конечно, они отпустят заложников. Капитан Махмуд отвечает, что это ничего не меняет: «Мы взорвем самолет, как только истечет срок ультиматума. Это произойдет через тридцать четыре минуты... Если вы окажетесь в это время где-то неподалеку, то увидите, как самолет разлетится на сотни кусков»... С громадным трудом, гарантируя, что заключенные Штаммхайма уже освобождены, что все в порядке, и что скоро они прибудут сюда, удается убедить его продлить срок ультиматума до часа ночи. Спецназ начинает осторожное продвижение к самолету, в то время как представитель правительства ФРГ отвлекает Капитана Махмуда рассказом о том, как штаммхаймские узники специальным рейсом летят в Сомали. Как ни странно, Капитан Махмуд этому верит, хотя мог бы потребовать подтверждения данных сведений от самих лидеров РАФ. Видимо, в сознании террористов тоже царит сумбур. Вместо этого он заявляет, что «дальнейшие переговоры будут вестись вместе с нашими немецкими товарищами».

Это последние в его жизни слова. Рядом с кабиной пилота взрываются два магниевых пакета, которые оглушают и ослепляют тех, кто внутри. Пока

действует эффект взрыва (это, по расчетам специалистов, пять-шесть секунд), полковник Вегенер успевает вскрыть переднюю дверь. Одновременно спецназовцы врываются внутрь самолета — и через аварийный выход, и через заднюю дверь. Сначала они стреляют холостыми патронами, чтобы заложники успели спрятаться под защиту кресел, затем в дело идут боевые. Двое террористов убиты сразу же, третий (женщина) ранен и остается в живых. Капитан Махмуд убит в кабине пилота. Пластическая взрывчатка грохочет, но практически не причиняет вреда. Легкое ранение получает лишь стюардесса Габи Дильман, и это все. Через шесть минут операция успешно завершена, подгоняют лестницы, пассажиров выводят из самолета. Министр иностранных дел ФРГ Ганс-Юрген Вишневски, присутствовавший при акции с начала и до конца, отправляет успокоительное сообщение в Бонн: «Дело сделано»...

Между тем странные события разыгрываются этой же ночью в тюрьме Штаммхайм. В одиннадцать вечера охранники запирают камеры на седьмом этаже и дежурный делает в журнале последнюю запись о том, что Баадеру и Распе даны лекарства. «Никаких происшествий», констатирует он. А утром выясняется, что трое заключенных мертвы.

Официальная реконструкция событий выглядит так. После полуночи Ян-Карл Распе слышит по приемнику, который кто-то нелегально ему передал, сообщение из Могадисхо о том, что террористы убиты, а заложники «Ландсхута» освобождены. По тайному интеркому, использующему проложенные между камерами электрические провода, он передает это сообщение остальным. В результате короткого совещания принимается решение о коллективном самоубийстве лидеров РАФ. Находящийся в камере 719 Андреас Баадер достает хранившийся в тайнике пистолет, делает несколько выстрелов, разбрасывает вокруг гильзы, чтобы создавать видимость ожесточенной борьбы, а потом приставляет пистолет к затылку и нажимает на спусковой крючок. В это же время в камере 716 Ян-Карл Распе тоже вытаскивает из-за плинтуса спрятанный пистолет и стреляет себе в висок. В камере 720 Гудрун Энсслин выдирает электрический шнур из проигрывателя, привязывает его к решетке окна и просовывает голову в петлю. В камере 725 Ирмагд Меллер, которую тоже теперь содержат на седьмом этаже, четыре раза ударяет себя в грудь украденным столовым ножом. Она единственная, кто остается в живых. Считается, что это был акт отчаяния. Узники Штаммхайма решили покончить самоубийством, когда рухнула последняя надежда на освобождение. Канцлер Шмидт делает заявление: «Трое умерших дополнили собой длинный список напрасных жертв... Господство террора еще не окончено... Однако волю германского народа никому не сломить, террористы будут побеждены»...

Правда, официальной версии о самоубийстве мало кто верит. А кто верит выводам комиссии Уоррена, расследовавшей убийство президента США Дж. Ф. Кеннеди? Это насчет того, что покушение без какой-либо помощи со стороны совершил Ли Харви Освальд. А кто верит, что убийство Мартина Лютера Кинга совершил не имевший соратников Джеймс Эйл Рей? Вам сказали, что это был террорист-одиночка? Вам объяснили, что не было никаких заговоров, никаких тайных организаций, никаких действий спецслужб? Все, пейте пепси и ешьте гамбургеры. Единственная проблема, которая вас может тревожить — избыточный вес.

Это, разумеется, полная ерунда, что правительства, называющие себя демократическими, не имеют никаких дурно пахнущих тайн, что они абсолютно прозрачны, абсолютно честны и готовы каждое свое действие представить на суд избирателей. Это сказка для дураков. Власть есть власть, и пока она будет существовать, у нее всегда будут скрытые ото всех, кротовые норы. Иногда такую земляную нору удастся разрыть; прессе, в основном поддерживаемой оппозицией, удастся выворотить наружу куски отвратительного дерьма. Тогда возникает колоссальный скандал. Никсону после Уотергейта пришлось уйти. На Клинтона из-за его Моника вылиты были ушаты грязи. Однако это исключения, а не правила. Большинство «кротовых ходов» так и остается скрытым от наших глаз. Все, что мы можем — это ставить вопросы и надеяться, что когда-нибудь на них будет получен ответ.

О самоубийстве в тюрьме Штаммхайм неприятные вопросы возникают мгновенно. Левая пресса тут же начинает интересоваться, как вообще могли попасть пистолеты в одну из самых охраняемых тюрем Германии? Кто и каким образом мог их пронести? Где заключенные, непрерывно находящиеся на виду, могли их хранить? Ответы полиции, что пистолеты были спрятаны в стенных тайниках, ничего, кроме усмешки, не вызывают. Как можно продолбить стену, основу которой составляет сверхпрочный бетон? Чем продолбить — авторучками, карандашами? И почему охранники не обнаружили тайники, если камеры регулярно обыскивались, иногда даже по два раза в день? Далее, что это за «интерком», проложенный по электрическим проводам? Теоретически это возможно, но требует некоторых специальных технических средств. Где заключенные могли их достать? Как мог Баадер завести руку назад и выстрелить себе в затылок с расстояния сорока сантиметров? Человеку так руку не повернуть. Почему в случае с Гудрун Энслин не был проведен известный гистаминовый тест, который позволяет определить — был человек, повисший в петле, жив или уже мертв? Кстати, гистаминовый тест не был проведен и после «самоубийства» Ульрики Майнхоф. Почему не нашли предсмертных записок? Все-таки лидеры РАФ должны были осознавать, что их самоубийство — это политический акт и его следует соответствующим образом объяснить. Как самоубийство согласуется с недавним заключением Андреаса Баадера, «что ни у кого из нас нет никакого желания убить себя»? И наконец, как могла Ирмгард Меллер нанести себе четыре опасных удара в грудь сделанным из мягкого сплава тупым столовым ножом да еще с закругленным концом?

Впрочем, насчет Ирмгард Меллер случай особый. Единственная оставшаяся в живых участница «коллективного самоубийства» пыталась зафиксировать свои показания, как только пришла в себя. Однако тогда эти свидетельства не были учтены. Лишь в 1992 году, уже незадолго до освобождения из тюрьмы, она дала интервью журналу «Шпигель», которое освещает события той загадочной ночи совсем с другой стороны. По словам Меллер, сразу после одиннадцати часов она легла спать, но «проснулась от странного шума, который так и не смогла распознать. Шум был достаточно сильным. На выстрел он не был похож, скорее напоминал падение шкафа или что-то типа того. Затем у меня вдруг потемнело в глазах, и я очнулась уже лежащей на полу в коридоре, вокруг меня стояли какие-то люди и проверяли мои зрачки. Затем я услышала чей-то голос: "Баадер и Энслин мертвы". Потом опять все померкло». Очнулась она через три дня в

реанимации тюремной больницы. На свободу вышла лишь в середине 1990-х годов.

«Пять лет подряд я занимаюсь этой темой, — скажет в 1980-х годах Кристиана Энслин, сестра Гудрун, — но до сих пор не представляю, что тогда произошло... Я хотела бы знать. Но я не знаю»...

Вопросов, связанных с этими загадочными самоубийствами, множество. Однако задавать их в раскаленной атмосфере тех дней просто опасно. Клаус Круассон, адвокат обвиняемых на Большом процессе РАФ, собирает громадный материал, свидетельствующий о том, что это было убийство, а не самоубийство. Круассона немедленно обвиняют в пособничестве террористам. Он бежит во Францию, где публикует новые факты, но длинные руки западногерманских спецслужб достают его и в этой стране: Круассон как уголовный преступник выдан властям ФРГ и осужден за «принадлежность к террористической организации». Генриха Белля, нобелевского лауреата, обвинить по такой статье, конечно, нельзя, но стоит ему высказать в печати сомнения по поводу официальной версии, как на него обрушиваются потоки ненависти и клеветы. Шпрингеровская газета «Бильд», например, без стеснения сравнивает Белля с Геббельсом, и в одной из статей пишет, что «Белль опаснее, чем Баадер и Майнхоф». Вспомним, что примерно в таком же тоне истеричная «Бильд» писала о Руди Дучке.

Даже церковь, как и в случае с Ульрикой Майнхоф, не рассматривает «штаммхаймскую тройку» в качестве самоубийц. Их разрешают похоронить в церковной, освященной земле. Епископ Вюртембергский, когда к нему обращается пресса, отказывается комментировать это решение, ссылаясь на тайну исповеди. Значит, какие-то неизвестные факты обо всей этой истории есть.

Смерть в Штаммхайме вызывает невиданную волну протестов по всей Европе. В Риме марш молодежи на посольство Федеративной Германии превращается в настоящую битву, длящуюся несколько часов. Ранены четверо полицейских, арестованы двадцать пять демонстрантов. В Италии, где находится на подъеме деятельность «Красных бригад», происходит более двадцати взрывов на предприятиях, принадлежащих западным немцам. Во Франции, в свою очередь, сожжены два немецких автосалона и множество автомобилей западногерманских фирм. В Лиможе уничтожена станция техобслуживания «Мерседес-Бенц» — на единственной уцелевшей стене кровавыми буквами начертано слово «Возмездие». В Тулузе разрушен немецкий бумагоделательный комбинат. В Версале на фабрике, принадлежащей немецкой фирме, гремит мощный взрыв. В Греции «герильерос» пытаются подорвать крупное немецкое предприятие, расположенное в предместье Афин. В перестрелке с ними двое полицейских получают ранения.

В тот же день приходит известие, что тело Ганса-Мартина Шляйера обнаружено в «Ауди-100» зеленого цвета, припаркованной около магазина в Мюлузе неподалеку от франко-германской границы. Расследование показывает, что Шляйер был убит где-то в лесу.

«Коммандо Зигфрида Хауснера» (подразделение РАФ) печатает заявление:

«Мы вовсе не удивлены фашистской драмой, организованной империалистами, желающими уничтожить освободительное движение. Мы никогда не простим канцлеру Шмидту и поддерживающим его буржуазным кругам кровь наших товарищей. Борьба только началась»...

Эта декларация не остается лишь на словах. Напрасно правительство ФРГ надеялось, что со смертью в Штаммхайме лидеров первого поколения РАФ гражданская война будет завершена. Знамя подхватывает второе, а затем третье поколение «Красной Армии». На смену арестованным или погибшим бойцам «городской герильи» приходит новая и новая молодежь.

Более двадцати лет длится изнурительное противостояние. Более двадцати лет гремят взрывы, звучат выстрелы, горят здания, выпускаются пламенные воззвания, идут политические процессы, объявляются голодовки, происходят налеты и грабежи, совершаются самоубийства.

Вот краткая хроника этой вооруженной борьбы.

В 1979 г. совершено покушение на главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Александра Хейга. В 1981 г. — покушение на командующего вооруженными силами США в Европе генерала Фредерика Крейзена. В том же 1981 году убит министр экономики федеральной земли Гессен — Хайн-Херберт Карри, гремит взрыв на базе ВВС США в Рамштайне, ранения получают 18 солдат. 1984 год: попытка подрыва школы для офицеров НАТО в Оберанерграу. 1985 год: на американской базе во Франкфурте взорван начиненный взрывчаткой автомобиль, двое военнослужащих гибнут, ранено более тридцати. В том же 1985 году под Мюнхеном убит председатель правления концерна МТУ («Моторен унд турбинен унъон») Эрнст Циммерман. В 1986 году в пригороде Бонна застрелен руководитель политического департамента МИД ФРГ Герольд фон Браунмаль. В том же 1986 году убит член правления концерна «Симменс» Карл Хайнц Бекуртс. В 1989 году убит глава «Дойче банка» Альфред Херрхаузен. В 1990 году совершено покушение на статс-секретаря МИД ФРГ Ганса Нойзеля. В 1991 году на окраине Дюссельдорфа застрелен председатель берлинского Попечительского совета Детлеф Роведдерт.

Причем теперь «Красная Армия» не одинока. В Италии расширяется борьба «Красных бригад», кульминацией которой становится похищение и убийство в 1978 году бывшего премьер-министра Альдо Моро. Во Франции возникает «Аксон Директ», которое начинает с того, что обстреливает из пулеметов Государственный профсоюз французских предпринимателей, далее следуют взрыв в аэропорту Орли (восемь человек получили ранения), убийство генерала Рене Одрана и топ-менеджера французской компании по торговле оружием. Совершают несколько громких акций «Борющиеся революционные ячейки» Бельгии, приводя в панику и смятение всю страну. Продолжает боевые действия «Японская Красная Армия» и будет вести их тоже более двадцати лет. Одновременно гремят акции португальских «Народных сил 25 апреля» и греческой организации «17 ноября». РАФ обретает союзников и в самой Западной Германии. «Революционные ячейки» проводят атаку на представительство американской корпорации ИТТ в ФРГ, поскольку она замешана в подготовке путча против Сальвадора Альенде, а позже взрывают бомбу в здании Федерального Конституционного суда в Карлсруэ. Берлинская организация «Класс против класса» совершает в это время более пятидесяти поджогов и шесть взрывов. Группа «К.О.М.І.Т.Е.Е.» в 1994 г. поджигает корпус контрактной воинской части в Бад-Фрейенвальде. «Группа Барбары Кистлер»¹ в том же 1994 году взрывает бомбу в помещении штаб-квартиры ХДС.

¹ Барбара Анна Кистлер — швейцарка, сражавшаяся на стороне Рабоче-Крестьянской армии Турции против правительственных войск, одна из символических фигур европейского левого сопротивления.

Одно время кажется, что вся Европа — да что там Европа, весь мир — охвачен революционным сопротивлением. Дымится почва, до самого неба всплескиваются порывы огня. И все же на исходе XX века становится очевидным, что террористическая волна явно идет на спад. Связано это во многом с тем, что в начале 1990-х годов распался Советский Союз. Коммунизм оказался дискредитированным. Исчезла мировоззренческая альтернатива миру капитализма. Говоря иными словами: разрушить старое общество можно, но что вместо него предложить? «Сообщество свободных коммун»? «Экономический коллективизм»? «Конфедерацию гражданских кластеров», в которых по типу Швейцарии доминировать будет самоуправление на местах? Это пока чисто умозрительные концепты.

К тому же Система, как ее называли лидеры первого поколения РАФ, тоже сделала выводы из этой двадцатилетней войны. Заметно укрепились ее защита. Многократно возросла ее полицейская мощь. Если в начале 1970-х годов вездесущность государства-левиафана была в значительной мере мифом, то теперь, когда дым сражений рассеялся, оказалось, что этот миф полностью воплотился в реальность. Сканеры на вокзалах и в аэропортах, камеры видеозаписи на улицах, в учреждениях и подъездах, новое снаряжение для полиции, в котором она выглядит наподобие марсиан, создание электронных баз данных на миллионы граждан, просвечивание их переписки, расходов, перемещений, занятий, вкусов, интимных пристрастий, кредитных и медицинских карт. Регистрируется чуть ли не каждый вздох, чуть ли не каждая мысль, мелькнувшая в подсознании. А это, в свою очередь, закладывает основу контекстных манипуляций: ощущая себя свободным, человек покорно идет туда, куда его незримо ведут. «Самое холодное из чудовищ» превращает его в управляемый манекен. Да и так ли уж нужна нам свобода? Разве мы готовы платить за нее ту цену, с которой она неизменно сопряжена? Не проще ли обменять ее на вкусный и сытный социальный паек? Не разумней ли быть, «как все», чем пытаться отстаивать принципы личного человеческого достоинства?

К счастью, «все» — это еще не все. Мир, разумеется, изменился, но проблемы, раздирающие его, остались прежними. Цена свободы никогда не бывает слишком высокой, и всегда будут рождаться люди, готовые платить за нее. Тьма истории не способна их поглотить. Свет погасшей свечи продолжает светить — как свет давно умерших звезд. С чудной легкостью преодолевает он пространства беспмятной пустоты и воспламеняет собой души тех, кто готов видеть его.

Ничто на земле не проходит бесследно.

Слова, сказанные однажды, продолжают звучать.

К ним вновь прислушиваются миллионы людей.

И начинают трепетать их сердца.

Дайте миру еще один шанс!..

Благодарности:

Автор благодарен исследователям истории РАФ — Александру Брассу, Сергею Сумленному, Александру Тарасову, Тому Вэйгу и многим другим, чьи материалы, опубликованные в различных изданиях, помогли при написании этого произведения.

Александр Зорин

Над путеводным домом

Страна забвения

Беспамятство не умаляет роста.
Тучнеют травы, стелется ковыль.
Питают почву пепел Холокоста,
Кровь мучеников и, со знаком ГОСТа,
Продукт ГУЛАГа, лагерная пыль.

Там, где землёй едва прикрыты кости,
Образовалось скопище древес.
На неоглядном, на родном погосте
Гундит и пляшет Берендеев лес.
Идёт лавиной девственная флора
И фауна туда ж, в одном строю.
И нет меж ними вечного раздора.
Все веселы и сыты, как в раю.

Не счесть побед в отечественных дебрях.
Кликуши, присягая сатане
Усатому, красуются на вепрях.
А он, усатый, снова на коне.

Где лиственное облако клубится
Во мгле и ветви хлещут по глазам,
Там под корнями пепел шевелится
И дышит кровь, взывая к небесам.

* * *

Ель нагая иголки сбросила
По весне. Крупношёрстный, густой
Гибнет лес возле нашего озера.
Пол-России сожрал сухостой.

Зорин Александр Иванович — поэт, прозаик, публицист. Родился в 1941 г. в Москве. Окончил геологический техникум и Литинститут (1978). Участник объединения духовных поэтов «Имени Твоему» (с 1988). Автор 9 книг стихов, воспоминаний об о.Александре Мене «Ангел-чернорабочий» (М., 1993, 2004) и др. Живет в Москве.

Тут, однако, вопрос: кто кого ещё?
Кто кому изгрызает хребет?..
Не сама ли себе?.. На побоище,
На пожарище нашем, на гноище
Вырос наших кровей короед.

Мы, конечно, ответчики грешные.
Чем больнее, тем слаще печаль.
Но, быть может, сквозь эти проплешины
Повиднее откроется даль...

Ишь как трудятся полчища каиновы..
Ствол облупленный гудом гудит.
Ночью угольной в эти прогалины
Изумлённое небо глядит.

Не спасает уже ни молебствие,
Ни суровая наша зима.
Может, правда, стихийное бедствие
Одолеет стихия сама...

Дом о.Александра Меня в Семхозе. 2013 год

Заря над батюшкиным домом
Роскошная... Шатром огромным
Раскинулась — из края в край.
Её чернит вороний грай,
Прокалывают пики елей.
Последних мартовских метелей
Смятение... Не зря возник
Её огнеподобный лик.

Заря над путеводным домом...
Он, выпотрошенный драконом,
Объят музейной тишиной
За крепостью сторожевой.

Дыханье хладное сдувает
С покатой крыши снежный дым.
Днесь небеса не оставляют
Его присутствием своим.

Вот и Меркурий, как подранок,
В лучах зари кровотоцит.
Предупредительный охранник
Мне двери дома отворит.

Наполнен тишиною кроткой
Пустой просторный кабинет.
И падает нездешний свет
В окно, что забрано решёткой.

* * *

В октябре смертоносные дни.
Дням рожденья, надеюсь, сродни.

Умер брат мой, отец... Да и мама
Начала уходить в октябре...
Отключаясь от мира, дремала,
Будто ниже и ниже к земле,
На одном опускалась крыле.

Нынче дивная осень щедра.
Уношу из лесного шатра
Чудотворные краску за краской.

Краснопёрый октябрь откружил
Надо мною... И я, старожил,
На него оглянулся с опаской.

* * *

Поэты молятся стихом

Нонна Слепакова

Там, где незримо клубится
 Пыль — каменеет в груди.
 Можно ли уединиться
 Площади посреди?

Неумолимая лопасть
 Гребёт погребальной волной.
 Многое кануло в пропасть —
 Всё, что не названо мной.

Вовсе не вражеской ратью
 Я отовсюду тесним.
 Но жажду свиданья с тетрадью.
 В ней же — единственно с Ним.

Вне животворного ритма
 Действую как-то, кручусь.
 Творчество это — молитва.
 Раз не пишу — не молюсь.

Памяти Григория Померанца

Бог поругаем не бывает.
 Мудрец, не расставаясь с Ним,
 Мытарства преодолевает,
 Китайской казнию казним.

Чеканный профиль иудейский,
 Чуть вскинутая голова.
 Ответствует улыбкой детской
 На хитроумные слова
 Взбесившегося оппонента,
 Напавшего на себя
 Роль русского интеллигента,
 Лоб троеперстием осеня.

Со временем тускнеет глянец
 Авторитета наверху.
 И кто из них образованец,
 Теперь уж ясно. Who is who...

Святых даров не причащался.
 Креста на шее не носил.
 На глубине своей общался
 С Творцом Вселенной, Богом сил.

И знал и чуял под собою
 Страну... Со страстию хмельною
 не прижимал её к груди.
 Не Русь
 Была его женою,
 Не Русь — а муза во плоти

Была наперсницей чудесной...
 Любовь, чем старе, тем верней.
 Их возносившая над бездной,
 Над бременем трудов и дней.

Владимир Лидский

Рассказы

Кости

Его изучали врачи и ученые, потому что в свои весьма преклонные годы он довольно сносно бегал на лыжах, по утрам в течение сорока минут делал зарядку и отжимался от пола не менее трех десятков раз, а главное, у него была приходящая подруга пятидесяти семи лет, симпатичная моложавая женщина, сладострастные крики которой сильно докучали соседям по ночам. Он и не выглядел так, как выглядят обычно древние старики; это был такой кряжистый дубок, намертво вросший корнями в грешную землю, сильный, мощный, закаленный ветрами и бурями. Среднего роста, плотный, сохранивший широкие могучие плечи и ясную осанку, с лицом хотя и испещренным глубокими морщинами, но чистым и мужественным, — в противовес тем стариковским лицам, которые с течением времени оплывают и становятся бабьими, — стоял он крепким осколком прошлого посреди безбрежного океана новой эпохи с ее войнами и конфликтами, санкциями всех против всех, кровью, жадностью и безумною тягою к деньгам — и в угрюмой ожесточенности смотрел: вот режут друг друга братья-славяне, вот арабы утюжат ракетами евреев, вот в московском метро с ревом несется в кровавую мясорубку сорвавшийся с цепи локомотив, а с неба над Украиной падает сбитый малайзийский «Боинг»... смотрел и вспоминал события чуть ли не столетней давности... девочка Ульяна, бредущая кромкою пыльного ржаного поля... а эта баба, которая приходит сейчас, ведь она только якорь, который еще удерживает его на этой земле, и сколько их было таких или похожих, а девочка Ульяна... девочка Ульяна — то было совсем другое дело, совсем другое дело... она стала первой буквой того алфавита, в конце которого оказались кости, почти столетние кости родного брата, не упокоенного, не успокоенного, не прощенного...

Он полез под кровать, достал запыленный чемодан и откинул его залубе-невшую за десятилетия крышку... пахнуло удушливой волной тлена, и тяжкие

Владимир Лидский (Михайлов Владимир Леонидович) родился в 1957 г. в Москве. Окончил ВГИК, сценарно-киноведческий факультет. Поэт, прозаик, драматург, историк кино. Автор романов «Русский садизм», «Избиение младенцев», двух сборников стихов и нескольких киноведческих книг. Лауреат премий «Вольный стрелок: Серебряная пуля» (США), «Арча», премии им. Алданова, финалист «Национального бестселлера», премии Андрея Белого, Волошинского конкурса (проза и драматургия), конкурсов «Баденвайлер» (Германия) и «Действующие лица» и др. Член Союза кинематографистов Кыргызской Республики. Живет в Бишкеке. В «ДН» публикуется впервые.

воспоминания неясными слоистыми тенями встали перед ним. В чемодане лежали кости и потемневший от времени череп с огромною дырою в затылочной части. Сто лет ненависти испепелили саму ненависть, упрятали в толще времени страх и боль... и должен ли ненавидеть тот, кто выжил? Пора, пора уже похоронить эти горестные кости, пусть брат уснет наконец в своей могиле и перестанет тревожить душу своего врага... Протереть, вынести и закопать в парке... совесть сильнее обиды и требует освободить неприкаянную душу брата. Он взял череп и провел большим пальцем по его правому виску. Раньше мучила ненависть, теперь — совесть. Может, и сам он подзадержался на этой земле потому лишь, что нужно было избыть эту муку, простить все... ну, хорошо, не простить, не простить, а хотя бы исполнить свою религиозную миссию: похоронить — вопреки всему — брата...

Все начиналось, как в сказке: было у отца два сына. Прохор Иваныч и Степан Иваныч. Их и в малолетстве так звали — с отчеством. Прохора Иваныча все знали как рассудительного и спокойного малого, а младший брат его Степан Иваныч, напротив, был взбалмошный и гневливый. Оба с пяти лет работали в хозяйстве отца Ивана Аникеича — на хуторе близ Туголуково Борисоглебского уезда — и к началу Великой войны превратились в статных, могучих парней, хотя и не сформировавшихся еще окончательно в силу своего довольно нежного возраста. В четырнадцатом году, наивно предрекая скорое окончание войны, отец недальновидно рассуждал, что семью, слава Богу, пронесло и братьев минует ратная судьба, но через три года, когда как раз подходил им призывной возраст, он уже сильно беспокоился и переживал за незакрытые фронты. К тому же и в губернии стало беспокойно, а в конце семнадцатого донеслась до хутора весть, что империя низвергнута и самодержавной власти более не существует. Отец хоть и был человеком грамотным, но не понял перемен, — побузят, дескать, говорил он, докель не успокоят, да и утихнут...

Прохор Иваныч протер череп брата влажною тряпчочкою и аккуратно поставил его на место, уместив рядом с другими лежащими тут же костями.

Умен был батюшка Иван Аникеич, думалось ему, но за рвением своим к плодородной земличке да за тщанием крестьянского труда не увидел он дьявольской сущности заразы, надвигающейся из столиц. И поверить не мог он в крушение самодержавия, ибо русский крестьянин всегда был фундаментом царской власти, ну, так вот же: фундамент цел и он, Иван Аникеич, работает на своем хуторе, как надысь, — пашет, сеет, жнет да обиходит скотинку, а ежели фундамент крепок, то куда ж деваться российскому колоссу? Так и пропустил батюшка все важные события, напрасно уповая на незыблемость власти и веры православной.

А потом и семья треснула пополам и начался бесконечный сезон раздоров и смертей.

Еще с отрочества братья Прохор Иваныч и Степан Иваныч женихались с Ульяной, хозяйской дочкою с соседнего заречного хутора. К пятнадцати годам своим налилась она свежим молодым соком, и поглядеть на нее приезжали молодые парни аж из самого Тамбова. Слухи о справной девке широко шли, да и недаром: было на что посмотреть в заречном хуторе. Эта юная стать, женская гибкость и вкрадчивая кошачья повадка, тонкая крестьянская красота и мягкость сдобной фигуры, — все в ее облике предвещало ей завидную судьбу, необычность пути... а глаза были у нее с томною поволокою и смотрела она так,

будто звала куда-то за собою — в темный лес, в душистое сено или в какое иное тайное пространство. И, глядя в эти глаза, еще мальчишкою, Прохор Иваныч пропадал навек, тонул в бездонной бирюзовой бездне, увлекаемый вглубь неведомым желанием, — неясный морок окутывал его, какой-то волшебный туман, словно попадал он в невидимые тенета, терял волю, возможность мыслить и анализировать, и весь во власти коварной бирюзы делал все, о чем она просила. Сердце замирало у Прохора Иваныча, когда он видел, как Ульяна медленно поворачивает свою аккуратно прибранную головку и смущенно опускает взгляд, как подрагивают ее густые, рождающие синеватые тени ресницы и уж совсем обмирал он, засматриваясь на ее пухлые, но крепкие ножки...

И однажды она позволила ему то, чего раньше никогда не позволяла. Втроем, прихватив Степана Иваныча, отправились они как-то по грибы в окрестный лесок, с час собирали по сырым балкам обильный урожай, а потом нарочно углубились в чащу и оставили Степана Иваныча одного, чтобы не мешал. Они долго шли, намереваясь уж точно оторваться от ненужного свидетеля; наконец на широкой солнечной поляне Прохор Иваныч уронил свое лукошко, — и грибы рассыпались по траве, — прислонил Ульяну к теплому стволу березы и, замирая, осторожно прикоснулся обеими руками к телу девушки. Она вздохнула судорожно и обняла его. Сердце Прохора Иваныча замерло и остановилось. На шее у нее билась голубая жилка, он осторожно приблизил лицо и поцеловал эту тоненькую нежную дорожку, почувствовав солоноватый вкус ее влажной кожи, а потом чуть отстранился и увидел жадные, горящие нетерпением полураскрытые губы, которые ждали его губ... Это был такой сладкий соблазн, который потом во всю жизнь свою не мог позабыть Прохор Иваныч.

И так с пятнадцати лет жались они по углам, да по сеновалам, дрожа от вожделения и страсти, вдыхая друг друга полной грудью и каждый раз заново умирая от нежности. Но только до сути своей женской не допускала она его, умоляя подождать до венца, и в последний год подумывал уже Прохор Иваныч, как подступиться к отцу да матушке за благословением на сватовство. Однако ж судьба не сулила сватовства.

Пришел возраст и Прохора Иваныча призвали. Почти год, до осени восемнадцатого, пропадал он на фронтах, и войне-то выходил уж срок, а он вот не дождался, да и дезертировал. Подался на родную Тамбовщину и, вернувшись к плетню отцова хуторка, узнал: Ульяна повенчалась с младшим братом и спрашивать же было бесполезно — как, отчего да в чем причина? Повенчалась, да и вся недолга. Может, любовь у них случилась, а может что еще, кто же знает... лишь один Господь... Плакал, метался Прохор Иваныч, хотел было в петлю, да образумился, стал работать, как прежде, на полях, а тут другая беда — пристрастился прикладываться к горькой и привык, а потом и каялся, укладывая дурную башку матушке в подол. Матушка Ефросинья Донатовна уж как жалела его и пыталась вразумить, да толку, — пил, безобразничал и все плакал в подол. Отбился от труда, стал бездельник и бирюк, уважение к старшим потерял, а брата возненавидел. Пришлось батюшке поучить старшенького хорошей ослопиной, — так угостил Иван Аникеич сынка от щедрот своих, что тот и имя свое забыл. А потом батюшка повелел ему жениться. «Можа, — сказал, — дурь-то через низа и выйдет...»

Нашли ему спокойную девку в соседнем сельце и скоренько обвенчали. Прохору-то Иванычу безразлично было, он и не противился. Но с женой, Маняшей, сжился, по привычке к ней да и полюбил, только тихо, спокойно, без обмирания... Берег жену, холил, работою не загружал, а горькую бросил как-то враз, батюшку чтобы не гневить.

Весной Маняша понесла, а после Рождества уж и разродилась. Малого Ваней назвали — в честь деда.

И все бы ничего, ведь плохой мир лучше доброй ссоры, — ужились сродственники да притерлись, — только мир вокруг покривился, скособочился. Стали приходиться пропахшие порохом и ржою военные, угрожать, требовать. Стали сводить скотину со двора, забирать зерно и продукты. И ведь не супостаты какие, а свои же родные русачки. Раз Иван Аникеич вздумал было возразить, так подскочил некий резвый в кожаной тужурке да как дал рукояткою револьвера по зубам! И посеял батюшка на дворе зубы свои, а всходов ждать не стал, — снарядил Степана Иваныча на тамбовский базар с продовольственной телегой, — избавиться хотел поскорее от добра.

А Прохор Иваныч тем временем слонялся по хутору без дела и забрел в избу, где мыла горницу простоволосая Ульяна. Подол ее длинной юбки был подоткнут в поясе, босые ноги крутились по мокрому полу, влажные волосы прилипли к щекам... она повернулась, слышав шаги вошедшего Прохора Иваныча, и взгляды их встретились. Он быстро подошел к ней, и она еще успела сказать: «Нет, Проща, нет...» Но он уже схватил ее и, пытаясь преодолеть сопротивление сильных, но скользких рук, стал целовать разгоряченное лицо... ногой она задела стоящее невдалеке ведро, оно упало и мутная вода полилась по горнице... он все искал ее губ, а она не давалась, крутила головой, и маленькая голубая жилка на ее шее панически билась и трепетала... он в ожесточении хватал ее запястья, но она выskalзывала, как большая сильная рыба выskalзывает из рук азартного рыбака, отталкивала его и выкручивала шею, пытаясь уйти от его алчных губ... наконец он поймал ее мучительно искривившийся рот и впился в ее губы в каком-то экстазе, почувствовав внизу живота требовательные толчки взбесившейся крови... но она вывернула правую руку и изо всех сил ударила его кулаком в лицо, он же только ожесточился еще больше и навалился на нее всем весом своего тела... она скользнула голыми ступнями по мокрым половицам и... оба они с грохотом рухнули на пол... Она все извивалась, пытаясь выбраться из-под него, а он уже рвал на ней одежду и отмахивался от ее рук в каком-то скотском озлоблении... рубашка на ней была крепка и не рвалась... тогда он захватил скрюченными пальцами набухшую водой юбку и задрал вверх, полностью закрыв мокрой тканью ее растрепанную голову... она сдавленно кричала, а он юбкой пытался заткнуть крики, еще сверху ткани закрывая ей рот пылающей ладонью... И когда он наконец овладел ею, она перестала противиться, обняла его одной рукою, а другой — скинула с лица грязную юбку и так, плача, оба они любили друг друга, потому что мир для них перестал существовать, и в эти мгновения забыли они о том, что есть на свете родители, Степан Иваныч, Маняша и злобные люди в пропахших порохом и ржою шинелях, и перестал вдруг дуть над российской Голгофой ледяной ветер истории, сметающий на своем пути города, села и крохотные фигурки беззащитных людишек...

А потом домой вернулся Степан Иваныч, разглядел лиловый глаз Прохора Иваныча и расцарапанную морду его, синяки и ссадины на жениных руках и

разбитые ее губы, схватил топор и с воем кинулся на брата. Прохор Иваныч ворошил сено на сеновале и так с вилами в руках стал против Степана Иваныча, не желая терпеть от него обиды. Пока тот махал своим оружием, пытаясь просунуться поближе, Прохор Иваныч двинул вилами и выбил топор у него из рук. «А ведь я тебе заколю, — тихо сказал он, — ей-богу, заколю...» Но тут же и бросил вилы, подошел к брату, а тот набросился на него с кулаками, и пришлось Прохору Иванычу усмирять его. Долго бил он брата железными кулаками, а брат держался, не хотел уступать, отвечал такими же железными кулаками, а потом извернулся, ухватил Прохора Иваныча за волосы и давай полировать ему лоб о стену! Долго бились они, пока матушка не услышала звуки бойни да не прибежала разнимать их. Уж какой силой нужно было обладать сухонькой Ефросинье Донатовне, чтобы растащить здоровенных бугаев, однако ж растащила и побежала за тряпками, — обмывать их окровавленные рожи. Братья лежали в разных углах сарайки и глухо матерились. «Ты не брат мене, — говорил Степан Иваныч, — ты сука подзаборная... нету нам таперь с тобой места у одной земле...» — «Энто ты сука подзаборная, — отвечал ему Прохор Иваныч, — а я человек... и не становися больше на моей пути... да бабу не тронь, слышь, што ли, она не увиновная... люди любят, а ты же ж поперек...»

Пока матушка бегала за тряпками, явился батюшка с семихвосткой и полил братьев нехорошими словами, а потом и угостил плеткою от всей души, разбив им свинцовыми шариками и без того покалеченные головы. Степан же Иваныч, выйдя с сеновала, поймал в подполе прятавшуюся там Ульяну, сбил с ног разбитым уже в кровь кулаком и долго еще учил ее уму-разуму. Потом вышел из подпола, прошел хутор наискосок, перелез через плетень на задах и... пропал.

Вернулся он месяца через два, да не один, а с отрядом корявых людей, одетых в пропахшие порохом и ржою шинели. Отряд привел с собой вереницу подвод; Степан Иваныч по-хозяйски распоряжался и, отодвинув в сторонку батюшку и матушку, а пуще всего — брата Прохора Иваныча, тыкал пальцем в схроны и хуторские закрома, — все, что не успел продать Иван Аникеич, мигом грузилось на подводы, а из сараек в гуще мата, собачьего лая и мычания коров выводили бунтующую скотину. Матушка Ефросинья Донатовна не сумела снести жалости к любимой телке да бросилась в защиту, а молоденький паренек из корявых людей угостил ее прикладом, — тут уж не стерпел обиды батюшка и попытался вырвать у него оружие, но старика сбили с ног и долго топтали сапогами, придерживая Прохора Иваныча.

Отправив подводы, Степан Иваныч не поторопился уйти, а прогулялся по двору, хозяйским взглядом оглядел разоренное гнездо и подошел к избитому отцу. «Вставайте, батюшка», — сказал он участливо и с заботой во взоре протянул руку. Но Иван Аникеич злобно оттолкнул сына и ткнул в него окровавленным перстом: «Проклинаю, иуда! Вот тебе мое благословение: гори вещно посреди геенны огненной и нехай кости твои не найдут упокоя у нашей горестной земле!» Степан Иваныч отшатнулся и попятился, лицо его сморщилось, приняв какое-то плаксивое выражение, он встал, ссутулился и вышел со двора...

Стали вскорости приезжать до хутора окрестные мужики из Каменки, Афанасьевки, Хитрово, Коптево да звать в лес, потому как житья не стало от комиссаров и нужно же было взять наконец обрезы в руки. Но Иван Аникеич лежал больной после побоев, а Прохор Иваныч надумал идти в город искать

пропитания для семьи, потому как до зернышка выгреб брат весь семейный продзапас. Ни мушной каши боле не видать, ни кокурок, ни картохи топтанной... пропадай таперь за грош...

Долго добывал Прохор Иваныч хлеба в Тамбове, а вернулся и не застал семью в целости: голод не тетка, и ушли ж в дубовую рощицу под православные кресты — матушка, Ульяна и маленький Ванятка.

Покумекали Иван Аникеич с Прохором Иванычем и решили достать с потайных мест ружьишки да тронуться в Афанасьевский лес, где по слухам давно уже собирались тамбовские крестьяне. Только не успели убраться: явился к ночи снова блудный сын, предатель и убийца, да с конвоем — пятеро или шестеро общим числом, все в горьком хмелю, видно кровь чью-то запивали... Нагрянули с тиха, — ни звука не услышали Иван Аникеич и Прохор Иваныч, да не успели ружьишки подобрать, — скрутили их лихие люди, батюшку бросили в сенцах, а Прохора Иваныча с Маняшей уволокли на двор, кинули в пыль и принялись терзать Маняшу, как голодные волки; разодрали на ней сарафан, рукояткою револьвера разбили голову, чтоб молчала и не крутилась... Прохор Иваныч выл от отчаяния и поносил бандитов последними словами, пока Степану Иванычу не пришлось в ум упразднить досаду, — подошедши к брату, ударил он его сапогом в лицо, мигом убрав докучные звуки, и тогда стало слышно прилежное сопение насильников.

Очнулся Прохор Иваныч от сильного жара, разлепил кое-как скованные запекшейся кровью веки и увидел: хутор пылает, как сухой стожок и пламя над ним гудит, словно дьявольская глотка... Подкатился он поближе к дому да и сунулся прямо в горящие головешки, чтобы сжечь на себе крепкую пеньку, — бился в огне и вопил от боли, пожег одежонку, но добился своего и, разоблачившись, ринулся к дверям. Адский смерч остановил его невдалеке от порога, опалил волосы и швырнул в лицо смрадные миазмы... он упал на колени и, простирая покрытые кровавыми пузырями руки, снова завыл, как может выть только человек, уже несущийся в бездонную пустоту смерти. «Батюшка, батюшка!» — выл он в отчаянии, но ответом ему был только гул огня да грохот рушащихся стропил...

Так остался он один на белом свете. Маняшу схоронил рядом с Ваняткой в дубовой роше за хутором, а батюшку и не сыскал, — взял только прах его, как пепелище остыло, да ссыпал в свободный от табаку кисет. Голову же пеплом посыпать ему и не пришлось, все волосы без того были в хлопьях сажи...

Через пару дней обрелся Прохор Иваныч уже в Афанасьевском лесу и заметил у многих лесных мужичков в поседевших до времени волосах такую же горькую сажу. А еще заметил он, что остервенение лесных обитателей дошло уже до последней степени и стало таким злобным, таким отчаянным, словно проживали они свой последний в этой жизни день и нужно же было успеть им напоследок настичь еще своего врага, вцепиться в его горло мертвой хваткой и не разжимать зубов пока он не издохнет, захлебнувшись наконец собственной кровью. Глаза их горели безумием мести, а руки судорожно сжимали новенькие винтовки, полученные от генерала Мамантова, захватившего при штурме Тамбова богатые склады Южфронта. За расстрелы заложников, сожженные деревни и разрушенные храмы, реквизиции и голод готовы были мужички на все и уготовлялись биться с врагом до края, до тех пор, пока не провалятся проклятые большевики в преисподнюю, откуда выползли, наученные чертом...

И не дрожали руки у Прохора Иваныча ничуть, когда он в бою выщелкивал врага своею трехлинейною винтовкою, хотя бы и зная, что возможно во вражеской цепи шагает сейчас даже какой-нибудь его знакомец, какой-нибудь там кум с соседнего хутора или из ближней деревеньки. Сколько их развелось по соседям — всяких комбедов, уполномоченных, совслужащих и красных милиционеров, в числе которых были, что уж греха таить, не только знакомцы, но и сродственники.

А Прохор Иваныч все мечтал выщелить в бою брата, посадить его уже на мушку да отправить на покаянную встречу с батюшкой, матушкой и всей погубленной фамилией, потому как не было больше сил терпеть огонь клоко-чущих в груди углей, которые жгли и жгли, не позволяя ни уснуть, ни забыться. На короткие только минуты отчаянная ярость и нечеловеческая злоба утишали эту невыносимую боль, — когда он лежал возле пулемета и крыл свинцом ненавистного врага... тогда ему казалось, что он сливается с раскаленным «максимом» и сам превращается в несокрушимое орудие возмездия... или когда в рукопашной он, как мясник на бойне, орудовал штыком, выкрамсывая налево и направо куски человеческого мяса...

Но потом, после боя, сидел он, пытаясь прийти в себя среди густой пахучей травы, и выскабливал ножом засохшую кровь из-под ободранных ногтей... сидел и мучительно размышлял о переметничестве брата, — как, как можно было стать ему на сторону дьявола, подняв оружие на собственный народ, на соседа, брата?

И немало еще крови повидал Прохор Иваныч на своей земличке, да и сам пролил... кто ж ее теперь, родимую, измерит? Всяко видел — и пожары, и разорванные надвое тела, и скорые суды, где невинных осуждали те, кто в иные времена были бездельники да бражники, видел стоящих у расстрельной стены заложников-подростков, кромешный ад авианалетов и перекошенные рожи отравленных ядовитыми газами товарищей... да и сам стоял одна на четвереньках, выхаркивая внутренности и не умея унять подневольные слезы, когда молодой самонадеянный выскочка Тухачевский обстреливал химическими бомбами окрестности селца Кипец...

И привела же судьба Прохору Иванычу встретиться с братом не в бою, не в схватке рукопашной, а возле могилки в дубовой роще, за мертвой гладью отцовского пепелища. Случилось ему как-то быть в родных краях и зашел он попроведать свою спящую семью, — глядь, а над черноземом Степан Иваныч на коленях да бормочет что-то... никак прощенья испрашивает, гадина! Подошел Прохор Иваныч, на ходу выстегивая маузер из кобуры, и сунул ствол ему в скулу: «Шо ж ты, братка, стоишь тут? Надысь энтих картинок здесь не случалось... А конь твой иде? Ты ж на коне, знать? Энто мы по грязе лопотками шлепаем, а увы-то, шай, не любия спроста?» — «Н-ну! — сказал Степан Иваныч. — Не замай!» — «А ты тадышний! — возразил Прохор Иваныч. — Хошь сказал бы мене: не вубивай, Проша, мол... Ну, шо ж... я тебе не жамки принес...» И ради убеждения ткнул вороненою мушкою ему в подглазье. Степан Иваныч раздраженно дернулся, и палец Прохора Иваныча сам собою скользнул и прижал курок. Грохнул выстрел... лицо Степана Иваныча отбросило назад и лоб обожгли пороховые крупинки, — пуля попала ему в глаз, выбив из затылка кусок черепной кости; он рухнул вбок и ткнулся щекою в могилу матери. «Будь ты проклят, собака!» — сказал в сердцах Прохор Иваныч и плюнул в сторону. Взяв

брата за шиворот, он поволок его прочь от могилок и швырнул на бесплодную огородную землю, где в иные времена растили картоху...

Бросив труп, Прохор Иваныч осмотрелся. «Шо ж, — сказал он сам в себе, — надоть иттить в Михеево, лопату шукать...»

С этого дня он перестал спать и не спал много-много лет. В стране закончилась Гражданская война, прошла коллективизация, были построены Беломорканал и Днепрогэс, снят фильм «Веселые ребята», а в Москве началось возведение первых павильонов ВДНХ... Тысячи крестьян, называвшихся бандитами, были убиты в боях, посажены в лагеря, сосланы, а их семьи полегли у забрызганных кровью стен под именованием — заложники, и ушли в жирный тамбовский чернозем грубой массой, навалом, оскорбительной бесформенной кучей... Сотни деревень сгорели, подожженные карателями Тухачевского, Уборевича, Котовского, и что же это было, когда брат резал брата и русский убивал русского?..

Все эти годы он не спал, потому что продолжала тлеть не смирившаяся с потерями душа, и болело сердце за родных и близких, оставленных в равнодушной земле под зелеными дубками.

Жил Прохор Иваныч в Инжавино, под Тамбовом, работал на элеваторе и, конечно, понимал, что надо бы переехать куда-то вглубь страны, а то не ровен час вылезет как-нибудь бочком его патристическое прошлое, да не умел покинуть родину и стыдно ему казалось бросить любимый пейзаж и одинокие кресты в том месте, где он столько любил и столько страдал. Такие, как он, еще оставались среди советских людей, и в прошлом были они *бандитами*, впрочем, и по сегодня звание эти никто не отменял и можно было за них получить на орехи, — надо ж было лишь таиться, если ты не хотел загреметь, и провозглашать на дружеских посиделках здравицы и тосты в честь товарища Сталина да любимой партии. Ну, а ненавидеть можно было и в себе, внутри своей души, которая ворочалась, чавкала и клекотала, не в силах сносить всю эту подлую мишуру. На работе он чуть забывался, а ночью никак нельзя было уйти или спрятаться от невыносимой тоски и бесконечной злобы, разрушавшей все чистое, светлое, что еще оставалось в нем. И поскольку он не спал, нужно ж было что-то делать, чтобы не сойти с ума в своей бездонной и бесконечной безысходности, и он делал, — вырезывал из липы маленьких солдатиков, стойких, честных, мужественных, накопив их тысячи и выставляя везде по всей своей маленькой клетушке. Руки его были заняты до самого рассвета, а мысли — свободны, и он думал: брат ли — корень моих бед или весь народ против одного меня? Ведь не может быть, чтоб народ был против своей части, своей плоти и своего продолжения... нет, нет... виноват брат и почему же он спокойно спит в своей могиле, а я тут мучаюсь, тоскую и хоть бы слезы мне послал Господь, так и нет — не дает такого искупления! Долго ль буду я идти по жизни, не умея плакать, а брат, — счастливо избежав мучений, уколов совести и смертного отчаяния — лежать в безмятежности небытия? Нет, нет, еще батюшка сказал: нехай кости твои не найдут покоя у нашей земле! Помню, помню я батюшкино назидание... и так размышляя, поехал Прохор Иваныч в воскресенье на заросшее бурьяном родное пепелище с лопатой, завернутой в чистую рогожку. Раньше-то у воскресенье ходили усей хфамилией у Горелое, у тамошнюю церковь, а то ездили даже и у Тамбов... кафедральный собор... счастье, а таперя шо? — субботники или домино у дворе...

И вот с трудом сыскал он место брата, ведь пепелище хутора и огороды давно уж безнадежно заросли бурьяном, — сыскал среди крапивы, лопухов да лебеды едва приметный бугорок с овальным камнем, наполовину вросшим в землю, вонзил лопату, углубился и вынул кости, бурые и влажные. Сложив их в холщевину, повез домой и избегал смотреть в глаза встречным милиционерам. Дома помыл кости в жестяном тазу, вытер насухо чистыми тряпицами, сложил в потертый фибровый чемодан, доставшийся ему еще от батюшки и хранивший до сих пор едва уловимый отцовский запах, и задвинул чемодан под кровать.

В этот вечер он неожиданно уснул и с трудом поднялся утром, почти проспав, потому что будильника отродясь не имел, а если бы имел, то ему и в голову не пришло бы заводить его. И так стало ему покойнее, что на работе днем он пару раз улыбнулся некрасивой учетчице, чем положительно изумил ее до крайности, стал как-то больше разговаривать с людьми и даже впоследствии несколько поправился, что было уж совсем немыслимо, так как во всю жизнь свою был он худощавым и поджарым. Правда, брат стал беспокоить, являясь по ночам, а то и днем в самое плохое время... явится эдак на профсоюзное собрание, станет рядом и нудит: шо ж ты, дескать, сотворил-то, братка? мне же невоготу таперя здесь — на уващем белом свете... а Прохору Иванычу и неудобно, думает, что его кто видит... ан нет, никто не видит да не замечает и только он, Прохор-то Иваныч допущен до этого странного общения... Так брат и докучал, придет и ноет, жалуясь на неудобства, а Прохору Иванычу и счастье, что брат мытарится, то тебе, дескать, наказание, ты ж сколько отдыхал у могиле? Нонче же помыкайся, не усе мне одному у тоске заплесневать...

Ну, и прошло еще сколько-то лет, наш советский народ снова что-то там построил, кого-то как бешеных собак пострелял, какие-то предрассудки преодолел и вдруг — война... Прохор Иваныч собрал манатки и пошел добровольцем, а на фронте, противоборствуя с врагом, все нет-нет да и вспоминал: как там брат, оставленный в пыльном чемодане под кроватью? как там плоть от плоти его? как там общая кровь наших убиенных родителей? И брат являлся ему в страшном чаду артобстрелов и среди пожарищ разрушенных городов — сначала под Смоленском и в осажденном Севастополе, потом в Сталинграде и на Курской дуге, потом в Югославии и потом уж в Праге. И нытьем своим не давал и не давал покоя, все причитал: маетно мне, мол, так маетно, что хоть у петлю, а как же мне у петлю, коли я давно уж помер? Отпусти, брат, похорони мене, не могу больше здесь, на энтой подлой земле... И Прохор Иваныч увещал его: как же я тебе похороню, — люди ходють, просят, мы их и хороним, так они ж у наличии! Ну? А тебе-то нет! Как же ж нам энтот перекося преодолеть? Жди, брат, как вернусь домой, так и поглядим...

Время быстро летит, и действительно вернулся Прохор Иваныч в свою комнатенку — с орденами да медалями. Вынул отцовский чемодан из-под кровати, открыл, достал братнины кости, подержал в руках бурый череп с огромною дырою на затылке... нет, брат Степан Иваныч, хошь и праздник нынче у нашей улице, а не видать тебе упокоения... поброди-ка еще да помучайся с мое...

А соседи стукнули, что демобилизованный солдат с кем-то разговаривает и тогда пришли, кто надо: сделали обыск, нашли кости под кроватью, почесали в раздумьи стриженные головы... Думают, что за комиссия? Предъявить-то вроде нечего... ну, плюнули брезгливо в чемодан с костями, забрали Прохора Иваныча

и говорят: ты, дескать, не отбrehивайся, паря, будто ты контуженный и сам с собою разговаривал... ведь ты не сам с собою разговаривал, а посредством волновой вибрации передавал своим заокеанским хозяевам секретные депеши и сведения, добытые на полях сражений, как-то: модификации наших танков и ракет, состояние и численность армий и фамилии военачальников, которые хотят воевать на стороне врага... Да увы с ума свихнулись, говорит им Прохор Иваныч, энто шо — мо-ди-фи-ка-ция? Ну, и дали ему червонец, че с ним сопли разводить? деревня же, как есть деревня... и остались кости снова беспризорными.

Пошел Прохор Иваныч по этапу в пермские лагеря известняки для родины кайлить, а в освободившейся его клетушке древний дед стал проживать. И поскольку лет дедку было уже много, а жизненного интересу — не было вообще, так он и под кровать, где стоял заветный чемодан, вовсе не заглядывал, потому пока не помер, Степан Иваныч так и пылился в темноте. И так совпало, что когда дедка вынесли вперед ногами, тут как раз вскорости и явился Прохор Иваныч в родную комнатенку. И прошло-то всего ничего, да вдруг бац! как снег на голову! Секретный доклад Хрущева на Двенадцатом съезде... И что, что секретный? Слухами земля полнится... Выходит, червончик-то зазря отсидел...

Что ж... плохое кончается, хорошее грядет: вдруг письмо, какой-то дальний сродственник сыскался, зовет в Москву, в новый район возле Измайловского парка, — вместе горе мыкать да старость коротать... Ну, поехал, чего ж не поехать, коли зовут... действительно, сродственник по матушкиной линии, какая-то седьмая вода на киселе... чемодан, знамо дело, — за собой: дорогие кости! и в новом месте тоже взял да и сунул под кровать. Приехал, прописался, все честь по чести, разве ж кто нынче упомнит, как под водительством самого Токмакова да братьев Антоновых в двадцать первом годе рубал большевичков? Опять же реабилитация поспела, — безвинно пострадавший как-никак... Милиционерам стал в глаза смотреть вовсе без боязни: заслуженный человек, социализм строил, по навету у лагерях гнил... попробуй тронь, — не те года! И братишка снова под кроватью, даром, что у Москве, как, мол, тебе, Степан Иваныч, у столице нашей родины таперь?

А родина снова что-то строит, вот Гагарина в космос запустила, вот целину решила распахать, а вот и Байкало-Амурская магистраль — нате вам! Жизнь бежит, старики тащатся к исходу, умер сродственник Прохора Иваныча и остался он один в московской квартирке возле Измайловского парка. Снова войны какие-то и опять брат режет брата, Союз трещит, чеченцы бузят... расстрел Белого дома, дальше совсем уже непонятные революции и потрясения, сотни тысяч мусульман, заполонивших площади перед московскими мечетями... что говорят, по телевизору понять уж вовсе невозможно... а может, старческое скудоумие пытается штурмовать измученную голову? Хотя здоровье и не убывает, несмотря на испытания, грех жаловаться... в такие-то годы бабу ублажать, да еще всякие там геронтологи изумляются, выпучив глаза... сколько же вы, Прохор, мол, Иванович, собираетесь прожить? Да усю увашу братию, доходяги, я переживу и будете меня на том свете еще не скоро хлебом-солью привечать! Вот только брат покоя не дает, уж и не уходит, напостоянно поселился — бродит по квартире, ноет, причитает, умоляет: отпусти! Нету мне покоя на энтой земле, похорони ж меня, наконец, по-христиански, я, мол, беду же притяну! Измучил Прохора Иваныча, измордовал — когда в могилке лежал, было плохо, а сейчас так и еще хуже! Засунуть его, скорей засунуть в землю,

невыносимо уже его соседство! Нельзя жить бок о бок с убийцей и предателем, пусть же идет, наконец, в ад!

Сидел Прохор Иванович перед телевизором, пытаясь понять, кто с кем и за что воюет — в страшном раздражении и беспокойстве, а тут еще брат трогал и хватал за плечо, пытаясь привлечь к себе внимание. Отпусти же, Прохор Иванович, отпусти ради Христа, хошь мольбу свою тебе скажу, да на колени стану, да у ножки поклонюсь? И хватъ рукою, хватъ — прямо до сердца доставал, только никак схватить не мог, и снова — хватъ! Долго терпел Прохор Иванович, — ну, што ли, у самом деле снести его поганые кости у парк... там не доходя до озера есть такая чаща, куда ни люди, ни собаки не заходят... узять лопату и зайти поглубже, раскопать там землю и... Он вгляделся в кости... они лежали, укрытые тонким слоем пыли... бедный, бедный брат, которому ад слаще маеты между небом и землей... Он взял кости обеими руками и выпрямился, повернувшись к телевизору. С минуту задумчиво смотрел, как чья-то артиллерия расстреливает какие-то дома, как женщина в разорванном халате бежит куда-то с перепуганной девчонкой... тут он увидел, как Степан Иванович потянулся к нему ссохшейся рукою, и рука мягко и плавно вошла ему в грудь... брат злобно ухмыльнулся, схватив вдруг самое сердце Прохора Ивановича... Прохор Иванович вскрикнул от боли и почувствовал, как призрак поприжал сердчишко, сладострастно сдавив его изо всех сил... Так он давил все сильнее и сильнее, вглядываясь с интересом в стекленеющие глаза брата... У Прохора Ивановича уже не доставало сил терпеть и он уронил кости, которые с грохотом посыпались на пол... потянулся, затрепетал и следом — рухнул сам...

Он лежал и смотрел на эти жалкие останки, столько лет не дававшие ему покоя, столько лет заедавшие его век и... плакал... Он подгрёб кости к груди, обнял их и почувствовал вдруг неизъяснимую свободу... плакал, плакал, захлебываясь, и слезы его капали на кости брата... он плакал спервоначалу потихоньку, а потом рыдания стали сотрясать его, и все, все стали вдруг перед его глазами — матушка, батюшка, Ульяна и Маняша, Ванятка и тысячи других замученных, расстрелянных, сожженных, втоптаных в землю чьей-то злою волею и не отмоленных... не отпетых... не прощенных... Он вздохнул глубоко, как будто бы хотел вместить в себя этот уходящий мир и, весь в слезах, не успев выдохнуть, — затих...

Заклинание боли

Антонина широко, по-былинному, развернулась, завела растопыренную пятерню чуть не за спину, словно призывая свое невидимое воинство в последнюю смертную атаку, и жახнула Серегу изо всех сил по морде. Тот взвыл, схватившись за вспыхнувшую щеку и пытаясь одновременно поймать свою убегающую из носа кровь, и прыгнул на жену, — как лев прыгает на убегающую антилопу. Под тяжестью его тела Антонина рухнула в междурядье грядок, круша своей могучей задницей помидорные кусты и давя созревающие помидоры. Серега в исступлении принялся рвать на ней одежду, а она уже покорно и с полной готовностью задрала в пасмурное небо свои толстые белые ноги с твердыми ступнями и залубеневшими пятками.

Сергея немного повозился и начал молотить. Утробными голосами они пели в унисон и через минуту собрали перед своим штaketником кучку доброжелательных зрителей, ближайших деревенских соседей, не скупившихся на советы и пожелания. Сергей старался, как молодой, и кровь из его разбитого носа капала на лицо Антонины. Зрители подначивали, но он не обращал на них внимания, старался не отвлекаться, чтобы не потерять нить. И так довольно долго они все пели да пели, и голоса их вскоре стали усталыми и хрипылыми... но ни один из них не хотел уступить. Они продолжали сражаться, и каждый думал о том, что партнер скоро устанет, не может не устать, и тогда можно будет праздновать победу. Это не выглядело любовной сценой, скорее — ожесточенным спором, яростной попыткой сторон доказать друг другу свое превосходство, свое главенство... и вот они уже были, продолжая барахтаться в стуженной вони погубленных ни за грош помидорных кустов, а к зрителям приходило понимание, что ничего особенного, из ряда вон выходящего им уже не увидать...

Я сидел на завалинке через дорогу, — возле теплой стены своего дома на противоположной стороне улицы, и расслабленно курил. Зрители не загораживали мне картину, так как дом Антонины и Сергея располагался на небольшой возвышенности, и через головы соседей я все видел как на сцене. Чувствовалось, что Сергей уже выбивается из сил, но вот Антонина, в последнюю минуту лишь тихонько поскуливая, вдруг снова обрела голос и затрубила, как пожарная сирена... следом не выдержал и Сергей, — их дуэт, слаженный и мощный, пронесся по вечерним улочкам деревни, напугал малолеток, позабавил взрослых и затих за дальними околицами в самом начале скошенного осеннего луга...

Антонина была главной местной достопримечательностью; когда-то, еще в глубокие советские времена, работала она директором большого универсама в соседнем областном городке. На жительство она в городок не перебиралась, обитала в своем сельском доме, доставшемся ей от родителей, а в универсамах каждое утро ездила на расхристанном «Урале» с люлькой. Кличка в деревне у нее была — Танкист, потому что, оседлывая своего железного коня, надевала она всегда на голову танкистский шлем, привезенный с войны ее отцом. Она подходила к мотоциклу, взметнув юбку, закидывала крепкую ногу и грузно опускалась в седло... да так, что машина жалобно ухала и вжималась в землю, принимая ее неподъемную тушу. У, это была баба! Дородная, высокого роста, с могучим торсом и необъятною грудью, с широченными бедрами, сводившими с ума всех окрестных мужиков, да с колдовскими зелеными глазами. Такая была в молодости зажигалка! Из-за нее дрались, уходили в запой и даже резали вены, а она никому в руки не давалась.

Пришло время — Антонина уехала в Москву, в Институт торговли, и уж как она там в столицах обреталась, одному черту ведомо, только вернулась через шесть лет с мужем, бывшим сокурсником, здоровенным парнем, под стать ей, — косая сажень в плечах, бугры мышц под шелковой тенниской да пудовые кулаки. А глаза у него были — как у теленка, огромные, карие, глубокие, опущенные мохнатыми ресницами, добрые-добрые... Родом он был с Дальнего Востока, звали его Павлом, а она ласково Павликом называла. И, кажется, не было у Антонины других родных и никого она, скорее всего, не любила в этой жизни кроме своего Павлика, который со временем стал заведующим местным сельпо, — по здешним меркам человеком значительным и влиятельным.

Антонина же по возвращении из Москвы устроилась на кассу в областной универсам и уже с тех пор каждое утро моталась на своем «Урале» в соседний городишко за двадцать километров. На работе быстро ее приметили и стали продвигать; она была умна, сметлива, расторопна, а главное, — в характере ее была такая властность, которая всегда бросается в глаза начальству, и начальство уж делает соответствующие выводы да кладет их на свои начальственные резоны. Прошло всего несколько лет, и она уж дослужилась до директора, причем и не служила вовсе, а как-то так сразу, будучи еще в простых кассиршах, взяла властный тон да быстро подчинила себе всех универсамских, включая даже и тех, кто был званием повыше. Ну, начальству что? — главное — порядок и чтобы воровали не шибко, а в Антонине чувствовались сила, кураж и твердое состояние духа, значит, — выводило начальство, — в этих крепких руках порядок будет удерживаться прочно и надежно. И вот подняли ее в директора, и людишки стали бояться нового генерала, да сильно, — оттого что старого вовсе не боялись, ведь то был маленький пьющий старичок, любивший похлопать молодых работниц по упругим выпуклостям нижнего этажа и более не желавший ничего, закрывавший глаза не только на мелкие недостатки, но даже и на рискованные махинации своего заместителя.

Став директором, Антонина быстро навела порядок в универсаме, и подчиненные, прежде глядевшие на нее с легкой наглечой, стали при встрече опускать глаза да жаться в смущении; пуще того, — научились лебезить и прибавили подобострастного ерея в свои еще недавно звонко звучащие голоса. Впрочем, и не одни только подчиненные ломали теперь перед нею шапку, — многие важные городские люди, включая даже кое-каких обкомовских и горсоветских, приходили нет-нет к ней на поклон — разжиться дефицитом да поюлить на будущее. А уж о своих, деревенских, и говорить нечего — просто в рот заглядывали, призывно улыбаясь и радостно помахивая хвостами.

И она все это приняла, как должное, — что ж не принять, коли сами стелятся? Да и полюбила свою роль истинной хозяйки положения, которая уж если скажет, так будьте любезны исполнять бегом, а ежели кто саботирует и бежит с лентой, тот другим разом и вообще будет снят с дистанции...

Вот стала она такой истинной хозяйкой и много лет тянула свою универсамскую лямку, как бурлак на Волге, и даже ребенка не родила, несмотря даже и на то, что любила своего Павлика больше жизни и мечтала, мечтала же подарить ему наследника. А Павлик... Павлик, надо признать, относился к ней с большою нежностью и лишь ему одному подчинялась ее гордая душа. Уж как Антонина тряслась над ним, и ревновала, и гоняла от него назойливых поклонниц, которыми он, кстати, и не думал пренебрегать; словом, это была настоящая любовь, хотя бы и омрачаемая время от времени отчаянными побоищами в подсобке сельпо, куда Павлик любил иной раз заманить какую-нибудь зазевавшуюся пейзажку. А вот Антонина никогда Павлику не изменяла, хотя могла бы, легко могла бы, при ее-то власти, при ее, можно сказать, всемогуществе и богатом телесном разнообразии. А что? И не последние люди подъезжали, — секретарь обкома, между прочим, недвусмысленно намекал, и директор треста столовых в декольте плотоядно заглядывал, а один раз приехал в областной городок передвижной цирк и с ним — мальчик-гимнаст двадцати двух лет, красивый, как ангелок... так хотелось Антонине прижать его к своей груди и баюкать, как младенца, расчесывать его золотые кудри, целовать его

чистый лобик... чудный был мальчик... чудный... летал в цирковом шатре на самой верхотуре и казалось ей, что за спиной у него радужные крылья, переливающиеся, словно самоцветные камни... он летал над зрителями с невесомой партнершей и выделял всякие воздушные трюки... волшебный, недостижимый... Антонина сидела в полотняном шатре цирка с Павликом — на лучших местах и, забыв про Павлика и свой универсам, мечтала только об одном — взять этого мальчика, обнять изо всех сил... изо всех сил... и не отпускать... Впрочем, все это были сказки, мечты, несбыточные грезы и не нужен был Антонине в самом деле этот загадочный летун, и уж тем более не нужны были директор треста столовых и даже секретарь обкома, потому что счастья своего бабьего хотела она только с Павликом и более ни с кем.

Только судьба наша делает иной раз такой хитрый изворот, такой непредсказуемый кульбит, который перечеркивает или, во всяком случае, меняет наше прошлое, которое видится с новых позиций уже совсем другим, — не таким однозначным и не таким безоблачным. Жизнь поворачивается как-то боком: мы и рады бы следовать раз и навсегда обретенной идее или любить раз и навсегда обретенного человека, но вот встречаем вдруг что-то не поддающееся осмыслению, — какой-то иррациональный образ, какой-то неправильной формы камень на дороге... спотыкаемся, падаем и, не в силах подняться, сетуем на судьбу, карму, рок или заговоренный волос...

Так случилось и с Антониной: черт понес ее в Сочи, на курорт — да одну, потому что Павлик месяца два уже ходил какой-то расслабленный, вялый, ничем не интересовался и ничего не хотел. Антонина и думала, что поедут они вместе в приморский санаторий и Павлик отвлечется от забот, подтянется да снова станет жизнерадостным и веселым. Но он благословил жену на приятный вояж, шутиливо наказал не заводить курортных романов и с легким сердцем остался на хозяйстве. И Антонина поехала.

И там, в этом приморском раю ждал ее банальный капкан... ну, уж не совсем банальный, если говорить по-честному, а такой... я бы, наверное, сказал — немного необычный. И его необычность заключалась как раз таки в обычности. Этот парадокс она и сама не могла осмыслить, — ни тогда, ни потом, — потому что отвергала же всю жизнь видных мужиков, богатых, красивых, наделенных властью, и даже о мальчишке-гимнасте только грезила, вовсе не желая его плоти, а тут как с цепи сорвалась да и пустилась во все тяжкие. Выбрала она себе в любовники маленького, тщедушного человечка, не имевшего ни стати, ни ума, ни истинного понятия о женщине, да к тому же и женатого, да к тому же и знакомого...

Этот Серега происходил из одной с ней деревеньки и жил через две улицы от нее. Дворовое прозвище его было — Шпендик, и по молодости лет очень он обижался на эту кличку, потому что ну какой человек может носить такое имя? Незначительный, серый, невзрачный, не имеющий никакого багажа, не отягощенный мыслительным процессом, словом, неприметный, легко теряющийся в толпе и вовсе неинтересный. Он и внешность имел самую заурядную, — лицо у него было... как бы скопческое, глазки невыразительные, голова маленькая и уже в те годы потерявшая значительную часть когда-то молодецкой шевелюры, а главное, — на губах его постоянно блуждала прозрачная улыбка, свойственная людям, может быть, в некоторой степени слабоумным или, к примеру, социально не устроенным, улыбка, сообщающая миру, что ее владелец обитает, —

причем уже давно, — не совсем здесь и не совсем сейчас. Тем не менее, он был вполне себе нормальный, заурядный такой мужичок, каких много обреталось в те годы на советской деревне. Мужик как мужик, — работающий, умелый, в меру пьющий и не в меру курящий, насквозь пропахший дешевой «Примой» и навек окрасивший свои пальцы светлой табачной охрой.

Суждения же Серега имел такие, какие и подростку не к лицу, и жил, несмотря на свои уже серьезные годы, в каком-то наивном юношеском мире, не понимая истинного назначения жизни. Настоящей его страстью была лишь рыбалка, и уж о ней он знал все, что только можно было знать такому узкому человеку, как он. Книг не читал и, я думаю, вряд ли слышал, — даже и окончив семь классов сельской школы, — о Достоевском, Чехове, Толстом... эти имена если и звучали когда-то в непосредственной близости от него, то, скорее всего, просто не достигали его ушей, ибо на уроках думал он обычно о чем-то своем, не особо вникая в слова учителей. Зато прочитывал от корки до корки выходивший ежемесячно с конца пятидесятых журнал «Рыбоводство и рыболовство», на который был подписан, и черпал в нем такие академические знания, которыми порой сильно удивлял своих дежурных собутыльников.

Жил Серега с женой, злой тощей бабой, измученной застарелой щитовидкой и пугавшей односельчан выпученными глазами и вечным раздражением в лице, и дочкой-школьницей, тихой миловидной девочкой. Эту дочку свою, Марусю, любил он какой-то болезненной любовью, — так, как любят единственное чахлое растение на пыльном подоконнике в суровом холостяцком доме, он ее просто обожал и трясся над ней, будто бы все враждебные вихри мира готовились обрушиться на ее хрупкую фигурку. Когда она делала уроки, сидя в горнице за обеденным столом, Серега тихонько подходил к ней, нежно клал свою заскорузлую рабочую ладонь на ее аккуратную головку и поглаживал жиденькие белесые волосы, расчесанные на прямой пробор. «Деточка моя... деточка моя», — приговаривал он, умильно улыбаясь, а ребенок, бросая домашнее задание, схватывал его резко пахнущую табакком, металлом и машинным маслом руку и прижимал к своим губам...

Работал Серега в том же областном городишке, что и Антонина, — токарем-расточником на заводе сельскохозяйственного машиностроения. Работал лет сто, еще с незапамятных времен, мальчишкой поступив в токарный цех завода по окончании ФЗУ. Будучи учеником, звезд с неба не хватал и по работе потом подвигался медленно, но через три-четыре года освоил токарное дело настолько, что стали ему доверять и важные заказы. Вступил в партию и любил называть себя сельским пролетарием, но общественной работы избегал, так как не чувствовал в себе сил такую работу исполнять.

В будние дни вставал он обычно в шестом часу, тщательно умывался, брился и до шести занимался в своих сараюшках со скотиной, потом завтракал, пил густой, почти чифирных свойств черный чай и выходил на трассу к первому городскому автобусу. Вечером, возвращаясь из города домой, ужинал, немного отдыхал и снова шел управляться по хозяйству — возился с коровой, свиньями да курами, а то выходил в огород, если было лето, или очищал от снега садовые дорожки, ежели была зима... Ложился рано, потому что телевизора в его доме тогда не было и убивать свое время так эффективно, как сейчас, люди тех баснословных лет еще не умели. Покуривая в постели, он ждал, пока жена уложит Марусю, вслушивался в монотонное звучание голоса супруги, которая

рассказывала дочке вечернюю сказку, и даже слегка придремывал под невыразительное, бесцветное бормотание... наконец жена приходила, и он без энтузиазма, как-то уныло и с каким-то даже сожалением непонятно о чем делал свое дело, потом отворачивался от равнодушной своей спутницы жизни и, раздумчиво зевнув, безмятежно засыпал...

И вот этот-то человек встретился Антонине на приморском курорте. Санаторий был ведомственный, путевки распределял через местные профсоюзы городской исполком, — заводу, условно говоря, давал десять путевок, универсаму, опять же условно, — пять, а хлебобулочному, к примеру, комбинату — три... а то, может, и четыре. Поэтому естественно, что на этом курорте встречались порой очень даже знакомые люди.

Антонина так и не поняла толком, как все произошло, ей хватило совсем короткого общения и густого запаха табака, металла и машинного масла, который, видимо, вытравить из Сереги было уж вовсе невозможно, она повелась мгновенно и пошла за ним, как слепец за поводырем, словно было что-то колдовское во всем его облике, словно какая-то чертовщинка этого маленького человечка выскочила вдруг из его хитрых глаз и позвала ее за собой, — непонятно куда, непонятно зачем... Может, Павлик был виноват, ведь он ее отпустил, совсем отпустил, почти два года как совсем отпустил... как она ни старалась, как ни соблазняла любимого, боготворимого Павлика своим роскошным телом, — почти два года, целых два последних года он ничего не мог с собой поделать... не мог... не мог... В те годы ходить по *особым* врачам считалось стыдным, да и не было тогда в нашей стране таких врачей... может, и были, но уж, конечно, не в деревнях и не в маленьких городках, словом, Павлик молча переживал свою трагедию, и только много лет спустя Антонина случайно узнала о ее очень вероятной причине: Павлик еще в институте увлекался вольной борьбой, активно тренировался, участвовал в соревнованиях и по настоянию тренера принимал какие-то специальные таблетки, которые помогали ему побеждать. Вот эти таблетки, видимо, и сыграли с ним злую шутку... побеждать-то он побеждал, завоевывал кубки и медали, институт очень им гордился, а прошло время и все его победы перечеркнуло одно-единственное поражение... И все. И четырнадцать дней на курорте Антонина провела как бы отрешенная от жизни, потому что она и не видела никакой жизни, а лишь барахталась каждую ночь чуть не до самого утра в чувственном полузабытии бесконечно повторяющегося счастья, в яркой и слегка истерической радости, которую дарил ей, сам не ведая того, ее почти случайный спутник, плохо знакомый мужик, странный сосед, которого у себя в деревне, в той, привычной им обоим обстановке, она едва примечала...

А потом они вернулись домой, и Антонина все продолжала бегать к нему, убеждая себя в том, что нет для нее на свете никого дороже любимого Павлика. И в совместной их с Павликом жизни ничего по сути и не изменилось, — она относилась к нему с прежней нежностью и все пыталась расшевелить его, соблазнить своей любовью, а он все увядал да увядал и все больше замыкался в себе, и все больше отдалялся от нее... И самочувствие его как-то от времени до времени все ухудшалось, — то вроде ничего, а то вдруг нездоровится, то повеселеет, а то — нахмурится да и станет мрачнее, как говорится, тучи или вовсе ляжет в избе на кровать и мается, — видно, не по себе ему. Так странно было Антонине все это наблюдать... вот примчится она с работы в обнимку со своим

замызганным «Уралом», накачав на прощанье универсамский персонал, чтоб ему, персоналу, стало быть, служба медом не казалась, войдет в избу, а там лежит на кровати поверх покрывала, словно неподъемное бревно, здоровенный, относительно молодой еще мужик, ее любимый Павлик, который при появлении супруги даже и бровью не ведет, — до того ему плохо...

Так маялись они с год, и вдруг Павлик стал стремительно худеть. Он и вообще в последнее время несколько потерял в весе да утратил великолепную упругость своих некогда бугристых мышц, обмяк всей фигурой и даже, кажется, стал ниже ростом. И на образ жизни нельзя же было погрешить, а на что было еще грешить? питались нормально, хотя и подступили уже голодные девяностые; во-первых, огород, сад и своя скотина изрядно помогали удержаться на плаву, а во-вторых, — старые областные связи по-прежнему пособляли временами разжиться тем или иным дефицитом.

А вокруг все уже рушилось и обломки крушений, словно горный неостановимый сель, стремительно неслись в бездну. Павлик бросил бесполезное сельпо и кое-как копался в огороде, а Антонина из последних сил пыталась спасти свой тонущий, практически пустой универсам; кассиры, подсобные рабочие, уборщицы, по несколько месяцев не получавшие зарплат, постепенно разбежались в поисках лучшей доли, одичавшие покупатели забегали порой в торговый зал, заставленный порожними полками и растерянно останавливались, теряясь на огромных, продуваемых сквозняками пространствах, и спасали положение только продукты, выделяемые для талонной торговли, но это была, конечно, не работа, а лучше сказать — форменное издевательство.

Деревня спивалась, никто ничего не хотел делать, сельские мужики потерянно слонялись по раздолбанным улицам в поисках дешевого опохмела, Антонина лихорадочно думала, что же будет с универсамом, а Павлик медленно угасал, теряя силы, волю и интерес к жизни.

Наконец он слег. Его свозили в Москву, положили в клинику, сделали химию и вскоре отпустили домой — умирать. Болезнь оказалась запущенной, оперировать было поздно. В деревню он вернулся с Антониной на городской машине, в дом вошел своими ногами и крепился еще месяца два, все пытаясь помогать жене по хозяйству, — да неловко, не удерживая в ослабевших руках нужные предметы, роняя вещи и разбивая вдруг ставшие для него неподъемными чашки.

Антонина перестала спать; ей казалось, что она сильно виновата в болезни мужа, и какой-то посторонний голос все твердил ей ночами — для чего, мол, завела любовника на стороне? тебе бабьего счастья захотелось? тебе родного человека не хватало? И она все казнила себя: виновата, виновата, виновата... и простая логика приводила ее к неутешительному выводу: за виной следует наказание, так вот же тебе и наказание, — твой любимый, поверженный страшной болезнью, попробуй, искупи теперь!

А Павлика вскоре стали донимать сильные боли, он терпел и терпел сколько мог, все ж таки мужик! но, видно, проклятый канцер так был силен и так неистово злобен, что в конце концов поломал его. И не спасали уже ни морфин, ни фентанил, — ничто уже не спасало Павлика, кроме прохладных рук Антонины, которые одни только и могли ненадолго утишить его муки. Она садилась временами возле мужниного протянувшегося в постели тела, брала прежде тяжелую, а теперь уж совсем невесомую ладонь его и баюкала, пытаясь

облегчить страдания любимого. Но Павлик все стонал и стонал, иной раз начиная кричать в голос, — так невыносимо было терпеть ему эту боль, — и смотрел на нее страдальческими, полными слез воспаленными глазами... его руки вздрагивали, пальцы беспомощно бродили по складкам одеяла, рот болезненно кривился... он смотрел на жену с отчаянием и с какой-то детской, нерешительной надеждой, — как будто она могла помочь ему выздороветь, как будто она, — а вовсе не беспомощные врачи, — была главным его целителем и избавителем от мук...

Однажды вечером Антонина сидела возле мужа, вглядываясь в его искаженное лицо, — он снова смотрел на нее с надеждой, кривя губы и стискивая челюсти. Болезнь продолжала терзать Павлика, он мычал, как бы про себя, словно пытаясь напеть какую-то трудную мелодию... веки его дрожали... неожиданно он взглянул на нее с каким-то особенным сосредоточением и сделал рукой неопределенный жест. Она догадалась и, прикоснувшись к вороту своей блузки, расстегнула верхнюю пуговицу. Павлик кивнул. Антонина быстро разделась и снова присела на кровать. Он пошевелил пальцами, приглашая сесть поближе. Она подвинулась. Он положил руку на ее колено и стал неловко поглаживать нежную теплую кожу, провел ладонью по бедру и, поднявшись вверх, к животу, остановился на его выпуклой мягкой поверхности... Антонина пристально смотрела ему в глаза. Пальцы Павлика скользнули еще выше и ласково коснулись ее груди... он гладил жену, любовно притрагиваясь к ее родинкам, и дышал тяжело, часто, — это дыхание было хорошо ей знакомо и служило для нее особым тайным знаком, который указывал на то, что Павлик уже пришел к ней, растворился в ее женской сути, в ее душе... лицо его исказилось, и он тихо прошептал: «Не-е-е-т...» Она встала, поцеловала его в губы и молча вышла. Этой ночью Павлик спал спокойно, уснул с вечера и почти до самого утра не просыпался. Правда, с рассветом боль вернулась, но, по крайней мере, он отдохнул хоть немного. У него даже появился аппетит, он с удовольствием съел пару бутербродов и выпил чашку слабого кофе. Но сразу после завтрака боль усилилась, и он снова мучился весь день, глотая таблетки и не находя себе места. Вечером Антонина, как и накануне, разделась и присела на его постель. Он призывно махнул рукой и она, откинув одеяло, прилегла рядом. Он опять гладил жену, целовал ей руки и ласково прижимался небритой щекой к ее пухлому плечу. Однако на этот раз они не смогли победить боль, и Павлик вновь промучился до самого утра. Следующим вечером история повторилась, и повторялась еще несколько вечеров, а в конце недели уже совсем измученный Павлик просто завыл, как раненая собака, заскулил, заметался и вцепился зубами в мягкую подушку. Пароксизм боли был так силен, что он был несколько часов, не в силах остановиться, охрип и уже просто сипел.

И тогда Антонина решилась.

Она вышла из дома и, преодолев две улицы, постучала ногой в Серегину калитку. Серега еще не ложился, слышно было, как он сказал что-то жене и слегка хлопнул дверью на выходе.

Павлик не спал, он приветственно приподнял ладонь, не отрывая руки от одеяла, и отвел глаза в сторону.

Антонина с Серегой зашли в соседнюю комнату и не стеснялись там в выражении своих чувств.

Через час Антонина отправила Серегу домой; вернувшись к постели

Павлика, присела и взяла его руку. В глазах Павлика поблескивала влага, он качнул головой и слезинка медленно поползла через его впалый висок...

Вскоре он уснул и спокойно проспал всю ночь.

И теперь, когда уж совсем становилось ему невмоготу, Антонина шла за Серегой и приводила его в свой дом, в смежную с Павликовой спальней комнату.

Но природу нельзя же обмануть, и болезнь нельзя же победить с помощью одних только заклинаний... и потому Павлик, промучившись еще месяца три и устав сражаться с превосходящими силами врага, ушел во сне и даже не сумел проститься с Антониной.

На поминках все, как водится, перепились, и случился скандал: Серегина жена, тощая, измученная зобом доходяга, набросилась на Антонину, но Антонина мало ж того, что характер крепкий, так еще и кулак не из последних: угостила соперницу от всей души, ненароком выбив ей два передних зуба. Мужики тоже ввязались в драку, но не ради справедливости, а ради боевой потехи, и поминки кончились разоренным столом, разбитой посудой да многочисленными нелепыми ранениями...

Потом Антонина провела девять дней, и сорок, и уж Серегойной жены тут не было, так что все прошло чинно-благородно, если не принимать во внимание, конечно, картины повального и безоговорочного пьянства, которая, впрочем, в отсутствие инцидентов с мордобитием считалась в этих краях вполне обычной.

И уж после сороковин Серега перебрался к Антонине и в первый же день алчно набросился на дрова, лежавшие под навесом возле сарая и давно ожидавшие хорошего топора. А жена его еще несколько раз приходила к калитке ненавистного дома, поливала Серегу матом под язвительные комментарии случившихся неподалеку соседей да и уходила восвояси ни с чем, — Серега продолжал колоть дрова и не обращал на вздорную бабу ни малейшего внимания. И только когда приходила Маруся, Серега бросал все и подбегал к дочке. Через низкую калитку он клал свою заскорузлую рабочую ладонь на ее аккуратную головку и поглаживал жиденькие белесые волосы, расчесанные на прямой пробор. «Деточка моя... деточка моя», — привычно приговаривал он, умильно улыбаясь, а ребенок, как прежде, порывисто схватывал его резко пахнущую табаком, металлом и машинным маслом руку и прижимал к своим губам...

С тех пор прошло двадцать с лишним лет. Раньше я наезжал в родительскую деревеньку нечасто, но после недавней смерти мамы и отца переехал сюда из города навечно, да еще и наказал детям, чтоб похоронили меня здесь, в родовом гнезде, рядом с могилами трех поколений нашей фамилии.

И вот я сижу на завалинке возле теплой стены своего дома и с усмешкой наблюдаю за всем этим театром. Надо сказать, спектакль талантливо поставлен и не менее талантливо исполнен: персонажи в нем живые, лишенные каких бы то ни было штампов, действуют экспрессивно, с размахом, да и декорации под стать. Я знаю, что когда представление закончится, Серега прибежит ко мне — искать сочувствия. Он всегда прибегает. И всегда начинает с вопроса: «Ну шо, писатель? Смольнем на пару?» Я, понятное дело, соглашаюсь, мне ж интересно, что он после спектакля порасскажет, и мы, покурив, переходим к главному. «А ты строгий какой финик, — говорит он раздумчиво, с надеждой

заглядывая мне в глаза, — ты будь попроще со своими братьевьями...» И добавляет через паузу: «Давай опрокинем по стопарику?» — «Давай», — отвечаю я. «У тебя, небось, и водочка городская есть?» — «Есть, есть», — говорю я, смеясь. «Сдается мне, — не унимается он, — ты и коньяковским в городе разжился?» — «А то», — подначиваю я. «Так шо ж мы ждем? — оживляется Серега. — Наливай, брат, наливай!» И я наливаю. А он, приняв пару стопок с прицепом, начинает жаловаться мне на жизнь, на Антонину, которая гоняет его, как он выражается, и в хвост и в гриву, а главное на то, что проклятая баба до сих пор все еще «хочет», несмотря на свой преклонный возраст. «А я-то, — говорит он с горькою усмешкой, — я-то уж давно не тот, шо раньше был... мне ж семьдесят четыре уже! Рази ж могу я за ей угнаться? Конешное дело, не могу... А она меня по морде лупит... усекаешь, брат? Болью моей пользуется... Я взъяряюсь, меня злоба душит... и вот я снова готов к мужскому подвигу... от же сучка, как заворачивает хитро...»

Вот и сегодня он сидит передо мной на летней веранде моего дома и мы, мирно выпивая, обсуждаем природные достоинства Антонины: он описывает ее мощный зад, ее огромные груди, со вкусом рассказывает, как сладко пахнет она в моменты любви... и вдруг мрачнеет, на глазах у него появляются слезы, и он монотонно говорит: «А я же не могу уже... я старый, больной... понимаешь, брат? а она как даст по морде! Сучка универсамская! Иди тараканов пинай! Да и провались, што ли, к че-е-ртовой матери!..»

Он плачет уже по-настоящему, роняя слезы, трет тыльной стороной ладони красные глаза и, как ребенок, жалобно всхлипывает.

Я выглядываю в окно веранды: только что прошел дождь, мир стал темнее... из окна мне видна часть улицы и огород Антонины — помятые помидорные кусты, укрытая сумерками ненастья поленница под навесом возле сарая и угол аккуратного, в начале лета побеленного домика... Улицу развезло... вот из-за поворота выворачивают два пьяных, бредущих в обнимку мужика, они месят грязь отяжелевшими сапогами и пытаются петь какую-то трудную песню... мы смотрим на них, а Серега все плачет и наконец, вытерев насухо глаза, тихо произносит: «Шо ж, брат... никуда не денисси... такая судьба...»

И подпирает подбородок сморщенным кулачком.

Золотые страницы «ДН»

Анатолий Жигулин

Стихи и переводы



Я оптимист

Палачи вы мои, палачи.
Стукачи вы мои, стукачи.

Из стихов, сочиненных в тюрьме

Я оптимист, я в день грядущий верю.
И он придёт, наверняка придёт.
Моей темницы кованые двери
Он взрывом гнева в щепки разнесёт!
Он в жизнь ворвётся ураганом страшным
В кроваво-синем отблеске штыков.
И в прошлое, в тяжёлый день вчерашний
Падут куски разрубленных оков!
Он бросит к стенке вас, душители свободы,
За все те гнусности, что делать вы смогли;
Устами победившего народа
Скомандует он грозно: «Пли!...»
Пусть день далёк, пусть он придёт нескоро,
Я доживу, я сдохнуть не намерен!
Пусть в страхе мечется вся ваша злая свора —
Я жду его, я в день грядущий верю!

*Ноябрь 1949 года,
Внутренняя тюрьма УМГБ ВО,
камера 2-я левая.*

Встреча с Воронежем

Вот переулок у Заставы.
Я много лет мечтал с тоской
К твоим булыжинам шершавым
Припасть небритою щекой.
О город юности бессонной!
Чем дышишь ты и чем живёшь?
Быть может, в ватнике казённом
Меня теперь не узнаёшь?

Я жил в тайге угрюмым зверем,
В глухих урановых горах:
Я знаю, Город, ты не верил,
Что я преступник или враг.
На Колыме, в краю острожном,
В моих мечтах с тех давних пор
Зелёный твой бугор Острожный
Был выше всех колымских гор.

1954

Стихи для Ирины

1

Вот и снова тихим светом
Загорелся березняк.
И ещё сильнее, чем летом,
Мох сверкает на корнях.
И покинутый, невзрачный,
Весь осыпанный листвою,
Опустел посёлок дачный
У окраины лесной.
В этой осени прелестной
Вижу в чуткой тишине
Лик твой ясный, поднебесный,
Что Судьба послала мне.

1969

2

Наша любовь в октябре
Голубем с неба слетела.
Красные листья тебе
Я подарил неумело.
И прошумели года:
Три с половиной десятка.
Радость была и беда.
Было и горько, и сладко.
Нынче живём нелегко.
Что ещё сбудется с нами?
Вижу сейчас далеко
Храм с золотыми крестами.
Там мы венчались с тобой.
Все запрещенья презрели.
Вижу пейзаж золотой,
Вижу высокие ели.
Маленький прудик. Дубы.
Крыши деревни Пучково.
Словно грядущей судьбы
Непрояснённое слово.

31-X-96

«ДН», 1998, № 7

Флор Васильев

С удмуртского. Перевод Анатолия Жигулина

* * *

Упал на холодную озимь
Подкошенный пулей
Солдат.
И неба свинцовую просинь
Окрасил багровый закат...

Он спит
Уже долгие годы.
Земля для него —
Словно пух.
Над ним пробиваются всходы,
Травой поднимается луг.

Лежит он
У края покоса,
Где синяя мята цветёт,
И прямо из сердца
Берёза
В высокое небо
Растёт.

И мальчик
Под деревом этим
Играет под сенью листьев.
И нежно
Касаются ветви
Белёсой его головы.

* * *

Погода настроилась к лету.
Оттаяла в балке лоза.
На склонах
Под солнечным светом
Земля приоткрыла глаза.

Уходит зима торопливо.
Весна уже где-то в пути.
Уже не ломается ива —
Хоть на руку
Прут накрути.

Белеют леса на раздоле.
Морозы ещё не ушли.
Но чутко прислушалось поле:
Не трактор ли это вдали?

Анатолий Цирульников

Неопознанная педагогика

Существует столбовая дорога государственных реформ и псевдореформ — и обочина, на которой произрастают порой цветы необычайной красоты. Многие относятся как к чудикам к людям и сообществам, которые не укладываются в стандарты то одного, то другого поколения, и всякий раз кажется, что сочиненное на бумаге — самое лучшее, а жизнь — досадное недоразумение. Ну, как в той старой истории про научное лесоводство, когда в позапрошлом веке в Пруссии, чтобы получить прибыль, стали выращивать норвежскую елку, высаживая в армейском порядке деревья одного вида и возраста, а все остальное, что было в живом лесу, убирали прочь. И первая генерация «научного леса» дала превосходные результаты: росла прибыль, а главное, лесом было удобно управлять — лесничий мог даже не покидать конторы. Но со второй генерацией стали происходить досадные недоразумения. Исчезнувший подлесок, бурелом и сухостой сократили разнообразие лесных обитателей, от которых зависит почва, она стала истощаться и беднеть. В старом живом лесу штормовой лесоповал валил деревья одного возраста, но могли устоять другие. В смешанном разнообразном лесу эпидемия вредителей превращала в труху одних, но не трогала других. В научно выращенном лесу картина стала иной, и в итоге с лесом было покончено.

Этот пример легко проецируется на педагогику эпохи «модернизации» и трех «Е» — единоначалия, единообразия и единомыслия, наглядно присутствующих в уже начатых осуществляться мечтах отечественного бюрократа (едином государственным экзамене, едином учебнике истории и единой форме одежды).

Но вопрос остался — чего мы хотим: простого, понятного «научного лесоводства» или сложного и разнообразного, живого леса образования?

Опыты, или лучше сказать, жизненные явления, о которых речь ниже, относятся ко второму виду. В свое время я ввел для их обозначения полусутиливый термин НПО — «неопознанный педагогический объект». То, что на поверхности вроде не имеет никакого отношения к педагогике, а заглянешь внутрь...

Разные сюжеты и герои в ситуации «НПО» роднит одна особенность — эти люди уходят от агрессивного государства и пассивного общества и начинают выстраивать в отдалении свои особенные, доморощенные формы жизни. А в ее складках возникает живая педагогика!

Слово «доморощенный» может вызвать снисходительную усмешку, но в этом понятии, по-моему, нет ничего уничижительного, «домо-рощенный» означает выращенный в доме, где ты живешь, на твоей родине, это строительство своего дома. В одиночку, без кооперации и взаимопомощи оно вряд ли возможно, о чем говорит русская история. И не только русская. Недавно я подумал: то, что мы называем чудачествами, артефактами, отклонениями, в иных местах — норма. В предместьях города Хельсинки, где живет моя добрая знакомая, возродившая, к слову сказать, в

России Монтессори-педагогику, есть окруженная парком старинная вилла, половину которой живущая там хозяйка передала безвозмездно чудесному детскому экологическому музею. В трех километрах от этой виллы есть другая, хозяин которой разместил для публики картинную галерею. А во дворы обыкновенных финских домов временами приезжает машина, и служащий приспускает на мачте государственный флаг. Я думал — какое-то национальное бедствие, а оказалось, что в этом доме просто покинул мир старый человек, и государство в лице муниципальной службы выражает скорбь о нем вот таким образом...

Из таких ниточек связываются другое общество и другая педагогика.

Мне кажется, что представленные здесь картинки нашей неопознанной, доморощенной педагогики сигнализируют о том же. Конечно же, это — не столбовая дорога правительственных инноваций, но общественные процессы, известно, редко являются средним арифметическим, а чаще вырастают неожиданно из чего-то, возникшего на обочине, вначале разового, а потом все более наполняющего будущее...

В заключение хочу признаться, что со времени, когда я оказался в этих местах, прошло сколько-то лет... Что-то произошло. Миши Караваева из Спасской Губы уже нет, пусть земля ему будет пухом.

Но мы-то, странные люди в странной стране, остались?

Вознесение Спасской Губы

Когда все умирает, можно ли жить? Не бежать от ситуации, а вырастать из нее, складывая с детьми новые формы жизни. Чтобы ответить, надо подняться на горку — оттуда виднее.

Ориентировка на местности

Поначалу я ничего не увидел. То есть что место необычное, почувствовал, но фигур, летящих над озером, не разглядел и только подумал: «Чудесно». На повороте когда-то стояла церковь, отсюда и название села — Спасское. А название Мунозеро — по-саамски «муноярвинлахте» — значит «утиные яйца». Местные, впрочем, придерживались другой версии. Говорят, будто царь Петр, искавший в этих местах железо, его не нашел и в сердцах послал озеро со всеми окрестными жителями на три буквы. По-карельски — «мун». В деревнях и сейчас можно услышать: «Пошел на мун!»

В петровские времена место, впрочем, было никак не захолустьем. Процветали металлургические заводы, разрабатывалась мраморная ломка в Белой горе, а малиновый гранит поставлялся ко двору. В Марциальных Водах, где сам царь поставил часовню, — уникальный целебный источник, первый в России курорт. Крепостной неволи местный народ не знал. Был мастеровит, умел работать с железом. В начале века село входило в Спасопреображенскую волость, а после семнадцатого года стало райцентром Петровского района (в честь не Петра I, а комиссара Петрова).

Большое было село, с несколькими церквями, с больницей, санаторием, даже собственной типографией. От всего этого — одни руины. Славилось знаменитым петровским хором, в котором пели сто человек, да и теперь, хотя нет руководителя, временами собираемся и поем, рассказала Александра Федоровна Дорофеева, учительствовавшая тут полвека. И даже спела для меня вместе с учениками и школьным директором Раисой Эймоновной Дьячковой старинные советские частушки о Спасской Губе, где в магазине пусто, а в школе холодно, хоть раздевайся и пляши.

В учительской, где мы сидели, было самое теплое место, да и вообще чувствовалось, что в этой глазевшей на озеро деревянной, с огромными свисающими с крыши сосульками школе жизнь теплится. Стены в коридоре любовно расписаны узорами,

имелся и школьный музей — карельская горенка с собранной по дворам утварью, а на двери кабинета истории — лозунг на листочке: «Вместо нового говори нужное».

Понятно, решил я. В чистом виде «бывший очаг культуры». Так я когда-то сформулировал для себя то, что видел в разных местах России, в некогда процветавших, а затем пришедших в упадок городках и селах. Культурные традиции еще живы, история местности уникальна, а вокруг все разваливается. Школа пытается хоть как-то противостоять неизбежности. Отсрочка деградации... А что еще можно тут сделать, я не знал.

Так бы и уехал в неведение, если бы Раиса Эймоновна уже на пороге не обмолвилась про каких-то «крылатых кузнецов». Я решил, что это местный фольклор, спросил про источник и услышал в ответ: «Да это не сказки, люди такие у нас живут».

Тут я внимательней поглядел на место. Оно и правда было чудесное. Завораживающее озерным разворотом, на котором располагалось село с бревенчатыми карельскими избами, дымками труб, прорубями, лесами, горками. Одна звалась Мишиной.

Мишина горка

Одни в деревне зовут его Маугли, другие — Левшой, третьи — Карлсоном. Миша Караваев — худющий, с длинными патлами, весь черный от копоти — Маугли и есть. У горки, на краю села — кузня, там Миша чудодействует. Оттого — Левша. А третье прозвище — за вращающийся пропеллер за плечами, обычное Мишино средство передвижения. Выглядит это так: встает на лыжи, надевает рюкзак с мотором от бензопилы «Урал», к которому прикручен винт, — и понесся со скоростью 50 верст в час! Зрелище, особенно издали, не для слабонервных: винта не видно, руки скрещены на плечах, как у индийского философа, — и летит по озеру. Бабки только крестятся: «Свят-свят».

Появился он тут четыре года назад вроде бы случайно — заехал на горке покататься и остался. Миша — странник. Из своих тридцати шести лет двадцать странничал. В юности не сошелся в каких-то материях с родителями и очень им благодарен, что не стали хватать за фалды, отпустили (родители у него потомственные педагоги, дед учительствовал всю жизнь, пока за ним из ГПУ не пришли).

Восемь лет Миша был, как говорит, в ссылке на острове Кизи, плавал по Енисею... Образование в процессе скитаний приобрел разностороннее. Художник-реставратор «с допуском к самостоятельной работе с историческим материалом» (это значит — может вести раскопки и, если какую железку откопает, — реставрировать). Врач-педиатр, хирург, хоть и не доучившийся, но и сейчас, если понадобится, может удалить аппендикс или зуб вырвать в кузнице местным способом. Подрабатывал акварелями («это я бросил, для меня плоский мир перестал быть интересен»). Самое последнее занятие — кузнец; поставил кузню с горном и кует что заказывают: ограды, каминные приборы, самолетный винт может сделать, холодное коллекционное оружие. Еще — тренер по горным лыжам и мотоспорту, саксофонист... «Ну, это так, — говорит, — я дипломы получал автоматически, просто был увлечен тем, чем занимался».

— А теперь, — спрашиваю, — определился?

— С чем, с профессией, — уточняет он, — или концепцией жизни?

Ну вот, еще и философ. Концепция такая: с детства мечтал о деле, которое по душе, а значит, не рабский труд. Теперь он здесь, и все получилось. Сейчас самолет строит и скоро полетит. «А как же кузница?» А это, объясняет, просто мастерская, где можно деталь сделать, чтобы подняться на своем самолете.

У Миши одиннадцать учеников, которые в его кузнице днюют и ночуют.

Катаются с горки на горных лыжах, которых раньше в глаза не видели. Смотрят горящими глазами на Мишины виндсерфинги, летающие пилы, мотопарапланы...

Педагогические взгляды Караваева таковы. Главное — не навреди. Прежде чем детей с горки спустить, сам голову сломай. Личный пример выше всяких догм. Упаси бог вдалбливать что-то. Но поставить железные условия: да — будем дружить, а нет... «Школьный педагог, — говорит Караваев, — из меня бы не получился, я сам придурок порядочный...»

Дистанции между ним и подрастающим поколением, короче, не наблюдается. Миша был и рокером, и бритоголовым, и тусовался, и бегал по острову Кизи с топором («искал собеседника»), и ходил по Питеру с мечом под мышкой — пытался наводить порядок. «Потом я пришел к тому, что не могу никого тронуть. Пришел к добру». Так что шум молодости у него еще не настолько из головы выветрился, чтобы не понимать пацанов и чтобы они его не поняли. Смотрят на него пацаны, куют что-то в кузне и до чего-то доходят.

«А потом приходят домой и отцам говорят: можно ведь жить, что вы все водку глушите!»

Деревня его приняла благодаря детям. Ему говорят: «Мой тебя больше всех уважает. Если надумаешь церковь строить, только скажи». В день своего тридцатитрехлетия Миша поставил на горе поклонный крест. По правилам теперь надо бы часовню срубить. Впрочем, святость жизни в Мунозере преувеличивать не стоит. «Летать тут надо бы поменьше, — замечает Миша, — не мозолить глаза. Люди, небось, думают: вон они летают, а мы вымираем...»

Хотя кроме пацанов находятся у Караваева и другие последователи. Почтальон Яков ходил к Мише, ходил, присматривался к виндсерфингу, потом выдернул жердь из ограды, натянул верблюжье одеяло — и помчался в деревню Мунозеро. Там Мишин знакомый у окна сидел, видит: несется что-то к избе со страшной скоростью, подлетело к кустам — тр-рах! Потом стук в дверь: почтальон Печкин.

В другой раз Яков решил стать вторым Карлсоном в Спасской Губе: вытесал из доски винт, тормоз от велосипеда поставил, но что-то там у него не сработало. Зарылся в снег, пропеллер крутится, рев, дым — вся деревня сбежалась. «Почему я почтальона Якова не знакомя с Чупиковым, — объясняет Миша, — боюсь, он самолет из дерева сварганит — деревня сгорит».

Командир эскадрильи Чупиков — еще одна здешняя достопримечательность. Вместе с Мишей служил в армии, а через десять лет встретились здесь. Чупиков прилетает в деревню на истребителе-перехватчике «Су-27» и рисует в небе «ромашку» — доброе утро, мол, люди. Раз на лету сапог скинул. В общем, компания подобралась.

Сашина горка

В Мунозере, куда на Мишином пропеллере можно добраться за четверть часа, на всю деревню пара дымков из печных труб: один — местного деда, другой — Саши и Лены Петлевых.

Они переехали сюда из Питера, когда родилась дочка. Саша устроился в заповедник охранником, а потом занялся берестой — изготавливал на продажу сувениры. И так здорово стало получаться, что в магазинах, на ярмарке Сашины берестяные поделки шли нарасхват. Тут подросла дочка, пошла в школу на лыжах (шесть километров туда, шесть обратно), и директор Раиса Эймоновна пригласила Сашу вести уроки труда. В селе никто даже корзины не умел плести. И вот Саша с женой Леной, мастером спорта по плаванию, начали учить деревенских детей работать с берестой, делать игрушки (история при всей своей незатейливости — фантастическая: горожане селятся в деревне и создают «народный промысел»).

В отличие от Миши, склонного к философии, Саша Петлеванный не словоохотлив. Меня принял настороженно: в рекламе не нуждается. Телевизионщики тут порывались про него фильм снять — отказался. Но когда Миша объяснил Саше, что из Москвы не репортер приехал, а доктор педагогических наук, профессор — поговорить, пригласил к чаю. Дети — другое дело. Саша даже поехал со мной в Спасскую Губу на ночь глядя — отпереть мастерскую в школе и показать, что дети умеют делать.

Ходит к нему постоянно тридцать учеников — это половина спассгубских, а так больше. Ярмарку организовали, так детских поделок даже не хватило — раскупили учителя, родители. Но смысл не в этом. Саша против конвейера. Важно, что делают своими руками и понимают: это стоит столько-то, а это не продадим (много изделий оседает дома).

Ничего сложного в работе с детьми, по его мнению, нет. Ребенок приходит и полностью тебе доверяется, замечает Саша, сплетая из бересты мне в подарок северную розу. Прекрасная, она дрожит на тонкой ножке, но долговечна. И бесценна, как эти вещи, сделанные детьми, — букет хризантем и роз, лукошки, бусы, куклы, картины в берестяных рамках с необычными пейзажами из засушенных цветов и ягод...

Село утасает? Все разорено? Да не в этом дело! Болезнь, считает Саша, у людей в голове. Вот Раиса, говорит он про школьного директора, другие до нее плакались — результат ноль. А она пришла — людей зажгла. Откуда-то швейцарцы появились. Посмотрели и создали в своей Швейцарии фонд друзей Спасской Губы. Дали немного денег, в школе их сразу превратили в материалы, краски, расписали голые стены. Швейцарцы удивились: так быстро?

«Вы спрашиваете, что делать? — говорит Саша. — Мы три года с детьми занимаемся, те, что с самого начала ходят, уже мастера. Могут вещь сделать, продать, к жизни готовы лучше, чем их отцы-матери».

Бересту Саша берет с сухих, сваленных деревьев, живые не обдирает. Провожая, не утерпел, показал, какой здесь ему вид на жизнь открывается. Завез на свою горку высотой девяносто метров. Саша ее сам обмерил.

Ветер-помощник

И еще есть возвышенность... Тоже, вроде, не больно заметная, а пока доберешься с вещами до вершины, сердце, кажется, из груди выскочит. Метель заметала тропу, и, проваливаясь по колено в снег, я брел на огонек. Горка стояла над селом. Была она обитаема. На ней топили баню. Пели под гитару. Летали с детьми на горных лыжах, на сноубордах, на парапланах...

Много лет назад несколько семей — когда-то студенты университета, заводы, стройотрядовцы, а теперь педагоги, врачи, инженеры — вычислили эту горку по карте. Надоело ютиться на чужих, выпрашивая место под солнцем, решили найти свое. Зарегистрировали общество — горнолыжный семейный клуб «Луми», по-фински — «снег», и начали обустраиваться. Таскали на горбу бревна для дома, тянули провода для подъемника, расчищали склоны — горка вышла замечательная. Делали они это для себя и детей, а вышло нечто большее. Нужно тут пожить, тогда почувствуешь атмосферу, ту, что они называют «общенческой средой». Здесь много педагогов, которые утверждают, что эта среда развивает и воспитывает детей и взрослых.

Я прожил на горке только два дня с несколькими семьями (а вообще в этом их сообществе, считая друзей клуба, двести человек в возрасте от четырех до пятидесяти), но, прислушиваясь к разговорам, воображал, как тут бывает, когда соберутся все. Нескончаемый праздник общения... И никому ничего не надо напоминать, каждый может попробовать себя в чем-то, и обязательно найдется кто-то, кто поможет научиться прыгать с трамплина или кататься по озеру на лыжах под парусом. Хочешь

не хочешь, а несколько часов в день надо отработать на склоне, или на кухне, или на огороде. «А бывает, что отлынивают?» — спросил я у педагога из Кондопоги Элины Романовой. «Это их образ жизни, — ответила Элина. — Куда они денутся?»

Утро, все уже встали, кажется, только я на правах гостя еще под одеялом. Общій любимец спаниель Буран кладет мне морду на грудь, но с поцелуями не лезет — тактичный. «Он обычно есть хочет, — сообщает мой новый знакомый Виктор Вийри, — а вчера ласки хотел». Виктор, бывший военный летчик, чем-то напоминает мне Саню из каверинских «Двух капитанов».

Огромное багровое солнце поднимается над горкой, как аэростат. Пролетает, нежно посвистывая, стайка свиристелей — живет эта птичка теперь только на горке. Здесь много чего редкостного встречается: трехсотлетняя липа, кедр, королевский клен, елки и сосны, с чем-то скрещенные. Ландшафтный заказник. Перед походом на Северный полюс тут тренируются полярники — те же метели, торосы. Когда-то был детский санаторий, туристические маршруты с просеками, тропинками, избушками, с первым снегом набивавшиеся студентами. Теперь все это заброшено, но один приют у подножия семейный клуб начал восстанавливать, и уже есть лагерь для ребят из Петрозаводска и Кондопоги.

«Луми» — сообщество открытое, деревенские тоже приходят на горку. Детский сад под Новый год навещал Дед Мороз (в городе — он к детям, тут — они к нему сами). Учитель физкультуры Анатолий Мещанский привозит из города трудных ребят. В семейном клубе всегда несколько ребятишек из специальных школ, с проблемами в развитии (иногда это просто запущенные дети, считает Мещанский, попади они сюда раньше, может, и проблем не было бы). Двух ребят с церебральным параличом поставили на лыжи, потом они в Канаде на олимпиаде получили медаль. Любимые и брошенные, тепличные и растущие, как сорная трава, здоровые и хронически больные — здесь, на горке, все они ближе к небу.

Ветер надувает оранжевый парашют. Виктор готовится к прыжку. Леха, Катя и другие стажеры от девяти до двенадцати лет присматриваются, как управлять стропами. «Всего тридцать секунд лететь, — замечает председатель клуба Володя Дербенев, — но для ребят это, конечно, необыкновенно, такого не купишь».

Мне объясняют: как на лыжне привыкаешь к снегу и он становится теплым, так тут — к ветру. На серфинге или парашюте относишься к нему как к помощнику. Дети на горке все время прислушиваются: откуда ветер, какой силы. Чтобы взлететь, нужно уловить миг, почувствовать восходящий поток.

А под горкой жизнь у них — как у всех. Не могут, как раньше, свозить детей на море. Даже сюда из Петрозаводска стало накладно приезжать. Главврач районной больницы каждый отпуск отправляется на отхожий промысел во Французские Альпы, строит из разобранных карельских изб горнолыжные пансионаты. Педагог работает посудомойкой. Но какие бы сюрпризы жизнь им ни подбрасывала, у них есть своя горка...

Просится самолет

«Я посредник», — говорит Миша Караваев, имея в виду тех, на горе, и деревенских. Его избушка стоит у подножия, на краю села, к нему заходят по-приятельски те и эти. «Уча других, учимся сами», — поясняет, хозяйничая у плиты, Мишина жена Оля. Миша привез ее сюда из шикарного дома в городе. Здешний домик у озера, купленный у канадского финна, некогда опрометчиво прибывшего в Союз по путевке Коминтерна, не столь роскошен, но есть в доме столетняя печка, висит медное блюдо с крестом, что-то домотканое, по стенам картины — жилище со вкусом. Оля занимается карельской росписью, в туристических проспектах ее мастерская в Кижях, где она

проводит лето, значится как объект, который непременно надо посетить. «Когда Оля там, — говорит Миша, — домовый совершенно распоясывается. Скрипит, вещи переставляет, занавески дергает».

В ответ на мое недоумение наливает сто граммов и ставит в укромное место за печку:

— Сам утром увидишь.

Место здесь, конечно, волшебное. Тишина, покой.

— По-моему, — говорит философ Караваев, сидя на корточках у горячей печки, — российский менталитет начинает вопреки жизни меняться сам по себе...

— Но жизнь-то от этого не меняется.

— Меняется. Человек просыпается, осознает, что свободен от скотских догм, и так радостно становится.

— Но избы, — киваю за окно, — остаются, как в прошлом веке.

— Нет, избы меняются. Например, мне нужен самолет — я строю в деревне ангар. Другому еще что-то надо — он берет топор и начинает избу перекраивать. Жизнь, как и избу, можно перекроить только под себя.

— Тебе кажется, то, что происходит в стране, ведет к другой жизни?

— К другому человеку ведет. Здесь никогда не будет хороших дорог, зато мы научимся летать. А может, нужно просто лечь, закрыть глаза...

— Вот это скорее, — замечаю я.

Миша смеется, подбрасывая в огонь полено, и размышляет об экологически чистом транспорте.

— В ступе с помелом, может быть, будут летать над этим лесом. — И добавляет: — А весь мир будет нас бояться. Но вообще-то я думаю, — утешает меня Миша, — все у нас, в Спасской Губе, получится потихоньку. Годы пройдут, у детей внуки появятся. Гора у нас так и будет, если с места не сойдет.

И о другом:

— Знаешь, есть способ: берешь ручку, пишешь, что тебе нужно, собираешь в мешок, а остальное оставляешь. А что нужно? Топор, кованый гвоздь, дрова... Да на плечах голова — помнишь сказку? — и замечь, среди этого нужного нет ничего для войны. Что бы ты сделал в кузнице? Топор. Ни в коем случае не меч. Потому что в лесу дикому зверю можно посмотреть в глаза, и он не тронет.

— Может быть, возьмете это в школу в качестве концепции развития? — спрашиваю я Раису Эймоновну, зашедшую на огонек.

Она смеется (но что-то, видимо, берет, все они, на разных горках, пишут в сущности одну концепцию).

— Ни в коем случае, — серьезно возражает Миша, — к этому надо прийти самостоятельно: как сделать следующий шаг, не наступив другому на горло. А вообще буддизм гласит, — подытоживает он, — человек до двадцати лет — ученик, до сорока — воин, до шестидесяти — хозяин дома. Только после этого свободен.

— Ты не свободен? — удивляюсь я.

— Нет, я сейчас воин. Все эти железки, пропеллеры — борьба с самим собой. Когда надоест размахивать кувалдой, пойду в огород.

— Наконец-то баню поставишь, — замечает Оля.

— Я воин, хотя ловлю себя на мысли, что лучший выход из тупика сейчас — в земле копать. Будь я постарше и поумней, сказал бы себе: Мишуля, вот когда научишься в земле копать, тогда иди к детям, учи летать.

Дети вьются вокруг Миши, а он ходит вокруг будущего самолета с двигателем от бензопилы «Урал». А что такое «Урал»? Книжкой Миша говорит, что это слово в романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» расшифровывается как Условная Река Абсолютной Любви. Условная... А тут пила «Урал», мотоцикл «Урал» — создатели техники забили в них одноразовые программы. Десантная одноразовая машина —

чтобы автоматчиков один раз доставить в зону артобстрела. Одноразовая пила — чтобы зекам свалить триста стволов и бросить ее на просеке. А он, Миша Караваев, дает моторам вторую жизнь. Находит на свалке изувеченную пилу, и она, эта пила, начинает у него по-другому работать, в ней душа оживает. Ее создатель-инженер не мог и представить, чтобы на этой бензопиле летать по озеру.

К пиле Миша Караваев прилаживает новый винт, он его уже сделал — лежит на подоконнике. Крылья — от дельтаплана. «У Ричарда Баха есть, — говорит, — "хочешь самолет — обязательно будет". Или детали станешь находить, или наследство свалится. Он, как ребенок, просится, самолет...»

Теперь, когда я пытаюсь понять, что происходит в Спасской Губе, вижу одну и ту же картину. Человек залезает на гору, привязывает крылья, прыгает и, если сразу не расшибется, может взлететь — над деревней, озером, лесами, горками, вознестись из обыденной жизни к небесам, подняться над самим собой.

И ведь не один, не два взбираются на горку, прибывают в эти края. Что это за место, где они все собираются? И что тут делают, спасая детей, себя, Спасскую Губу или, может, это она спасает их, давая и нам надежду...

Село угасает? Это как посмотреть. Тут рождается новая жизнь. Что-то все тянет и тянет сюда людей.

Может, и мне податься?

Истребители чертополоха

Мы все думаем, что большую свалку, которую устроили, расчистят после нас ангелы в белом. Но когда уборщики являются, мы замечаем на них спецодежду. В придачу они сами не стерильные. Тут мы понимаем: это не ангелы. А чего бы вы хотели? Уборщик — тоже продукт свалки.

Появились «ангелы» на свалке под Тарусой, несколько лет назад. Приобрели заброшенный, загрязненный участок животноводческой фермы, поставили вагончик, наблюдательную вышку, отгородились. Через год на месте, прошу прощения, «жижесборника» появилась оранжерея, на месте помойки — 500 видов растений, цветы необычайной красоты, как в песне Высоцкого про нейтральную полосу.

Местные принимали преображенную свалку то ли за плантацию, то ли за академгородок. А сами эти, из оранжереи, говорили местным, чтобы к ним не лезли: «Мужики, здесь экологический полигон. Радиация!» Местные перепугались еще больше...

Я вначале сам не разобрал, зачем им помойка. Могли же свой чудо-сад разбить где угодно — нет, почему-то свалка, пустошь. И называются они чудно: СЛУЖБА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТОВ. Подумал: какая-то фантастика...

Неоконченная повесть о настоящем человеке

Земли у нас в России — хоть ешь! Что едим-то, хоть знаете?

На закате СССР из общей площади сельхозугодий в 605 миллионов гектаров 157 было засолено, 113 — подвержено эрозии, 10 — заброшено из-за истощения, 2 миллиона — нарушено открытыми разработками. 814 миллионов гектаров лесных угодий на 70% заняты вырубками, гарями, свалками и болотами. Картина усугубляется челябинским, чернобыльским и семипалатинским радиоактивными пятнами. Образовался стремительно расползающийся архипелаг пустошей — земель, оставленных жителями в связи с истощением природных ресурсов. Скорость его распространения составляет 6—7 га в минуту. (Справка СЭР — Службы экологической реставрации.)

Безумная идея осенила Александра Выговского после того, как в 1983-м его арестовали и осудили по статье 190-прим — за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский строй». До этого Выговский работал на биостанции в горах северного Тянь-Шаня. Прикладывал теорию Дарвина к «мировому бульону», где все кипит, клокочет, борется за существование, и вдруг выяснил, что спасаются из «котла» наиболее неприспособленные.

Коротко говоря, мироздание по Выговскому выглядит таким образом: Силурийское море, колыбель планетарной жизни, уходило, наступала адская жара, сильные отстаивали свое право на каплю воды. Они выпирали слабых — и тем ничего не оставалось, как стать первыми землянами. С огромным количеством жертв они выкарабкивались на берег: «Мы наш, мы новый мир постро-о-им!..» Предок наш с вами был, мол, самый дебильный среди приматов. Менее ловкий и закаленный, чем остальные хвостатые и мохнатые, под страхом смерти он был отнесен в пирогеноз — гигантское пространство горящих торфяников. Благодаря этому в эпоху очередного похолодания получил возможность стать настоящим человеком. Свою теорию о наименее приспособленных как эволюционно продвинутых Выговский применил к советской действительности и сделал такой смелый вывод: нравственный облик современного «хомо сапиенс» обратно пропорционален уровню его приспособляемости. Чем выше облик, тем ниже статус...

Эти спорные тезисы, которые Выговский излагал студентам, заинтересовали КГБ. Так что же, спросили там, по-вашему, товарищ Андропов — самый большой негодяй? Про Андропова не скажу, ответил он, а ваш начальник — точно! По словам Выговского, им это жутко понравилось. Его посадили. В дополнение к двум гражданским он окончил тюремный университет: полугодовой закрытый процесс, институт Сербского, пять пересылок и зона в Центральном Казахстане.

Встретился в лагере с братом опытного «сидельца», баптиста Кулакова, директора Института перевода Библии, с которым дни и ночи напролет обсуждал эволюционный принцип, заключенный в Нагорной проповеди. Христос говорит ученикам о блаженных — гонимых, алчущих и страждущих, и политзек Выговский вспомнил вдруг о первом человеке, который прятался от злой судьбы на границе бесконечных пожаров... Он задумался: куда же деваться всем этим алчущим и страждущим, живущим на грани вымирания по чести и совести, всем этим блаженным, которые стоят первыми в очереди на квартиру двадцать, тридцать лет, но квартиры дают всегда почему-то «блатным»? Куда деваться тем страждущим, к которым, по его мнению, принадлежали Шукшин, Высоцкий, Бродский? Куда им деваться? И вот в зоне эта мысль блеснула, когда он узнал, что существует огромное число мест, которые погублены, превращены в свалку, истреблены вырубками и пожарами и в которые люди возвращаться не собираются. Ах, нет, говорит Выговский, это было уже после зоны. Он, ссыльный, жил с дочкой в горах, на Тянь-Шане, работал кочегаром на маленьком заводе, в 86-м, когда рвануло Чернобыль, подумал: а кто в начале XXI века будет осваивать «чернобыльское пятно»? И два года спустя пришел на биолого-географическую станцию на Иссык-Куль.

Первый научный полигон Выговского был в горах, 1780 метров над уровнем моря и двадцать четыре километра от ближайшего поселка. Работали с деградированным ландшафтом — опустыненным каменистым склоном. Завозили на скалы землю и высаживали сады. Скотоводы приходили посмотреть на цветущие абрикосовые деревья, просили саженцы.

Этот полигон снесло селевым потоком. На другом запил руководитель, и команда распалась. А в Аришане, в ущелье, и сейчас живут двое: она математик, он художник, плюс временные работники. Один гонимую мастерскую открыл. Блаженствуют в земном смысле слова. На площадке, где идет экологическая реставрация, и у людей

меняется отношение к миру, и животные становятся им подобными: умные, сильные, необычно ловкие коровы, гуси, куры. Загадка...

«Ну, вот, — продолжает Выговский, — а потом я пошел дальше, окунулся в биохимические процессы».

Существует, оказывается, возможность целенаправленной трансформации генома. В экстремальных условиях, при наличии, например, повышенной радиации или токсичных стоков, могут возникнуть мутанты с необыкновенными способностями. Блаженный изгой из Нагорной проповеди начинает эволюционировать. «В какую сторону?» — спросил я. «В сторону кричащей необходимости!» — ответил Выговский и пояснил: бедную ящерицу так загоняли на земле, что единственный для нее выход — рост перьев... И в небо! Ну почему рожденный ползать летать не может? Потому что Максим Горький так сказал? А Выговский говорит, что в России и странах ближнего зарубежья формируется высшая потребность. «В чем?» — «Она неоднозначна — тут целый спектр. У кого-то потребность летать, у кого-то покидать привычный ареал и появляться в других местах. И, получается, — подытожил Выговский, — что гносеологическая потребность срослась с социальной — убирать мусорники».

Написали с единомышленниками обращение к людям, бегущим из городов, ищущим выход в «чистое место». Таких сейчас много, рвущихся на природу. Природа между тем совершенно не ждет человека. «Мы, — говорит Выговский, — призываем идти в отвалы, на терриконы, в заброшенные деревни, на химические полигоны и там строиться, жить...»

Между адвентистами и трактористами

Чтобы жить, надо сначала понять — где. Потом уже — как...

Тарусская районная администрация выделила Службе ЭР в бессрочное пользование территорию бывшей помещичьей усадьбы площадью 26 гектаров. Усадьба в начале XX века представляла собой типичное для России поместье с большим домом, парком, садом, конюшней, кузницей, пасекой, водяной мельницей, прудом, подъездными путями. К настоящему времени территория деградировала до уровня труднодоступной, окруженной лесом свалки, малопригодной для сельскохозяйственной эксплуатации. Близлежащие деревни выродились, коренные жители склонны к пьянству, воровству и браконьерству. Окружающие земли заброшены. Леса лиственные, сильно заросшие сорной древесиной, богаты грибами, река — рыбой. (Из отчета СЭР.)

И вот, стало быть, огораживают они участок свалки, выпускают на нашу российскую почву калифорнийских червей, превращающих заросли в гумус, высаживают растение эхиноцистис, применявшееся дореволюционными помещиками для маскировки отхожих мест. Разбивают грядки и сажают на них кедры и туи, рододендроны и лилии, тюльпаны и жарки... Получается — рай.

На полигоне под Тарусой штатных одиннадцать человек и две собаки — доберман по кличке Нота и московская сторожевая Скиф. Экспедиционный лагерь на самообеспечении: овощи со своего огорода, грибы, мед с пасеки. Все виды коммуникаций, включая интернет. По нему они узнают данные аэросъемки и сами вычисляют погоду.

Народ у Выговского разный: есть специалист-историк (изучает историю ландшафта), юрист (оформление документов, консалтинг), психолог (отработка сценариев поведения — приезд налоговой полиции, встреча с рэкетирами). Есть врач. Один человек в отъезде, временно руководит хором министров в Германии. Постоянно тут обитают четверо в вагончиках, остальные отходят на зимние квартиры. Это плохо, говорит Выговский, экологическая реставрация — не служба, а образ жизни.

Непривычный, прямо скажем.

Лучше всего их понимают ученые-дачники из биоцентра Пущино и городка

физиков Протвино, где «дорастивают» тюльпаны реставраторов. Есть у них друзья и в поселке Заокском — там, в Академии адвентистов седьмого дня, экологи-реставраторы построили теплицы на болоте. За рекой, в усадьбе Поленово, реставрируют ландшафт, высаживая с детьми из окружающих деревень боярышник, жимолость, жасмин, как было при великом пейзажисте.

На месте бывшей свалки живут замкнуто, не вступая в контакты с аборигенами. Разве что в деревне кого-то начинают убивать по пьянке — тогда вызывают по телефону милицию, а если пожар — пожарную команду. Приглашения в гости отклоняют, сами с просьбами не обращаются. Это кажется странным, но, если представить себе экспедицию на другую планету, именно так, верно, должны вести себя члены экипажа. А свалка — разве не другая планета? А живущие на ней — разве не инопланетяне?

Так они кто, спрашивали меня знакомые, — сектанты? Не знаю. Я не заметил на свалке Выговского ни агрессивности, ни веры в свою исключительность.

Слышал и другое, не менее жесткое мнение: Выговский свою теорию высосал из пальца, сидя в заключении. И ничем его теория не отличается от прочих «лагерных учений» — Кибальчича, Морозова, Даниила Андреева, Льва Гумилева... На нарах утопию создавать приятно — спасаешься от гнусной реальности. Но попробуй-ка воплоти свою теорию в практику на воле!

Вековая практика в России такова, что на свалку выброшен весь «уставный капитал человека»: дом, земля, совесть, семья...

Семью они, почти все разведенные, не жалуют: «А что, вы где-то видели нормальные семьи?» — спрашивают простодушно. Когда идут ночью по деревне, во всех домах — скандалы, крики. На этом держалась колхозная экономика, и сегодняшняя держится: жены не дают житья мужьям, поэтому мужики идут утром в гараж. А бабы чешут на ферму. Такая форма жизни, говорят экологи-реставраторы, себя исчерпала. Они ищут другую...

Тыква вместо сына

Самое интересное, что они размножаются. У них есть ученики.

От всех стажеров требуется:

- не допускать на территорию полигона посторонних лиц;
- не входить без приглашения на жилые и аграрные секторы коллег;
- соблюдать гармонию пространства, акустическую и санитарную гигиену;
- минимизировать контакты с местными жителями;
- при работе в пан-тайм режиме беспрекословно выполнять требования пан-дея... (Из регламента СЭР.)

По замыслу реставраторов, каждый такой пятачок должен стать школой, порождающей экспедиции, высаживающиеся на новые участки. «Сколько ж надо экспедиций, чтобы охватить всероссийскую свалку?» — спросил я Выговского. «Четыре-пять, — не моргнув глазом, ответил он, — а потом процесс пойдет сам, в геометрической прогрессии».

Учеников подбирают тщательно. Предпочтение отдается горожанам, испытывающим отвращение к свалке, но что-то при этом умеющим делать. А возраст, образование и национальность значения не имеют. Учатся стажеры год, из которого шесть месяцев — теоретическая подготовка на курсах Тимирязевской сельскохозяйственной академии (учредителя Службы экологической реставрации), остальное время — практика на полигоне. Программа обучения, предупредили меня, ноу-хау. Ну и ладно, расспрашивать не будем, так даже интересней. Немногие стажеры, пройдя все испытания, собираются в команды с индивидуальными программами. Одна, скажем,

арендует в Пушкино бомбоубежище и разводит шампиньоны. Другая выделяет из весеннего леса запахи, лечит ими больных; сосновый запах, говорят, хорош для легочников, а горьковатый полынный — для сердечников. Есть программы: «Пища богов», «Флора-уникум», «Супер-улей»...

Со стороны может показаться, что у них «поехала крыша». Но в мировой истории тьма полоумных предшественников. Среди них Пифагор, который оставил след не только своими «штанами», но и памятью о пифагорейских общинах, две с половиной тысячи лет назад превращавших пустыни в оазисы (впрочем, впоследствии истребленные местными «трактористами»). В предтечах числят психолога Георгия Гурджиева, пытавшегося создать в России в начале века Институт усовершенствования человека, но после революции уехавшего на Запад. Особенно почитают вышеупомянутого Даниила Андреева, написавшего во владимирском центре знаменитую «Розу мира». Из этой книги (с дарственной надписью жены философа-писателя) Выговский взял понятия «планета-сад» и «человек облагоустроенного образа».

Расспрашивали меня, профессора педагогики, о необычных школах вроде той, что у Михаила Щетинина, — вот откуда можно было бы взять на свалку выпускников или поехать создавать оазис к ним! На полигон приходят пропагандировать сорняки деревенские дети, работу им дают, но что с ними дальше делать, пока не знают. Откровенно говоря, не знают, что делать с собственными детьми. Некоторые учатся по индивидуальным программам (дочку одного из экологов-реставраторов учил химии специалист из Протвино, а сама она, освоив компьютерную верстку, зарабатывала себе на курсы английского). Но чаще детей вообще девать некуда («Здесь детская пустыня, — объясняли мне экологи-реставраторы, — в этой деревне школы нет, и в той нет...») и приходится подкидывать отпрысков городским бабушкам.

С одной бывшей москвичкой мы стояли на кусочке планеты-сада, где благоухали цветы со всего мира. Сын ее живет у бабушки. Мама считает, это пошло ему на пользу — стал жестче, самостоятельней. Но, может быть, ребенок и должен какое-то время пожить с другим человеком, который будет относиться к нему мудрее, чем родитель? «Когда у нас будет несколько полигонов, станем обмениваться детьми», — говорит она мне и показывает собственными руками выращенную тыкву, огромную, как в сказке о Золушке.

Впрочем, когда на каникулы дети все же съезжаются на полигон, все кажется не таким печальным. Я познакомился с Максимом — ему восемь лет, он собрал за лето коллекцию бабочек и жуков и все про них знает. «Это носорог, — показывает, — а это жужелица». Еще у него музей окаменевших водорослей, моллюсков, хвостов морских скорпионов и наконечников стрел каменного века — все нашел на свалке. То и дело Максим смотрит в небо и сообщает мне: «Над нами, дядя, дельтапланы летают и такие "жу-жу-жу", с мотором...»

За холмом — частный аэродром, с неба над полигоном то сыплются новые русские парашютисты, то старые выписывают «бочки» и «мертвые петли». «Дядя, вы знаете, — говорит Максим, — на воздушном шаре можно взлететь в любом месте, а опуститься не везде...» — «Как это?» — удивляюсь я. «А вот так! Наша земля не очень удобная для посадки»...

Напоследок — цитируя другую песню Высоцкого — позвольте пару слов без протокола.

О человеке облагоустроенного образа

Как и Высоцкий, полагаю, что место ему — на пустыре, на свалке. Детей почему-то привлекают пустыри и свалки. Те места, где обнажена изнанка взрослого мира. Где, как заметил один психолог, ничто превращается в нечто или в неизвестно что.

Но о своем ребенке все же думаешь: пусть время от времени он играет на свалке, а живет — в другом месте, почище и подальше...

Места вообще-то здесь чистые. Луга, леса, поля, устремленные в небеса маковки церквей. Фантастические оранжевые рассветы... Можно понять, почему отсюда родом Циолковский, Чижевский и изобретатель противогАЗа Зелинский. Понятно, почему в Тарусе жили Паустовский, Заболоцкий, Рихтер...

Я все думаю, как относиться к падшим ангелам со свалки.

Была еще такая пьеса у Вампилова — «Прошлым летом в Чулимске». Там юная героиня по имени Валентина, официантка из провинциального шалмана, разбивает под окнами заведения цветник и обносит его хилым заборчиком. Алчущие и жаждущие стремятся кратчайшим путем добежать после работы до распивочной — ломают загородочку, топчут клумбы. Валентина снова и снова чинит сломанное, растоптанное. Понять, зачем она это делает, не в силах ни герой пьесы, ни даже сам автор...

Каждую минуту семь гектаров земли в России становятся свалкой...

Почему так: сажаем вишневый сад, а в итоге — зона или свалка? На огромной свалке профукали мы свой век. Одна надежда — на ангелов.

Приемный родитель подобен небу

Первое, что мне тут понравилось, — нет фанатов. Никто куда-то тащит, а живет в свое удовольствие. Радуетесь полноте жизни. И то главное, ради чего они собрались, получается не натужно, а как бы между делом.

А что — главное?

Свою идею Дмитрий Морозов озвучил еще в начале 90-х. На радиостанции «Маяк», где он работал комментатором-международником, посмотрели на него как на сумасшедшего, но поддержали марафон для сбора средств на строительство поселения. Общину — семейный детский дом — назвали Китеж. Откликнулось несколько энтузиастов. В 1993 году, получив землю, поселились в ста километрах от Калуги.

Место было совершенно голое.

Посреди лесов и полей

Не скажу, что десять лет спустя, когда я оказался тут, их поселение воспринималось как нечто обыденное, хотя почта в Китеж поступает исправно, даже без упоминания соседней деревни Чумазово. Среди лесов и полей приезжий видит такую картину: с десяток срубов, школа, церковь, ферма, пасека... Может быть, не чудо-град, но и не обычная русская деревня с поставленными в один ряд избами, так что с одного конца не видишь другого. Китеж расходится кругами, и каждый из них — часть целого.

Основатель поселения — кандидат исторических наук, востоковед Дмитрий Морозов — счастливый отец ребенка, названного в честь Рериха Святославом. Когда я приехал в Китеж, Морозов кормил его из соски. Совет, решающий все дела, бесплатная столовая и баня («парнуха» по-здешнему), отсутствие денег, прием в общину до сорока лет, испытательный срок, дружелюбное отношение друг к другу (от мала до велика на «ты») напоминают кибуц ранней стадии развития. Но лишь отчасти — Китеж создан для другого. У взрослых нет денег, а у детей есть, местная валюта «кияне» конвертируема в рубли. Действуют аукцион, бар (чтобы научиться держать себя в обществе), магазин, где торгуют тортами собственного приготовления. Дискотека и кино тоже платные. Подростки, которые их проводят, расплачиваются за аренду помещения. Существуют три банка. Один обанкротился, дав прекрасный повод

объяснить детям, что такое «черный четверг». В Китеже хотят, чтобы ребята были подготовлены к реальному миру.

Мир же, в котором живут китежане, отличается от обычного лишь одним — они тут счастливы. Это видишь по лицам, по свету, по голосам, атмосфере такой любви и доверия, как будто над ними купол, оберегающий от ненависти и злобы. Тут и природа такая — непуганые птицы, «краснокнижные» звери и растения, огромный заросший парк, бывшее барское имение — место их обитания.

Здесьняя края — вотчина князей Барятинских, один из которых, генерал, говорят, пленил в прошлом веке Шамяля и привез в Калугу. Морозов считает, что это место с метками Чечни — на «историческом острие». От войны — не этой, а еще той, Великой Отечественной, парк — в глубоких, медленно зарастающих воронках. Бывшие детдомовцы, когда парк очищают, находят гранаты, мины. Благоустроивали территорию благодаря гранту Института устойчивых сообществ. А так — раздолье, буйство зарослей, на одного человека — целый мир. Природа лечит.

«Том Сойер идет», — кивнул Морозов на некое существо с натянутой на голову майкой и вытянутыми вперед руками, пробирающееся на ощупь по тропинке. При нашем приближении существо, не сбрасывая майки с глаз, издало радостный вопль. «Полгода у нас Андрюша, — объяснил Морозов, — в сравнении с ним вождь краснокожих — пай-мальчик».

«Вождь» последовал за Морозовым, а я вышел на поле и познакомился с пятиклассником Лешей Молчановым, который пас китежское стадо. Делал он это по воскресеньям (одна из заповедей Китежа — «добро не имеет выходных»). Леша сразу стал звать меня на «ты» и рассказал, какие у коров характеры: белая — самая бодливая. Коровы паслись рядом с «Химерой», к которой мы еще вернемся. Это летняя школа друзей Китежа, вундеркиндов из колмогоровского интерната. После них остались вычищенный пруд, сбитый длинный стол для занятий, кострище и место для палатки. Черная, мохнатая, с оранжевыми и белыми пятнами бабочка села на стол, сложив крылья. Пастушонок Леша Молчанов потрогал ее пальцами — вот чудо, она вздрагивала и не улетала, а потом вдруг раскрылась.

Я не стал Лешу расспрашивать, откуда он.

Аист принес

Попадают они сюда по-разному. Бывает, милиция привезет: куда его, в колонию или к вам? А так сами ездят по детдомам, высматривают. Лариса Аксеновских, ответственная за подбор и оформление детей в Китеж, говорит, что принять в семью сироту не так просто. Вроде ребенок тебе понравился, а документов нет или отец в тюрьме. Если ребенок свободен от родителей, можно брать его в Китеж. Но ребенок не свободен от своих родителей. Отец вернется из тюрьмы и может забрать его. Или не заберет — попадет в тюрьму снова.

По каким признакам отбирают детей? У них есть такое выражение: «взять на пробу». Это значит: когда ребенка в Китеж привозят, ему сразу не говорят, что теперь он будет чей-то. Просто приехал в гости, может погостить и вернуться. Но если между взрослым и ребенком проскакивает искра чувства, вот тогда спрашивают: «Хочешь жить с нами?» Без любви ничего не делается, — говорит Лариса. — Любовь и доверие — главное. Чтобы у ребенка возникло чувство привязанности к взрослому. Чтобы поверил, что его любят. А то, что он в приемной семье говорит через три дня «мама» и «папа», это еще ничего не значит. И в обыкновенной не значит. Ребенок приходит сюда с недоверием к себе и миру. У каждого исковерканная судьба, за каждым — мир ненависти. Как вылечить?

Иван Гошов, психолог-волонтер (есть в Китеже такая категория добровольцев),

рассказывал про игровую терапию. Есть такая большая кукла, ребенок надевает ее на руки и на ноги, и получается уже кто-то другой. И с ним можно разговаривать, высказывать то, что тяжело выговорить родителям, тем более не родным: на что я обижен, почему я злой? Нужно, чтобы ребенок выговорился.

Одна девочка, когда с ней занимались этой терапией, — рассказал психолог, — вот что сделала: мысленно положила на пол воспитателей детдома, откуда была. Здесь, сказала, лежит Марья Ивановна, тут — Виктор Петрович. Потом взяла игрушечный меч и начала им ноги рубить. «Что ты делаешь?» — спросил психолог. Она ответила: «Не хочу, чтобы они пришли и забрали нас».

Так отсекается прошлое.

А лекция тут не срабатывает, объяснял мне китежскую педагогику один из ее создателей, Дмитрий Морозов. Если ребенка били в милиции по почкам, то лекция ничего не даст. Ребенок просто должен прожить год в атмосфере абсолютной любви. Он должен оттаять...

Поэтому, чтобы стать приемным родителем, надо пройти год испытательного срока. Если за этот год человек доказывает способность находиться в гармонии с окружающими детьми и взрослыми (человека, который не любит взрослых, в Китеж не возьмут) и не выходить из себя из-за неправильного поведения детей, тогда у кандидата есть шанс остаться в общине, и он получает главную привилегию — право брать приемных детей.

Словом, чистилище перед раем (одна из заповедей Китежа: «Приемный родитель подобен небу, его должно хватать на всех детей»).

Я побывал в семье Ларисы и Андрея Аксеновских. Пока разговаривали, сидя за круглым столом, где помещается двенадцать человек, в комнату то и дело заглядывали дети, и каждый дарил маме цветок. Вышел букет.

Когда Лариса сюда приехала, еще ничего не было, стоял в лесу один дом, а она почувствовала — это ее. До того, говорит, металась, пробовала то, это, но покоя не было, а тут такое ощущение, будто попала на место, ей предназначенное, нашла то, для чего рождена. Ей предложили остаться. Через год она взяла Танюшку.

Потом приехал Андрей, и когда стало ясно, что они поженятся, Танюшка начала ревновать ужасно. А перед самой свадьбой вдруг резкая перемена — такая счастливая, как будто сама замуж выходит. Сразу после свадьбы, в ноябре взяли Женьку, ему было четырнадцать, а в январе — Машу, ей было семь. Женька к своему возрасту отучился в школе полтора класса, Маша тоже очень сложная, у нее постоянно были истерики, больше года прошло, прежде чем истерики стали стихать.

Потом взяли Наташу. В детдоме у нее было четыре сестры и братья, все с тяжелыми психическими заболеваниями, а эта, рассказывает Лариса, — такая девочка чудесная, единственное — не выговаривала пять букв, но через два месяца заговорила.

Все дети удивительно похожи на Ларису. Девочки такие же мягкие, женственные. Мы сидим за большим круглым столом и рассматриваем семейные фотографии. Свадебные, праздничные, среди цветущего луга. Фотографии счастья.

Привыкнув к постоянному несчастью, мы забываем, что бывает иначе. Что это возможно для обыкновенных родителей и детей — жить, испытывая радость сегодня, каждую минуту. Выйдя из дома Ларисы, я увидел аиста. Он стоял в поле, потом взмахнул крыльями и полетел. Скоро, наверное, еще кого-нибудь принесет.

Школа для умственно усталых

Утром детям дают выспаться. Потом все встают в круг: «Мы — плывущие облака, растущая трава, мы — часть всего, и все — часть нас...» (впрочем, эта древневосточная зарядка, которую проводит Морозов, — больше для взрослых, дети предпочитают

просто бегать и прыгать). С девяти-десяти до часу дня — уроки, потом час футбола, каратэ или танцы. После обеда еще один урок и полтора часа обслуживания Китежа (вода, дрова, животные на ферме), потом — живопись, резьба, куклы... После ужина что-то вроде самоподготовки — с книгой или в форме ролевой игры: в вечернее время не напрягают голову, но переживают эмоционально. В девять — час общины: игры со взрослыми, пение у свечи, стихи или хороший фильм. В десять-одиннадцать — отбой (но еще час разрешается не спать, если хорошая книжка, маленьким читают взрослые).

Где во всем этом школа — сказать непросто. То есть как помещение, вот она — на полянке избушка с вырезанными на фасаде буквами: «Школа». И в ней то, что положено: счеты, глобус, кристаллическая решетка, все вперемешку. Но традиционных проблем, скажем, семьи и школы, в Китеже нет, потому что тут нет каких-то особых учителей — они все родители. Конечно, приходя в школу и становясь учителями, родители делают все, что положено: задают на дом, спрашивают, даже порой ставят двойки, но дети относятся к этому спокойно, понимая, что дома за это не подвешат за ноги. Когда взрослые не надевают маски и не играют то в родителя, то в учителя, а просто живут вместе с детьми, вечная антитеза семьи и школы исчезает. К тому же часть уроков проходит в Китеже по домам, у разных мам.

Директор школы Наташа Харламова занимается перепиской с районо, как говорили раньше. Проверяющим оттуда все это не очень нравится, но их тоже надо понять: китежская школа не отвечает стандарту. Она может, как все, сдавать ЕГЭ, трижды числиться государственной, а на самом деле — общественно-домашняя. Почему родители решили стать учителями? Потому, объясняли мне, что для них главное то, чего казенный учитель дать не может. Я вспомнил отчаянные письма матерей к министру народного просвещения в начале прошлого века. И проекты — «Материнский элемент в программе школы». Объяснительная записка: литургия как откровение, опыт образного эмоционального преподавания, практическое домашнее освоение языков, живая речь, развитие души. Как это все дать без родителей? Поэтому и знания тут ценятся лишь такие, которые пропущены через сердце. И атмосфера совсем другая. И педагогика, ее принципы: учителя принимают учеников такими, какие они есть, основа взаимоотношений — интеллигентность и взаимное доверие, сотрудничество во всем, включая создание школы.

Это я уже цитирую методический материал под названием «Жизнь и удивительные приключения Химеры в Китеже». В качестве приложения к нему идет курс для студентов педвуза с такими, например, темами: «Эдем (рай) — первая школа человечества», «Смысл воспитания — обеспечить связь добра и свободы».

Все это здешняя педагогика и образ жизни. «Химера», летняя школа МГУ, обитает в Китеже уже не один год. В результате калужские леса и болота заселяются преподавателями и студентами разных московских вузов, учениками знаменитого колмогоровского интерната, «умненькими ботаниками», как называет руководитель «Химеры» Вячеслав Загорский юных лауреатов олимпиад из российской провинции. Про уровень интеллектуальной среды, в которую погружаются китежские воспитанники, говорить нет необходимости. Эту школу дети называли «для умственно усталых», и день пребывания в ней идет за три.

Основной метод, используемый в условиях дикой природы, песен у костра, стройотрядовских дел, в которых в Китеже недостатка нет, — взаимное обучение. Подтверждается, что студенты и школьники — лучшие преподаватели, чем доценты. Да и чисто психологически: одно дело, говорит Загорский, дядя с бородой втолковывает, что ученье — свет, и совсем другое, если почти ровесник с юношеским пижонством рассуждает, почему при подъеме бревна на сруб блок выгоднее рычага.

Задачки решают жизненные, одна запомнилась. Дано: мешок, который дети

приволокли с заброшенного деревенского склада. Определить по химическим реакциям, что в нем.

Что там за кот в мешке, именуемом жизнь, школа, педагогика?.. Что их в действительности интересует, умных и глупых, легких и трудных? (Трудных, может быть, потому, замечают в «Химере», что много знают и этим раздражают учителя? Или вместо учебы любят работать топором, обретают навыки в Китеже, а мы не даем им строить.) По данным проведенного здесь опроса (в баллах: какие курсы «понятны», «полезны», «интересны»), помимо пиротехники и сексологии (ну, это понятно), их привлекают (что понятно меньше) философия науки и история древнего мира и, что уж совсем неожиданно и непонятно, — как устроена современная Россия.

А как она устроена, кто это может объяснить?

Центр Баятинского района

Про Китеж теперь многие знают, я добирался на перекладных с другого конца Калужской области, и попутчики подсказывали, как лучше доехать. Община, но не монастырь, Китеж открыт для людей, которых называют друзьями. Они разные — вундеркинды Загорского и сотрудники Шалвы Амонашвили, бизнесмены и психологи, фотографы и политики, но всем им зачем-то нужен Китеж и они ему.

Предпринимателя Владимира Бухардинова за живописную внешность дети прозвали Карабасом-Барабасом. На самом деле Бухардинов — добрый гений китежского хозяйства. Володя говорит про себя, что он — старый конь, все испробовавший, потерявший веру в страну и нашедший ее здесь. По словам исполнительного директора «Китеж-агро», у них есть все необходимое для успеха: триста гектаров земли, заманчивая программа и... уже установленные огромные ангары для картошки, заметные, наверное, из космоса.

А кандидат наук, геолог Михаил строит тут церковь, как встарь, без единого гвоздя. Ему помогает студент из Бауманского Паша Трошин, которого я сфотографировал, он стоит на скате крыши, а Михаил за кадром в этот момент говорит: «Паша, всей плоскостью ногу ставь, как альпинист, тогда не поедешь». История строителя церкви Михаила такова: приехал в гости, решил поставить часовню, владыка благословил. И вот теперь строитель Михаил учится заочно в семинарии и будет тут священником.

Дурные люди по определению в Китеже не появляются, объект не тот. Можно даже предположить, что друзья Китежа — это лучшие представители окружающего его мира. Протаптывающие дорожки сюда и обратно, чтобы, оказавшись в мире — широком мире, — дети обретали лучшее, а не худшее в нем. Психолог Лайза из Великобритании, побывав в Китеже, нашла в разных странах пожилых людей, желающих иметь племянников и внучат. Теперь у Наташи Аксеновских есть крестная мать, преподаватель колледжа из Англии, у Маши — бабушка, архитектор из США, у Жени — дядюшка, психолог из Шотландии. Почти во всех семьях у детей появились «родственники за границей», с которыми общаются, переписываются по интернету, ездят друг к другу в гости, и, значит, дети Китежа уже живут в открытом обществе.

Может быть, вообще Китеж — ключ к нему? Но это высокая нота, а в километре отсюда есть деревня Чумазово. Для нее-то что такое Китеж — мираж среди калужских полей и лесов? А это как посмотреть. Мне рассказали, что для нужд местной стройки ищут крепких мужиков по деревням. Человек десять местных мастеров, фермеров уже работают в китежском хозяйстве. Попадая сюда, не пьют, не сквернословят. Что для них Китеж среди всеобщего раздора и разброда — рабочее место? — спрашивал я. «Надежда, — отвечали мне, — что не надо никуда уезжать, и тут жить можно».

Пожалуйста, люди, не уезжайте, не умирайте. Вот будет скоро храм Божий,

единственный в Баятине — тоже для кого-то надежда. И летняя школа МГУ — единственная надежда для учителей района. И Китеж — для детей... И выходит, живут себе люди, строятся понемногу, а получается чуть ли не центр Баятинского района. Что же такое Китеж: социальный эксперимент, педагогическое чудо, панацея от бед?

Собрались люди, несущие ответственность за себя и еще за кого-то, и строят жизнь, но не для кого-то, а для себя, как понимают и как хотят, и оказывается, что это возможно. Фантастика! Выходит, всего-то и нужно: не трогать людей, не пытаться народ спасти, и он сам спасется, и накормит, и научит.

И последнее о Китеже, под занавес.

Тут есть традиция: под Новый год ставить спектакль. В том году была рок-опера на английском языке «Иисус Христос суперстар». Постановщик Марина Максимова прокрутила для меня видеозапись, и я увидел бывших детдомовцев, «дебилов», изгоев, танцующих и поющих под фонограмму — Иисуса и Иуду, и апостолов... Все, это было видно даже по записи, здорово играли свою роль, а иногда и несколько. Саша исполняла арию Марии Магдалины и одновременно превращалась в прокаженную. Кирилл, с детдомовской неблагозвучной кличкой, полученной из-за того, что плохо двигался, отплясывал с девочками чарльстон царя Ирода, становился Иудой и гениально вешался на перекладине. И все они приставали к Иисусу: «Помоги, у меня нет ног! Помоги, у меня нет глаз!», — протягивая руки, взывали по-английски бывшие дети-сироты. «Нет, я не могу помочь всем, — отвечал семиклассник Егор в роли Христа, — слишком вас много...»

Это были не дети на сцене — чудо какое-то!

Кто бы мог подумать, что библейский сюжет получит такую интерпретацию. История оживает вновь, потому что она о каждом из нас, в Китеже и за его пределами. Другое тысячелетие, а в России создали мир, где миллионы детей бездомны. Что же мы построили? В заключение рок-оперы все действующие лица выходят на сцену и говорят: мы не ожидали, что с нами такое будет. Может быть, начнем сначала?

Александр Мелихов

Самозащита без оружия, или Новое изгнание из Эдема

Несколько лет назад один немецкий гуманитарный фонд собрал в Гамбурге десятка полтора публицистов из разных восточноевропейских стран, включая Россию, чтобы обсудить, как бы так изложить историю Второй мировой войны, чтобы никому не было обидно. Ведь все те народы, которые считают себя ни в чем не повинными жертвами, в глазах некоторых других жертв сами являются агрессорами, и, более того, вовсе избежать клейма агрессоров удалось лишь тем, кто был для этого недостаточно силен. Ибо, как писал Стефан Цвейг, покончивший с собой, не выдержав зрелища любимой Европы, обнажившей свою скрытую натуру, «нет ничего опаснее, чем мания величия карликов, в данном случае маленьких стран; не успели их учредить, как они стали интриговать друг против друга и спорить из-за крохотных полосок земли: Польша против Чехословакии, Венгрия против Румынии, Болгария против Сербии, а самой слабой во всех этих распрах выступала микроскопическая по сравнению со сверхмощной Германией Австрия».

И вот на встрече в Гамбурге нам предложили как-то ублажить их всех, в чем я вполне готов был участвовать: только ощутив себя до конца незапятнанными, народы перестанут обвинять друг друга. Но я обратил внимание, что среди претендентов на ублажение не оказалось евреев. А ведь все пострадавшие народы тем или иным образом приложили руку к их истреблению...

Об этом я говорить не стал (любые национальные обвинения способны породить лишь рост самооправданий, ибо признание национальной вины для любого народа есть крах экзистенциальной защиты, ради которой народы и существуют), я всего лишь предложил дополнить список евреями. После чего приятные выражения лиц сделались натянутыми, глаза обратились долу, однако только двое самых смелых решились произнести вслух, что о евреях сказано уже достаточно и что некоторые другие народы пострадали ничуть не меньше.

Иными словами, нас уже ревнуют к нашему званию самого многострадального народа: все тоже хотят быть «самыми-самыми», это понятно. Но вот попала мне недавно в руки книжка, озаглавленная составителем «Прорыв в бессмертие», — не книжка даже, а, в сущности, брошюра, изданная крошечным тиражом в 100 экземпляров. Под обложкой с несколько претенциозным названием помещаются воспоминания

Мелихов Александр Мотелевич — прозаик, публицист, автор многих романов, лауреат литературных премий. Постоянный автор «Дружбы народов». Последние публикации в «ДН»: «Преодолеть ужас» (№ 7, 2012); «Куда несет нас рок событий?» (№ 11, 2012); «Подручный Орфея». Роман (№ 4, 2013); «Что нас не разочарует?» (№ 12, 2013); «Мой маленький Тадж-Махал». Роман (№ 6, 2014).

нания Александра Печерского (которые, кстати, сам автор скромно так и назвал: «Воспоминания») — записки человека, который в октябре 1943 года организовал и возглавил восстание и массовый побег из фашистского лагеря смерти в польском местечке Собибор. Подвиг лейтенанта Печерского (войну он закончил капитаном) и все перипетии его жизни заслуживают особого рассказа, который увел бы разговор далеко в сторону, так что сейчас скажу лишь об одном — о фотографии из упомянутой книги. Разглядывая снимок мемориала на территории бывшего концлагеря Собибор, я обнаружил, что надписи на нем сделаны на английском, на идиш, на иврите, на голландском, немецком, французском, словацком и польском языках. Но не оказалось надписи на русском, том самом, на котором говорил Сашко Печерский и его ударный отряд. Честно говоря, я немного прибалдел. Ведь именно это советские антисемиты и вменяли в вину евреям — русский язык для вас-де не родной, — и памятник в Собиборе как будто нарочно задуман, чтобы подтвердить их правоту.

Авторы мемориала последовали за советскими идеологами и в том, что попытались скрыть имя Печерского от потомства, — на памятнике нет его имени. На этот раз, видимо, уже не за то, что он еврей, а за то, что советский: *евреи никому не интересны, если их нельзя использовать в собственных политических аферах и авантюрах.*

Одно из перестроечных изданий «Черной книги» открывалось предвоенной речью Гитлера, в которой он обличал либеральный Запад: если-де они так жалеют евреев, то пусть и забирают их к себе, но они же их не впускают, потому что на самом деле знают им цену. Да и Стефан Цвейг, идеализировавший европейскую цивилизацию (что его в конце концов и погубило), очень впечатляюще пишет о том, как вчерашние профессора, врачи, адвокаты, предприниматели тщетно просиживают штаны во всевозможных консульствах в ожидании въездной визы: кому нужны нищие!

На Эвианской конференции гуманнейшие и могущественнейшие державы мира тоже беспомощно разводили руками. Как пишет Википедия, подавляющее большинство стран-участниц конференции заявили, что они уже сделали все возможное для облегчения участи около 150 тысяч беженцев из Германии, Австрии и Чехословакии. Представитель США заявил, что по въездной квоте 1938 года для беженцев из Германии и Австрии США приняли 27 370 человек и этим исчерпали свои возможности. Аналогичную позицию заняли Франция и Бельгия. Канада и страны Латинской Америки мотивировали свой отказ в приеме беженцев большой безработицей и экономическим кризисом. Нидерланды предложили помощь по транзиту беженцев в другие страны. Великобритания предложила для размещения беженцев свои колонии в Восточной Африке (Эйхман одно время тоже надеялся выселить евреев на Мадагаскар), но отказалась пересмотреть квоту на въезд евреев в подмандатную ей Палестину (75 тысяч человек в течение пятилетнего периода — сотая часть нынешнего населения). Австралия отказалась впустить большое число беженцев, опасаясь возникновения внутривнутриполитических межнациональных конфликтов, но согласилась принять в течение трех лет 15 тысяч человек (при плотности населения меньше трех человек на квадратный километр). Из 32 государств только 8 согласились принять большое число беженцев и выделить необходимые земельные участки.

Заметьте, для страны со стапятидесятимиллионным населением сто пятьдесят тысяч человек — это одна тысячная еврея на душу населения, и все-таки даже эта тысячная доля оказалась неподъемной ношей...

Я об этом и сказал на презентации «Прорыва» — не надо обольщаться любовью Запада, мы ему интересны лишь в качестве жертв, которыми можно колоть глаза своим собственным конкурентам, — и снова выражения лиц (одни евреи, никакого прорыва в русский мир не произошло) немедленно сделались настороженными. А один пожилой человек (впрочем, других там почти и не было) начал обиженно говорить, что нужно больше писать о советском антисемитизме.

Ясно, что каждому более важным представляется то, от чего он пострадал лично,

но почему он заговорил об этом именно сейчас и притом в тоне протеста? Потому что, если и Запад не слишком надежный союзник, то, получается, что и Советский Союз был не хуже всех...

Успокойтесь, хуже, хуже... Кто нас обидел, тот и есть самый мерзкий. Жаль только, *из этого не следует, что его конкуренты будут нас любить*. Воспользоваться-то нами в своих целях они всегда будут готовы, но любить нас бескорыстно, кроме папы с мамой, не будет никто. Когда-то, разочаровавшись в советском Эдеме, где «за столом никто у нас не лишний», мы перенесли Эдем в «цивилизованный мир», и так не хочется признать, что Эдема нет нигде, что столы повсюду накрывают только для своих.

Это так горько, что вопреки всему хочется верить, будто где-то за горами, за морями живут благородные люди, готовые помогать нам безо всякой выгоды для себя (что мы и сами делаем чрезвычайно редко — но в сказке ведь все и должно быть не так, как на земле!). Поэтому я не удивился, когда после презентации хрупкий старичок подошел попенять мне, что я напрасно когда-то назвал европейскую цивилизацию движением от дикости к пошлости. «Ведь антисемитизм это только от дикости! Россия была дикая — евреев преследовали. Польша была дикая — евреев преследовали! А в цивилизованных странах...» — «Как по-вашему, Германия была цивилизованная?» — как можно более ласково спросил я (разрушать чужие сказки для меня так же мучительно, как, вероятно, для хирурга делать первый надрез, но ведь он же сам напросился...). — «Я знал, что вы это скажете! Это было минутное помрачение, а потом Германия покаялась и вернулась в круг цивилизованных стран!»

У него уже тряслась реденькая седая головка, и мне стало совестно: пускай уж он доживает в сладостной иллюзии, что все вежливые, гигиеничные, богатые и могущественные люди — его естественные союзники. Но вот от тех, кому предстоит жить, а не доживать, у меня нет оснований скрывать, что преклонение перед так называемой цивилизацией представляется мне всего-навсего преклонением перед силой и богатством и что в отношениях с нами даже самые благовоспитанные люди все равно будут руководствоваться своими интересами, а не хорошими манерами. Попробуйте по-хорошему изъять пару квадратных метров жилплощади у самого благовоспитанного господина, — пропустит ли он вас вперед так же любезно, как при входе на научную конференцию? (Где, кстати, далеко не все доценты с кандидатами удерживаются от нарушения регламента — от кражи чужого времени, если к тому имеется возможность.)

К сожалению или к счастью (ибо без этого они бы просто не выжили), даже цивилизованные люди остаются людьми. То есть животными, у которых страх *автоматически, роковым образом* вызывает агрессию, и чем выше «цена вопроса», тем сильнее ненависть, а следовательно и озверение, в какие бы рациональные и благородные одежды они ни рядились. Озверение, спешу подчеркнуть, это не просто немотивированная злобность (таковой не бывает, причиной злобы всегда является страх), но, прежде всего, некритичность, готовность набрасываться на все, что хоть чем-то напоминает источник опасности.

Звери поступают именно так.

Но, может быть, интересы цивилизованных народов с ростом образования действительно перестают требовать какого-либо объединения против евреев? Наряду со многими другими пошлостями, молва приписывает Черчиллю и такой афоризм: в Англии нет антисемитизма, потому что мы не считаем евреев умнее себя. Знаменитый американский писатель Филип Рот, десятилетиями разрабатывающий еврейскую тему, тоже признает, что в британской академической среде еврею вполне достаточно немножко стыдиться своего происхождения, и ему его за это тут же простят. А все потому, что в пору самого бурного зарождения наипаснейшего антисемитизма — религиозного — англичанин-мудрец прибегнул к наиболее гуманной версии оконча-

тельного решения еврейского вопроса — к изгнанию. Вот как это излагается в энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

«Приготовления к третьему крестовому походу оказались роковыми для английских евреев, пользовавшихся до тех пор сравнительно с другими государствами довольно сносным положением. Особенно пострадала тогда богатая еврейская община в Йорке. Судьба англ. евреев не улучшалась и при преемниках Ричарда, пока все они, наконец, после невероятных страданий не были совсем изгнаны из Англии (1290). Лишь спустя более 350 лет им опять дозволено было селиться в Великобритании. Все эти преследования евреев христиане оправдывали ссылками на разные их прегрешения. Их стали считать проклятыми за то, что предки их за тысячу с лишком лет перед тем не признали и распяли Иисуса Христа. Привыкши видеть в каждом отдельном еврее богоубийцу и приписывая ему ненависть к Спасителю, многие объясняли находимые в гостях красные пятна, признанные новейшею наукою своеобразным микроскопическим грибом, как кровавые пятна, происходящие якобы от укулов, сделанных евреями, — и за это страдало множество евреев. Когда стране угрожал неприятель, никто не сомневался, что лишенные отечества евреи служат ему соглядатаями и лазутчиками, и их признавали виновными без дальнейших доказательств. С таким же основанием евреям ставили в вину нашествие монголов (1240). В каждой беде виновных искали среди евреев. Исчезал ли где христианский ребенок, сейчас начинали ходить слухи, будто евреи умертвили его для употребления его крови в пасхальных опресноках, хотя еврейский закон в течение тысячелетий внушал и привил им глубокое отвращение ко всякой крови. Много бедствий причинила, напр., мирным еврейским общинам в Германии случайная смерть мальчика Симона в Триенте (1475), в которой, как положительно доказано, евреи были совершенно неповинны. Когда в XIV столетии (1348) так называемая черная смерть, перешедшая в Европу из Азии, похитила четверть европейского населения, придумана была нелепая сказка, будто евреи из ненависти к христианам отравляли колодцы. Ни светские, ни духовные государи, ни папские буллы (Иннокентий IV издал в 1247 г. в Лионе буллу, в которой он строжайшим образом осуждает все нелепые обвинения против евреев, в особенности в употреблении христианской крови), ни императорские охранные листы не могли спасти оклеветанных. Суеверие и предрассудки постоянно служили предлогом к грабегам и убийствам. Во многих местностях Германии евреи были поголовно истреблены (например, в Силезии в 1453 г.).

...Так как наветы против Е. действовали как заразная болезнь, переходящая с места на место, то положение Е. в Англии, Франции, Германии, Италии и на Балканском полуострове представляло одинаково печальную картину. Преследуемые Е. бежали на восток, в новые славянские государства, где царствовала веротерпимость. Здесь они нашли убежище и достигли известного благосостояния. Гуманный прием Е. нашли и в государствах магометанских».

Так вот, оказывается, почему славянские варвары столкнулись с еврейским вопросом, — потому что народы цивилизованные свалили его решение на них. Чтобы потом выставить им оценки. Как правило, «неуды».

Но, может быть, я неправ и прогресс цивилизации все-таки вел к исчезновению антисемитизма, а Холокост был лишь случайным протуберанцем, внезапно прорвавшимся рудиментом варварства? Попробую перечитать классическую «Историю антисемитизма», том второй — «Эпоха знаний» (Москва — Иерусалим, 1998) Льва Полякова, родившегося в Петербурге и состоявшего как крупный историк во Франции, — перечитать, выделяя те суждения о евреях, которые несомненно можно считать представляющими одно из лиц европейской цивилизации благодаря либо популярности этих суждений, либо авторитету их авторов.

Итак...

Джон Толанд, «первый свободный мыслитель в истории Запада», в 1714 году уже укорял англичан в «ненависти и презрении» к евреям, — в презрении, заметьте, не в зависти к их уму. Квазичерчиллевский афоризм лестен для нас, и уже по одному этому не может быть верным: истина всегда причиняет боль; только боль, только ушибы и ожоги вынуждают нас более или менее правильно ориентироваться в мире, психика же изо всех сил стремится хоть как-то смягчить мучительные открытия, и если мы дадим ей волю, она полностью окутает правду утешительными обманами. Борьба знания с утешением — трагическая борьба, в которой гибельна победа любой стороны. Когда в своем казахстанском Эдеме я безмятежно расцветал в окружении гопников, у них тоже не наблюдалось ни признака зависти к нашему брату: еврей в их глазах был труслив, жаден и хитер, но и хитрость его говорила не об уме, но исключительно о подлости, которая хозяевам жизни была просто в падлу. Устами гопника глаголет архаика: веками, тысячелетиями человеческий ум не был предметом поклонения — люди всегда поклонялись храбрости и щедрости. Мудрый законодатель, вроде Ликурга, еще мог войти в какой-то национальный пантеон, но тем, кто умеет хорошо устраивать сугубо личные дела, не ставили памятников ни тогда, ни сейчас.

Научный ум (но не социальный интеллект) обрел право на память потомства только где-то с эпохи Ньютона, а уж нашему брату еще лет триста было не до того. Нищая, но гордая Джен Эйр так отвечала возлюбленному, предлагавшему ей половину своего огромного состояния: «Уж не думаете ли вы, что я еврей-ростовщик, который ищет, как бы повыгоднее поместить свои деньги?» Где тут видна зависть? И почему бы этой почти святой страдальце, готовой скорее умереть, чем поступиться принципами, не сказать просто «ростовщик», не еврей? Тем более что евреи в романе больше ни разу не упоминаются?

В век Просвещения Мэтью Тиндал в нашумевшей книге упрекал евреев не только в жадности, но и в кровожадности: даже испанцы не могли бы перебить такую массу индейцев, если бы не находили примера в ветхозаветных преступлениях евреев, а Уильям Уорбертон доказывал истинность Откровения тем, что Всевышний избрал для этого «самый грубый и подлый народ среди всех народов мира». Однако ни среди хулителей, ни среди защитников евреев об их уме никто ни разу даже не заикнулся.

Любая опасность обостряет и антисемитизм — своего рода неспецифическую реакцию вроде повышения температуры. Наполеон, сосредоточивший в своей личности героическую грезу французского народа («хочет того же самого, что последний из его гренадеров, только в тысячу раз сильнее»), имел еще меньше причин завидовать евреям, чем моя родная шпана: «Евреи — это подлый, трусливый и жестокий народ», — но хотя бы ослабить «поразившее его проклятие» можно лишь путем смешанных браков: «Большое количество порочной крови может улучшиться только со временем». Однако для этого нужно разрушить изоляцию евреев, сделав их обычными гражданами, — что и побудило Наполеона даровать евреям гражданское равенство. В поисках нового органа, посредством которого он мог бы влиять на евреев разных стран, новоиспеченный император задумал собрать в Париже *Великий Синедрион*; из затеи ничего не вышло, но звон покотился. «Англия была также основным центром пропаганды французских эмигрантов, решительно настроенных, как и все эмигранты, выступать в роли политических подстрекателей. Главный печатный орган эмиграции "Л'Амбигю" в 1806—1807 годах посвятил целую дюжину статей Великому Синедриону» и в конце концов открыл, что «узурпатор сам был евреем». А через пятьдесят лет более пятидесяти английских и американских авторов независимым образом «пришли к выводу, что Антихрист уже пришел в образе Наполеона III и что он уже заключил союз с евреями!»

Правда, в самой Великобритании периода расцвета «навязчивый страх "еврейского завоевания" был несовместим с блистательной уверенностью подданных королевы Виктории, хозяев морей и мировой торговли». Тем более что «британские евреи

никогда не проявляли со своей стороны никаких поползновений связать свои интересы с "левыми" или "трудящимися классами": пока у англичан не было опасений за свое доминирование, не повышался и градус антисемитизма. Да и в художественной литературе еврей был всего только мерзким, как диккенсовский Фейджин, или трусливым, как вальтерскоттовский Айзек, но не агрессивным.

Правда, когда Дизраэли начал открыто упрекать христиан в том, что они, получив свою религию из рук евреев, не испытывают к ним никакой благодарности, Карлейль возмущался его «еврейской болтовней» и задавал вопрос, «как долго Джон Буль будет еще позволять этой бессмысленной обезьяне плясать у себя на животе?» Он также называл оппонента «проклятым старым евреем, который не стоит своего веса в свином сале».

Словом, мелочи. Но вот когда Джон Буль почувствовал не просто досаду, но реальный страх...

Уже 23 ноября 1917 года в лондонской «The Times» можно было прочесть, что «Ленин и многие его соратники являются авантюристами немецко-еврейской крови на службе у немцев». И далее любые антисемитские фальшивки немедленно перепечатывались в солидной английской и американской печати, обретая недоступную им прежде респектабельность.

Начало, впрочем, юдофобской волне положила куда менее страшная, в сущности, пустяковая угроза. Немецкий банкир-еврей Эрнст Кассель, любимец беззаботного Эдуарда VII, в 1907 году вступил в контакты с придворным евреем Вильгельма II Альбертом Баллином, вследствие чего могла возникнуть некая линия срочной связи, оставляющая в стороне оба двора и дипломатический корпус. И потому, когда Кассель после младотурецкой революции был приглашен в Константинополь для реорганизации османской финансовой системы, в английской печати разыгралась кампания, приписывающая турецкую революцию «иудео-сионистскому заговору, по мнению "The Times", или иудео-масонскому заговору, по мнению "The Morning Post"». В 1918 году британский посол в Вашингтоне сэр Сесил-Райс распространял эту информацию как совершенно достоверную и сравнивал в этом отношении Октябрьскую революцию с младотурецкой».

Когда в 1912 году разыгрался рядовой финансовый скандал «дела Маркони», к коему оказались причастны два высокопоставленных еврея (впоследствии полностью оправданных), Честертон даже в 1936 году уверял, что «дело Маркони является водоразделом в английской истории, который можно сравнить лишь с Первой мировой войной».

Это уже похоже на психоз: мировая катастрофа с десятками миллионов убитых и какая-то жалкая афера! Но, увы, в ситуации опасности *именно психоз становится нормой*, а душевное здоровье исключением. Неудивительно, что уайтчепелская еврейская рвань сравнивалась с захватнической армией — видно, еврейские портные с перепугу показались умнее англичан.

Разумеется, начало военных действий удесятирило уровень страха, а следовательно, и юдофобии, хотя в Англии евреи кричали о своем патриотизме ничуть не менее пылко, чем в других странах, а торпедирование «Лузитании» в мае 1915-го и вовсе «привело к слиянию массовой ксенофобии с изысканным антисемитизмом элиты». Остановлюсь лишь на паре наиболее элитарных эпизодов. Лорд Роберт Сесил писал о будущем первом президенте Израиля Хаиме Вейцмане, что его энтузиазм «заставлял забывать о его отталкивающей и мерзкой внешности», а Джозеф Чемберлен, вероятно, упустив из виду, что имеет дело с евреем, заявил итальянскому министру иностранных дел Сиднею Соннино, что он презирает лишь один народ — евреев: «Они все по природе трусы».

Декларация Бальфура о возрождении еврейского «национального очага» в Палестине тоже была принята с оглядкой на воображаемое могущество евреев, которое в

отношениях с Гитлером им впоследствии почему-то не помогло. Высокопоставленные чиновники даже утверждали, что если бы декларацию опубликовали чуть раньше, то евреи бы не устроили революцию в России. «С весны 1917 года газета "The Times" стала выступать в качестве посредника между черносотенцами и британской элитой», а через два года ее российский корреспондент сообщил, что большевики установили в Москве «памятник Иуде Искарриоту». Знаменитый же эссеист Честертон предостерегал английских евреев, что если они «попытаются перевоспитывать Лондон, как они уже это сделали с Петроградом, то они вызовут такое, что приведет их в замешательство и запугает гораздо сильнее, чем обычная война». Пусть они говорят, что хотят, от имени Израиля, «но если они осмелятся сказать хоть одно слово от имени человечества, они потеряют своего последнего друга».

Но ведь мы это больше всего и обожаем — говорить от имени человечества или хотя бы от имени его «цивилизованной» части. Для нас нет дела слаще, чем служить чужой совестью, выступать от имени тех, кто не подозревает о нашем существовании, стыдиться за тех, на кого мы не имеем никакого влияния. Да, глупость, да, спесь, да, позерство, но какая уж такая в этом пустозвонстве опасность? Увы, в ситуации массового психоза (нормального, естественного, неизбежного психоза — еще бы, из огня войны да в полымя красной заразы!) может оказаться опасным каждый чих.

«Лондон возглавил антибольшевистский крестовый поход. Естественно, британские военные и агенты пытались найти поддержку у своих прежних русских братьев по оружию и мобилизовать их на службу общей цели; понятно, что британцы при этом прониклись их взглядами и методами. Летом 1918 года британские войска, высадившиеся на севере России, разбрасывали с самолета антисемитские листовки; в дальнейшем эта практика была запрещена. Но взгляд на коммунистический режим преподобного Б.С.Ломбарда, капеллана британского флота в России, был включен в официальный доклад, немедленно опубликованный по обе стороны Атлантики». В докладе говорилось, что большевизм направляется международным еврейством, а национализация женщин уже в октябре 1918-го являлась свершившимся фактом.

В 1920-м году «официальными типографиями Его Величества» были напечатаны и «Протоколы сионских мудрецов», и в том же году главный столп британского консерватизма Уинстон Черчилль опубликовал большую статью, в которой разделил евреев на три категории: лояльных граждан своих стран, сионистов, мечтающих восстановить собственную родину, и международных евреев-террористов. То, как Черчилль описывал эту третью категорию, граничило с бредом, и самые иступленные антисемиты могли здесь что-то для себя почерпнуть. Так, евреи, относящиеся, по Черчиллю, к третьей категории, обвинялись в том, что, начиная с XVIII века готовили всемирный заговор. В поддержку этого обвинения он цитировал сочинение некой Несты Вебстер об оккультных источниках Французской революции. Он уверял также, что в России «еврейские интересы и центры иудаизма оказались вне границ универсальной враждебности большевиков». Оставив в стороне «бесцветных ассимилированных евреев», Черчилль приписал Троцкому проект «коммунистического государства под еврейским господством». Гитлер в «Моей борьбе» выразил полное согласие с этой версией.

Чтобы избежать более чем заслуженных обвинений в юдофобии, Черчилль во вступлении к его борьбе исполнил короткий гимн во славу евреев: они представляют собой самый замечательный народ из всех, известных до нашего времени (неужто они умнее даже и англичан?!), однако нигде больше двойственность человека не проявляется с большей силой и более ужасным образом, и вот в наши дни этот удивительный народ создал иную систему морали и философии, которая настолько же глубоко проникнута ненавистью, насколько христианство — любовью.

Этот гимн тоже можно включить в памятку юдофоба, ибо источником антисемитской химеры в ее современном варианте является греза о еврейской исключитель-

ности. Чрезмерная ненависть — следствие страха перед преувеличенным могуществом. И страх перед могуществом далеко не то же самое, что зависть к уму: любой интеллигент считает себя умнее своего президента.

Примеры можно и дальше множить и множить, но все они иллюстрируют одну и ту же закономерность: ни ум, ни талант, ни образование, ни уважение к законам, ни чистоплотность, ни вежливость и никакие другие достоинства, которые нам будет угодно включить в джентльменский набор цивилизованного человека, не уничтожают антисемитизма, но лишь отыскивают для него все новые и новые респектабельные формы.

Пробежимся хотя бы по самым громким именам и острым ситуациям.

Франция. Мадам де Севинье: «Поразительна та ненависть, которую они вызывают. Что является источником этого зловония, заглушающего все остальные запахи?» Вольтер: «Вы обнаружите в них лишь невежественный и варварский народ, который издавна сочетает самую отвратительную жадность с самыми презренными суевериями и с самой неодолимой ненавистью ко всем народам, которые их терпят и при этом их же обогащают». Мишле: «Они не догадываются, например, что в Париже есть десять тысяч человек, готовых умереть за идею» (это о еврейском корыстолюбии). Тьер: «Они имеют в этом мире гораздо больше власти, чем сами это признают, в настоящее время они выступают с требованиями, обращенными ко всем иностранным правительствам». Гюго: «Больше нет презрения, больше нет ненависти, потому что больше нет веры. Огромное несчастье!» (ну, с тем, что больше нет ненависти, главный французский романтик явно поспешил). Фурье о нежелании евреев есть некошерную пищу даже в высшем обществе: «Этот отказ принимать пищу со стороны главы евреев разве не подтверждает подлинности всех гнусностей, в которых их обвиняют, среди которых есть и принцип, что красть у христианина не воровство?» Лебон: «У евреев не было ни искусств, ни наук, ни промышленности, ничего, что образует цивилизацию». Баррес: еврейские финансисты составляют тайное правительство и торгуют самой Францией (это притом, что евреи не составляли и двух десятых процента населения Франции).

Этот список можно длить и длить, переходя из страны в страну. Кант: «Палестинцы, живущие среди нас, имеют заслуженную репутацию мошенников по причине духа ростовщичества, царящего у большей их части». Фихте: «Чтобы защититься от них, я вижу только одно средство: завоевать для них землю обетованную и выслать туда их всех». Гегель: «Трагедия евреев вызывает лишь отвращение. Судьба еврейского народа — это судьба Макбета». Шопенгауэр: «Родина еврея — это другие евреи». Гердер: всевозможные еврейские заправилы — «это бездонные болота, которые невозможно осушить». Гете о еврейском равенстве: «Последствия этого будут самыми серьезными и самыми разрушительными... все моральные семейные чувства, которые опираются исключительно на религиозные принципы, окажутся подорванными этими скандальными законами». Бисмарк: «Я признаю, что одна только мысль о том, что еврей может выступать в роли представителя августейшего королевского величества, которому я должен буду выказывать повиновение, да, я признаю, что одна эта мысль внушает мне чувство глубокого смущения и унижения». Вагнер: «Я считаю еврейскую расу прирожденным врагом человечества и всего благородного на земле; нет сомнения, что немцы погибнут именно из-за нее». Ницше: «Я еще никогда не встречал немца, который бы любил евреев». Трейчке: «Евреи — это наше несчастье».

Первая мировая война вместе с патриотической экзальтацией евреев всех стран, как и всякий военный психоз, произвела и взрыв юдофобии, вовсе не порожденной, но лишь доведенной до государственной откровенности Адольфом Гитлером в расовых законах 1933 года. В статье «Томас Манн в свете нашего опыта» («Иностранная литература», № 9, 2011) Евгений Беркович приводит запись из дневника Волшебника, сделанную через три дня после их публикации: «Евреи... В том, чтобы прекратились

высокомерные и ядовитые картавые наскоки Керра на Ницше, большой беды не вижу; равно как и в удалении евреев из сферы права — скрытное, беспокойное, натужное мышление. Отвратительная враждебность, подлость, отсутствие немецкого духа в высоком смысле этого слова присутствуют здесь наверняка. Но я начинаю предчувствовать, что этот процесс все-таки — палка о двух концах».

Запись через десять дней: «Возмущение против евреев могло бы найти у меня понимание, если бы утрата контроля со стороны еврейского духа не была столь рискованной для духа немецкого и если бы не немецкая глупость, с помощью которой меня стригут под ту же гребенку, что и евреев, и изгоняют вместе с ними».

Как тут не вспомнить, что в девятисотые Томас Манн вместе с братом Генрихом активно сотрудничал в откровенно антисемитском журнале, а в двадцатые революцию в России тоже называл иудобольшевизмом.

В демократической Америке антисемитизм на рубеже веков проявлялся больше в разделении клубов, отелей и учебных заведений на еврейские и христианские, — лишь после русской революции, как и повсюду, началось настоящее беснование, возглавленное Генри Фордом, достойным служить символом Америки не в меньшей степени, чем Томас Манн символом Европы. Блестящий литературный критик Генри Менкен писал в 1920-м году: «Их дела отвратительны: они оправдывают в десять тысяч раз больше погромов, чем реально происходит во всем мире».

Впоследствии юдофобия пошла на убыль вместе с военным психозом, но все-таки когда понадобилось не просто про них забыть, но еще и оказать помощь европейским евреям, она снова ощерилась. Вероятно, многие и сейчас прочтут с изумлением роман американского еврея и знаменитого драматурга Артура Миллера «Фокус», написанный в 1945 году по горячим следам событий, изображенных в манере крепкой очеркистики. Вот-вот окончится война, но благонамеренный стопроцентный американец мистер Ньюмен никак не обретет мира в душе. В нью-йоркском метро он прочитывает на стальной колонне: *Жиды развязали ВОЙНУ. И чуть ниже: бей жидов бей жи.*

И ведь почти каждый разделяет негодование человека, написавшего этот лозунг, с горечью размышляет мистер Ньюмен, но почему-то сказать всю правду вслух решаются только люди самого последнего разбора... Вот и его сосед Фред, «неповоротливый хряк», говорит «именно то, о чем ты думаешь сам, но сказать не решаешься». А говорит он, в частности, что кондитер Финкелстайн мало того, что сам въехал в их «чистый» квартал, так еще и родственников с собой перетащил: «Нужно устроить им тут веселую жизнь, они живо чемоданы соберут».

Мистера Ньюмена всякое насилие коробит. Избавление от евреев в его смущенных грезах предстает как-то так: вульгарная чернь под руководством джентльменов, вроде него самого, выполняет грязную работу, а после этого куда-то исчезает; поэтому каждый раз, когда чернь демонстрирует, что не собирается быть послушным орудием в чьих-то руках, а хочет хозяйничать сама, он испытывает растерянность. Но покупать у Финкелстайна все-таки перестает.

А между тем для его солидной работы ему срочно понадобились очки. Которые внезапно выявили некоторые ужасные особенности его облика: он сделался неотличимо похож на еврея — даже улыбка его уже не могла оставаться искренней в соседстве с «огромным семитским носом, выпученными глазами и настороженной посадкой ушей». Бедняга, однако, пытается вести прежний респектабельный образ жизни, но не тут-то было. Он под вежливыми предложениями отказывается принять на работу женщину с семитской внешностью, и она открыто выражает ему свое презрение, явно принимая его за мимикрирующего еврея. И он ощущает ее в чем-то правой.

«Для него еврей был прежде всего обманщиком. По определению. Только этот смысл всегда и был неизменным. Потому что бедные евреи вечно норовят притвориться, что они беднее, чем есть на самом деле, а богатые — что они богаче. Когда ему

случалось проходить мимо еврейского дома, за неряшливыми занавесками на окнах ему неизменно мерещились спрятанные деньги, и немалые. Если он видел еврея за рулем дорогого автомобиля, ему тут же приходило неизбежное сопоставление с черномазым, который едет на дорогой машине. С его точки зрения, благородных традиций, которые все эти люди пытались так или иначе выставить напоказ, им просто неоткуда было взять. Если бы у него самого завелся роскошный автомобиль, никто бы даже на секунду не усомнился в том, что он от рождения привык к роскоши. И любой нееврей выглядел бы так же. А еврей никогда. В домах у них вечно стоит вонь, а если ее там нет, то исключительно по той причине, что хозяева не хотят казаться евреями. Он был уверен: если они и делают что-нибудь порядочное, то никак не от души, а только для того, чтобы втереться в доверие к порядочным людям. Эта уверенность жила в нем от рождения, с тех пор, как он жил в Бруклине и буквально в квартале от его дома начинался еврейский район... Лицемеры, жулики. Все до единого».

Собственно, американское воображение дополнило этот вполне традиционный портрет лишь одной пикантной деталью — «животным вожделением к женщине», о чем говорит «их смуглая кожа и темные веки».

Однако теперь издевательское сходство с этими монстрами необратимо меняет его собственную жизнь.

Для начала его переводят с витринной, так сказать, части корпорации, где он работал, в некую изнаночную ее часть. Затем решительные ребята, собирающиеся устроить евреям веселую жизнь, начинают по ночам вместе с мусорным ящиком Финкелстайна опрокидывать и его мусорный ящик. Хотя Фред ему еще доверяет, делится своими планами купить загородный дом, когда «вскроем жидят», но защитить его уже не может: понимаешь, мол, старина, никто не верит, что ты не из этих. Отверженный англосакс по настоянию жены пытается засвидетельствовать свою благонадежность тем, что отправляется на антисемитский митинг Христианского фронта, но поскольку он не может скрыть, что откровенная психопатичность и вульгарность ему не по душе, его, слегка помяв, вышвыривают вон.

Поневоле оказавшись в одной компании с Финкелстайном, он узнает от опытного отверженца, насколько наивны его надежды на умеренных антисемитов, не выходящих из повиновения джентльменам, подобным ему самому: «Вы что, не понимаете, что они делают? На что им сдались евреи? В этой стране живет сто тридцать миллионов человек, а евреев — всего пара миллионов. Им нужны вы, не я. Я... Я... Я пыль под ногами, я ничто. Я им нужен только для того, чтобы натравить на меня людей, и тогда к ним повалят и мозги, и деньги, а потом они подомнут под себя всю страну... За всем этим стоит очень трезвый расчет, и они хотят заполучить всю страну».

Завершается роман настолько романически, — мистер Ньюмен обретает чувство солидарности с Финкелстайном и начинает борьбу с хулиганствующими юдофобами, — что лучше вернуться к исторической реальности. После 1933 года, когда евреям уже не просто чинили неприятности, а прямо убивали, Американский легион и Союз ветеранов требовали полного запрета на въезд беженцев. И организации эти были отнюдь не слабые: пара миллионов членов, включая чуть ли не треть конгресса, да еще поболее того единомышленников охватывали десятки, если не сотни мелких структур. Это если говорить об активистах. Но их желание закрыть страну разделяли примерно две трети рядовых граждан. Этим мнением да мнением народным создавался чиновничий саботаж, усилиями которого за время войны даже весьма нещедрая квота в двести с лишним тысяч душ была реализована лишь на десятую часть. Осквернение еврейских кладбищ, свастики на стенах синагог и еврейских магазинов, избиения, на которые полиция закрывала глаза, антиеврейские листовки, карикатуры, надписи на этом фоне выглядят уже сравнительно невинными забавами. По некоторым опросам, больше половины американцев считали, что евреи в США забрали слишком много власти, и даже «Новый курс» Рузвельта называли «Еврейским курсом» («New Deal» —

«Jew Deal»); правда, лишь треть этой половины готова была на деле принять участие в антиеврейской кампании, тогда как остальные соглашались только отнестись к этому с пониманием.

В таком окружении даже после войны авторитетные еврейские организации в Нью-Йорке отвергли предложение о создании мемориала Холокоста, предпочитая не напоминать ни о своих успехах, ни о своих бедствиях.

Я ворошу эти малоприятные воспоминания не для того, чтобы растравить старые обиды. Мысль моя совсем другая: славны бубны за горами. Сказки о заморских рыцарях без страха и упрека никак не помогут поладить с теми соседями, с которыми свела судьба, зато разладить ревностью существующее равновесие они очень даже могут, порождая несбыточные мечты и неосуществимые требования: реальные достижения не могут выдержать сравнения с грезой. В данном случае толкающей не к созиданию, но исключительно к конфликту, в котором можно только проиграть.

На мою реплику о бубнах за горами один мой американский товарищ ответил другой народной мудростью: «Зачем в гости по печаль, когда дома навзрыд? Ибо о русском антисемитизме — откуда и пошло по миру слово ПОГРОМ — ничего не сказано. Кому же на радость?»

Уж точно, никому. Понимание в нашем трагическом мире редко приносит радость, куда чаще безысходность. Именно поэтому мы так любим искать виноватого в наших несчастьях — заменить неустранимую причину, коренящуюся чаще всего в совокупной природе вещей, причиной локальной, а значит в принципе устранимой. Потому всем и хочется укрыться от древнего всемирного зла в новейшие частности российского антисемитизма. Я его тоже испытал на своей шкуре, не говоря уже о шкуре отцов и дедов, и потому-то я и стремлюсь избавиться от того неизбежного слепого пятна, когда монета, поднесенная близко к глазу, закрывает солнце. Я изо всех сил стараюсь говорить об антисемитизме как о мировом явлении именно потому, что мне это крайне неприятно. Но избегать неприятных мыслей означает искать клад не там, где он скрыт, а там, где легко копается. Наша психика настолько умело прячет от наших глаз все самое ужасное, что искать источники опасности следует прежде всего именно там, где особенно не хочется их видеть.

Да, слово «погром» вошло в английский язык после погромов Первой русской революции, у англичан не нашлось своего словечка для собственных, несколько более ранних деяний, о которых пишет «Электронная еврейская энциклопедия»: «Относительно спокойное существование евреев Великобритании пришло к концу под влиянием чувств, вызванных в христианском населении крестовым походом Ричарда I. Во время его коронации еврейский квартал в Лондоне был разграблен и многие евреи убиты (сентябрь 1189 г.). Весной следующего года волна еврейских погромов прокатилась по всей стране. В Йорке почти все евреи во главе с Иом Тов бен Ицхаком из Жуаньи покончили с собой, а остальные были уничтожены погромщиками (16–17 марта 1190 г.). Еврейские общины Великобритании долго не могли оправиться от этого удара».

Украинский национальный подъем эпохи, условно говоря, Тараса Бульбы тоже не подарил цивилизованному миру никакого специального термина, хотя «истребление около четверти еврейского населения страны, в которой была сосредоточена самая многочисленная и образованная община мирового еврейства, оказало глубокое влияние на еврейский мир. Раввины видели в событиях хмельничины признаки скорого прихода Мессии. В еврейском фольклоре, литературе и историографии "Хмель-злодей" (Богдан Хмельницкий, если кто не понял. — А.М.) — одна из самых одиозных и зловещих фигур». Если скучные энциклопедические данные не впечатляют, можно взбодриться впечатлениями очевидца Натана Ганновера: «У некоторых сдирали кожу заживо, а тело бросали собакам, а некоторых, — после того, как у них

отрубали руки и ноги, бросали на дорогу и проезжали по ним на телегах и топтали лошадьми, а некоторых, подвергнув многим пыткам, недостаточным для того, чтобы убить сразу, бросали, чтобы они долго мучились в смертных муках, до того как испустят дух; многих закапывали живьем, младенцев резали в лоне их матерей, многих детей рубили на куски, как рыбу; у беременных женщин вспарывали живот и плод швыряли им в лицо, а иным в распоротый живот зашивали живую кошку и отрубали им руки, чтобы они не могли извлечь кошку; некоторых детей вешали на грудь матерей; а других, насадив на вертел, жарили на огне и принуждали матерей есть это мясо; а иногда из еврейских детей сооружали мост и проезжали по нему. Не существует на свете способа мучительного убийства, которого они бы не применили; использовали все четыре вида казни: побивание камнями, сжигание, убийство и удушение».

Хорошо бы закрыться от этого кошмара, отправив его в варварское прошлое, да только никакого прошлого нет, есть одно сплошное настоящее — Христа распинали сегодня перед завтраком, а младенцев резали в лоне матерей к полднику. Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться — это лучше всех должны затвердить те, с кем это будет делаться.

Вот отчет, составленный Евобществом по архивам Евотдела Наркомнаца в 1926 году о «той единственной Гражданской», когда погромы сделались «непременной частью военно-стратегической программы»: «Здесь мы встречаемся не только с грабежом, но и с массовым истреблением еврейского населения на дому при помощи ручных гранат и холодного оружия (как, напр., в Елисаветграде, Проскурове, Умани и др.). В других случаях убивают только глав семейств (напр., в колонии Трудолюбовке и др.). Далее, вырезывается поголовно одно только мужское население без различия возраста (Тростинец и др.). Наконец, во многих местах убивают женщин, стариков, детей и больных, т.е. всех тех, кто менее способен скрыться или убежать.

Что касается методов физической пытки, то следует отметить, во-первых, наиболее часто применявшееся прижигание огнем наиболее нежных органов, затем идет примерное повешение, с многократным извлечением из петли, далее следует медленное удушение веревкой, отрезывание отдельных членов и органов — носа, ушей, языка, конечностей и половых органов; выкалывание глаз, выдергивание волос из бороды, жестокая порка и избивание нагайками до полусмерти.

Последние три вида пытки особенно широко применялись поляками в Белоруссии. Наконец, петлюровцами и бандитами еще практиковалось потопление в реках и колодцах, сожжение и погребение заживо. К числу пыток можно отнести также массовые насилия над женщинами, чаще всего над подростками и совсем малолетними девочками. Выжившие обыкновенно заболевали тяжкими венерическими болезнями и часто кончали самоубийством». Вы когда-нибудь слышали, чтобы старые добрые бандиты когда-нибудь занимались такими хлопотными изысканностями, как погребение заживо? Фамилии народных мстителей приводятся восхитительно автохтонные: Мацыга, Потапенко, Проценко, Дынька, но собственного слова для своих подвигов они тоже не породили — вот они, плоды имперской русификации! С тем уточнением, что при имперских порядках в самые страшные погромные годы счет убитых шел на сотни, а национальный подъем повел его на сотни тысяч. И те, кто из прекрасного далека поощрял борцов с реакционным самодержавием, в эти страшные годы ничем евреям не помогли, но, напротив, сами поднялись на борьбу с иудобольшевизмом. Соглашаясь тем самым, что погромщики в общем-то правильно выбрали мишень.

И все-таки слово «погром» не приобрело украинского акцента.

Упаси бог, чтобы я вел к тому, что русские хорошие, а украинцы плохие, мысль моя ровно обратная: все хороши. Не нужно подменять всеохватную неустранимую причину локальной и устранимой, тысячелетнее мировое явление сводить к одной исторической минуте и к одной стране, даже если она досадила нам больше других. Те, кто нас к этому поощряет, хотят нашими бедами и обидами дискредитировать своего

конкурента в собственной Большой игре, но нам-то с какой стати служить их пешками, заклеивать себе глаза и обкуриваться травой забвения? И по-детски делить людей на хороших и плохих, считая хорошими тех, кто нас треплет по щечке и протягивает конфетку.

Хороших и плохих людей нет вообще, есть только люди, чьи интересы оказываются совпадающими и несовпадающими, совместимыми и несовместимыми с нашими, иногда даже с нашим желанием оставаться живыми: слишком уж до острого психоза довел их страх. Как правило, мы бываем недостаточно сильны, чтобы в одиночку повергнуть в ужас и отчаяние целый народ, хоть немецкий, хоть украинский, хоть русский, но в качестве интеллектуалов и чужаков мы слишком уж бросаемся в глаза, наша беда — мнимое лидерство. Ну и, само собой, наши ненавистники тоже всего лишь люди, им тоже хочется найти *устранимую* причину своего страха. И если страх очень уж велик, любая власть жертвует нами, чтобы не ссориться со своим народом. Петлюра так и ответил еврейской делегации: не ссорьте меня с моей армией.

Еврейская политика Николая Второго была хуже, чем преступной, — ошибочной. Дело императора открывать наиболее энергичным инородцам путь в имперскую элиту, переманивать их, а не озлоблять. Конечно, это встретило бы сопротивление и элиты, и массы, да и приручить такого сильного конкурента было нелегко (а что легко, быть расстрелянным в подвале?), но вряд ли евреи оказались бы жестоковейнее немцев, вполне лояльно послуживших российской короне, — во всяком случае, верхи не вправе вламываться в обиды, как это делают безответственные низы. Однако даже и обидчивый самодержец отказался использовать восхитившие его «Протоколы сионских мудрецов»: «Нельзя защищать благородное дело грязными средствами». Цивилизованный мир оказался менее брезглив.

Наверняка его «личная неприязнь» подвигала императора и реагировать на погромное движение недостаточно оперативно (хотя что у нас делается оперативно?), можно даже допустить, что он и сам посылал погромщикам воздушные поцелуи, хотя доказательств тому не найдено. Но если даже предполагать самое худшее, Гражданская война все равно показала, во что разворачивается юдофобия без ограждений государственной власти. Если слушать не пропаганду ее конкурентов, а, скажем, заглянуть в «Записки коммивояжера» Шолом-Алейхема, то даже и казак может из погромщика на минуту превратиться в защитника: «Услышали мы про казаков и сразу ожили. Еврей, как только увидит казака, сразу становится отважным, готов всему миру дулю показать. Шутка сказать, такая охрана! Все дело лишь в том, кто раньше явится — казаки из Тульчина или громилы из Жмеринки. ...Как вы понимаете, они благополучно пришли в Гайсин, понятно, с песнями и, понятно, с криками "ура", — как сам Бог велел. Только они чуть-чуть опоздали. По улицам уже разъезжали казаки на лошадках и во всеоружии, то есть с плетками в руках. В каких-нибудь полчаса от «черной сотни» и помина не осталось. Разбежались, как крысы от голода, растаяли, как снег в солнечный день».

И тоже не потому, что казаки хорошие, а потому, что их интересы в ту минуту побуждали их находиться на стороне полицейского порядка. Никаких вечных союзников нет ни у евреев, ни у русских, ни у британцев, ни у готтентотов — есть лишь то совпадающие, то расходящиеся интересы. И сегодня интересы русских и евреев в России совместимы как никогда прежде, — если только евреи не станут воображать своими интересы т.н. цивилизованного мира, который в нас нисколько не нуждается и сдаст при первой же опасности.

Самое последнее впечатление. Сравнительно недавно ушли из жизни два виднейших философа-эстетика — Моисей Самойлович Каган и Леонид Наумович Столович. Моисей Самойлович профессорствовал в Ленинградском — Петербургском университете, а Леонид Наумович в Тартусском, что ему придавало дополнительный оттенок европейского вольномыслия. На рубеже девяностых он, естественно, выступал за

независимость Прибалтики, а после победы был немедленно уволен за слабое знание эстонского языка и доживал век в полном социальном одиночестве. Профессор же Каган завершал свой жизненный путь в полном почете, в окружении почтительных учеников, а после его смерти одной из аудиторий тут же присвоили его имя. Вот вам две еврейские судьбы — одна в «варварской» России, другая в «цивилизованной» Эстонии: все решает вовсе не цивилизованность, но совместимость наших интересов с интересами других народов. Эстонский народ всем хорош и вполне цивилизован, говорю без малейшей иронии, но для него, как и для всех этносов, на протяжении веков лишенных национальной независимости, страх ее снова утратить заставляет опасаться любого чужака, разговаривающего на языке завоевателей. В России же лишь очень немногие всерьез опасаются утратить национальный суверенитет, и потому (и только потому!) она сегодня менее подвержена националистическому психозу: толерантными бывают исключительно те, кто чувствует себя защищенным. Эстонский народ при всех своих неоспоримых достоинствах нуждается в хотя бы символическом реванше за перенесенные унижения, а русский пока что не очень нуждается. *Пока что.* Но, если хорошо потрудиться... Ведь для пробуждения националистического психоза менее опасно один раз выстрелить, чем сто раз прицелиться или тысячу раз оскорбить. (Разумеется, мы-то с вами никогда никого не оскорбляем, мы всего лишь говорим целительную правду, но ведь даже мы, служители Истины, готовы выслушивать горькие слова только от тех, в чьей любви мы уверены.)

Именно поэтому в укреплении экзистенциальной защиты русских более всего заинтересованы национальные меньшинства: уверенность титульной нации в своей красоте и значительности более всего и защищает российских евреев от обострения антисемитизма. А уверенность в том, что Россия спасла мир от фашизма, составляет один из важнейших слоев ее экзистенциальной защиты. И приравнивать коммунизм к нацизму как раз и означает подталкивать к нацизму ее самое: нацизм последнее прибежище униженных и оскорбленных.

Что говорить, Россия изрядно замордовала мир своим коммунизмом. Но я уже давно перестал понимать, сколько в этом противостоянии двух систем порождалось идеологией, а сколько вечной геополитикой. Коммунистические грезы начали очень быстро оттесняться задачами национального выживания, требовавшими сверхмобилизации не под теми, так под другими лозунгами, военный психоз же Тридцатилетней войны 1914 — 1945 позволил обойтись без особых подлостей только тем, кто был для этого недостаточно силен. Альтернативой коммунистической воодушевляющей сказке могла быть только националистическая, и вряд ли Россия нацистская оказалась бы более привлекательной. Вполне возможно, что Россия спасла от фашизма еще и себя самое — этим страшным коммунистическим лекарством: коричневую чуму излечила красной заразой.

Сегодня возможность красного реванша практически исключена — тем больше опасность воскрешения несостоявшегося фашизма, для стимулирования которого совсем не требуется военного разгрома, как это было с Германией, — вполне достаточно мелких, но неотступных укулов и покусываний, — цивилизованные владыки мира по-прежнему презирают уроки Макиавелли: не наноси малых обид, ибо за них мстят как за большие.

Вековая история прорыва из гетто российского еврейства заставляет задуматься о проблеме, грозящей сделаться еще куда более масштабней. В последнюю пару десятилетий обитателями некоего гетто на обочине «цивилизованного мира» начинают ощущать себя уже не евреи, а русские. При этом намечаются ровно те же способы разорвать унижительную границу, которая ощущается ничуть не менее болезненно даже в тех случаях, когда она существует исключительно в воображении (человек и может жить только в воображаемом мире). Первый способ — перешагнуть границу, сделаться большими западниками, чем президент американский. Второй — объявить границу несуществующей: все мы, мол, дети единого человечества, *безгранично* преданного общечеловеческим ценностям. Третий — провозгласить свое гетто истин-

ным центром мира, впасть в экзальтированное почвенничество. И четвертый, самый опасный — попытаться разрушить тот клуб, куда тебя не пускают.

Сейчас в некоторых кругах, расходящихся уже и до казенных циркуляров, модно утверждать, что Россия не Европа, а особая цивилизация. Другие же круги дают отпор: нет, мы часть европейской цивилизации! Дискуссия не может иметь конца уже потому, что никакого общепринятого определения цивилизации не существует, а лично я считаю цивилизацией объединение культур, связанных общей экзистенциальной защитой, представлением о совместной избранности. Поэтому провозгласить свою принадлежность к престижному клубу недостаточно — нужно, чтобы и члены клуба ее признавали. Но что, если одни члены ее яростно отвергают, а другие колеблются?

Тогда россияне, настроенные на конфликт, настаивают на особом пути России, а те, кто настроен на сотрудничество, настаивают — прежде всего — на культурном слиянии с Европой: ведь богатая чужая культура может только обогатить! Я тоже настроен на сотрудничество, но согласиться с этим аргументом не могу. Ибо главная миссия культуры — экзистенциальная защита, защита человека от чувства беспомощности в безжалостном мироздании. И с ослаблением защиты религиозной только ощущение принадлежности к своему народу дает массе людей возможность прислониться к чему-то великому и бессмертному. Так что любовь к чужой культуре бывает для нас продуктивна, когда она укрепляет нашу экзистенциальную защиту, и контрпродуктивна, когда ее разрушает.

Когда народу его собственная жизнь представляется недостаточно красивой, он деградирует как целое, а частные лица, не имея эстетического допинга, пытаются добирать до нормы с помощью психоактивных препаратов, а то и кончать с собой. Но кто-то стремится слиться с победителями, а кто-то, наоборот, пытается отвоевать оружием то, что проиграно в мире духа: международный терроризм — арьергардные бои культур, проигрывающих на всемирном конкурсе красоты. На этом фоне национализм, стремящийся лишь отгородиться, а не уничтожить источник культурного соблазна, выглядит вершиной мудрости и кротости.

Когда влечение к более блистательным культурам начало разрушать еврейскую религиозную общину, главный идеолог российских сионистов Владимир Жаботинский, европейски образованный талантливый литератор, объявил первейшей национальной задачей освобождение от влюбленности в чужую культуру — унижительной влюбленности свинопаса в царскую дочь. Когда ассимиляторы возмущались, что он, мол, тянет их из светлого дворца в темную хижину, Жаботинский отвечал, что не надо изображать свое предательство возвышенными красками; разумеется, чем обустроить родную хижину, приятнее перебраться в чужой дворец. Где, однако, вам не раз придется скрипеть зубами от унижения, ибо все дворцы обставлялись не для вас. Да, в нашей истории больше страданий, чем побед, но кто, кроме нас, среди этих ужасов сумел бы не отречься от своей мечты!

Это были типичные идеи изоляционизма и национальной исключительности. Но когда другие энтузиасты заговорили о некоем еврейском евразийстве — мы-де построим государство, вбирающее в себя черты и Запада, и Востока, — Жаботинский дал жесткий отпор. Какие черты Востока — отсутствие светского образования и демократии, порабощение женщины? Новый Израиль должен обладать всеми европейскими институтами, без которых не может быть национальной конкурентоспособности, — не из любви к «цивилизации», а из стремления быть сильным. И по мере становления государства идеологические крайности были оттеснены прагматическими задачами национального выживания, которые постепенно привели Израиль в клуб так называемых цивилизованных стран, а он как будто этого и не заметил: он никому не подыгрывает в обмен на улыбки и похлопывания. Ибо научился относиться к чужому суду, как и завещал Жаботинский, «с вежливым равнодушием». А если бы он твердил себе: «Мы европейская страна, мы европейская страна», — то каждый эпизод, который бы демонстрировал, что европейцы любят себя больше, чем евреев (а в политике такие

эпизоды неизбежны, ибо национальный и цивилизационный эгоизм это норма), — каждый такой эпизод непременно вызывал бы волну ненависти.

Этот «особый путь» сионизма в чем-то неплохо бы повторить и России: лучше не опьяняться пышным словом Цивилизация, чем сначала обожать, а после ненавидеть, — отвергнутая любовь свинопаса слишком легко обращается в ненависть. Пусть лучше к союзу с Западом снова приведет общность исторических задач среди общих новых вызовов, меж коих довольно назвать вулканическую панисламскую грезу.

На справедливость же надежды мало, вернее вовсе нет. В мире нет никакой высшей справедливости, справедливость всего лишь идеализация консолидированных интересов (материальных и психологических) каких-то групп, и психологические интересы даже самых расцивилизованнейших народов в ближайшие десятилетия никак не могут совпасть с нашими. Для этого достаточно одной лишь истории гонений и истреблений, которым евреи, по историческим меркам, до последней минуты подвергались в Европе. Европа хотя бы в глубине души просто вынуждена обвинять евреев в их несчастьях, чтобы не обвинять самое себя, не обвинять своих отцов и прадедов, не обвинять Вольтера и Томаса Манна, Бисмарка и Черчилля.

А уж в Холокосте оказались замаранными даже и те народы, чья экзистенциальная защита и вовсе строится на самоощущении себя как незапятнанных жертв восточных варваров (про зверства западных сегодня выгоднее забыть — всем, кроме нас). Пробежимся хотя бы по энциклопедии «Холокост» под редакцией маститого Уолтера Лакера (М., 2005). Мне хотелось бы вглядываться только в светлые эпизоды, которыми мои оппоненты наверняка пожелают защитить свою сказку, но я по-прежнему считаю, что если правда не причиняет боли, значит она прячется от самого главного.

Большая и утомительно подробная статья «Спасение»: «С началом войны британское правительство ввело тотальный запрет на иммиграцию из Германии и оккупированных ею территорий в какую бы то ни было часть Британской империи»; «Черчилль отверг просьбу Бен-Гуриона о личной встрече». Статья «Освенцим»: «Призывы евреев начать бомбардировку газовых камер были проигнорированы как в Вашингтоне, так и в Лондоне». «Франция»: «В целом власти Виши в оккупированной зоне занимались евреями решительнее, чем нацисты» (однако патриотично старались сдавать чужих евреев, беженцев вместо своих); «вскоре после прихода к власти в октябре де Голль понял, что неприятный вопрос о французском коллаборационизме способен расколоть нацию и помешать восстановлению страны. К тому же большинство французов не проявляло особого интереса заняться критической самооценкой с точки зрения их поведения во время оккупации (ай-я-яй, а где же *покаяние* перед евреями? — А.М.). Результатом стало постепенное складывание национального мифа о том, что подавляющее большинство французов во время 2-й мировой войны были участниками Сопротивления, режим Виши являлся заблуждением, а в его предательских действиях виноваты продажность и фанатизм нескольких безумцев». Стандартная форма национального покаяния — списывание общего греха на кучку козлов отпущения. А из-за евреев ссориться не стоит: «О преследованиях и депортациях евреев упомянуто не было». И даже в 1987 году на процессе Клауса Барбье, которому оттянуть на сорок лет и этим смягчить приговор от «вышки» до пожизненного помогла американская контрразведка, французские обвинители «осмотрительно избежали сколько-нибудь серьезного обсуждения связи Барбье с французскими коллаборационистами».

Статья «Военные преступления»: в британской зоне оккупации «перед военными судами предстали св. 1000 чел., в т.ч. личный состав СС из Берген-Бельзена, Освенцима и др. лагерей... Ни разу не предъявлялось обвинение в преследовании и истреблении евреев. Британская общественность, с раздражением относившаяся к продолжавшимся судам, к середине 1946 стала требовать их прекращения... К тому времени, когда в конце 1949 был отдан под суд последний обвиняемый — Манштейн, настроение общественности изменилось настолько, что даже Уинстон Черчилль сделал взнос в

фонд его защиты»; в американской зоне, чтобы не ссориться с «покаявшейся» Западной Германией, «смертные приговоры были отменены, а сроки тюремного заключения сокращены... К 1958 году американские власти освободили всех осужденных их судами в период с 1945 по 1955 годы»; «после войны многие тысячи коллаборационистов из Восточной Европы нашли убежище в США, Канаде, Австралии и Великобритании». Это не советская пропаганда, это сообщает издательство Йельского университета, в проекте участвовали также университеты Иерусалима и Хайфы.

Статья «Балтийские страны»: «Когда германские войска еще только занимали населенные пункты, местные евреи уже подвергались убийствам, изнасилованиям и грабежам со стороны своих соседей-христиан, ведомых и подстрекаемых представителями местных структур: солдатами, полицейскими и даже духовенством. Эти преступления обычно совершались под предлогом сведения счетов с коммунистами и др. активистами, советизировавшими их страну и помогавшими арестовывать местных патриотов, однако практически все жертвы не только не имели отношения к советизации, но и сами страдали при советском режиме по идеологическим причинам: за то, что были сионистскими активистами, или за участие в борьбе за независимость. Особенно часто объектами возмездия становились раввины. Их привязывали к хвосту лошади или к телеге и заставляли восхвалять И.В.Сталина перед толпами людей, которых выгоняли смотреть на этот спектакль»; «айнзатцкоманды находились под началом немногих германских офицеров, большинство же убийств в городах совершали в основном литовцы, латыши и эстонцы».

Однако слово «роггот» не обрело и прибалтийского акцента. Немцы же и вовсе подарили миру нечто оперно-ювелирное — «Хрустальную ночь».

Я вовсе не собираюсь «сыпать соль на раны», против чего предостерегают, как правило, не раненые, а незадетые, и совершенно не намерен сеять вражду — я уверен, что, пребывая в психозе ужаса, все способны на все: ужас и озверение — две неотделимые стадии единого процесса. Я думаю даже, что и в самое страшное время убивать евреев собственноручно были готовы немногие, большинство согласно было только закрывать глаза, когда это делали другие. Сегодня сила, готовая убивать, растет на глазах, — и с ее ростом неуклонно тяжелеют веки цивилизованного мира. Ему-то есть ради чего лишаться зрения — ради надежды, как и в прошлый раз, откупиться нами. Но нам-то зачем отворачиваться от правды? Да, это возвышает в собственных глазах (и более ни в чьих) — ощущать себя союзниками могущественных и благовоспитанных, миссионерами цивилизации в мире варварства. Но быть бессознательными пешками в чьей бы то ни было игре — в этой роли я ничего красивого найти не могу. А ничего другого нам не светит — мы слишком слабы, чтобы заключить равноправный союз с какими бы то ни было серьезными историческими силами: нам нечего предложить в обмен на их услуги. Поэтому рано или поздно они нас либо используют и выбросят, либо нами откупятся. Как это всегда бывало.

Для личной экзистенциальной защиты евреям открыты лишь две красивые позиции — общее уважение (в предельном случае путь Высоцкого — Спивакова — Алферова...) и трагическое одиночество. Трагическое одиночество — это тоже красиво, арсенал культурных образцов ковали гении: Байрон, Лермонтов... Да и Пушкин приложил руку: для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. А западная цивилизация ничего, кроме ливреи, не может нам предложить.

Использовать ее, разумеется, необходимо, как это делал и делает Израиль, но лгать самим себе и закрывать глаза на обидную правду — это уж слишком убого.

А вот трагический взгляд на мир, не допускающий ни моральной правоты (все моральные ценности противоречат друг другу), ни политической целесообразности (исторические процессы неуправляемы и непредсказуемы), красоту не только не отменяет, но, напротив, выдвигает на первое место — хотя бы уже потому, что ничего другого просто не остается.

Так и будем же, никому не подыгрывая, по-простому, без умствований восхищаться тем, что нас восхищает, и отвращаться от того, что нас отвращает, где бы и

кто бы это ни творил. Но это же безответственно?! Отвечаю: к катастрофам двадцатого века привели именно ответственные толпы, одиночкам это было бы не по силам.

Лучше думать о том, что красиво и что безобразно, чем о том, что цивилизовано, а что не цивилизовано.

В последний раз в Германии мне вздумалось поехать по небольшим городкам типа Кведлинбурга или Целле, не слишком катастрофически задетым «цивилизованными» бомбардировками англосаксов и «варварскими» бомбардировками русских. И до меня наконец дошло, каким же сказочно прекрасным был германский мир! В заштатных городках великолепные соборы, замки — но это все порождалось стремлением ввысь, к власти или к небесам, а внизу-то располагались бюргеры, поклоняющиеся вроде бы печному горшку! Однако и в этих низинах растут прекраснейшие ратуши и *сотни*фахверковых домов с такой резьбой, с такими росписями, что впадаешь в тоску от невозможности посидеть перед каждым хотя бы часок-другой. Это сколько же требовалось мастеров и заказчиков, умеющих создавать и готовых платить за красоту! Похоже, тогдашнее варварство в день творило больше красот, чем нынешняя цивилизация за десятилетия.

Похоже, потрясенно думал я, немцы и впрямь величайший народ Нового времени: их достижений даже в каждой отдельной области было бы достаточно, чтобы сделаться великим народом. Куда ни кинь, они в первых рядах, но другие звезды — чемпионы только в чем-нибудь одном, а они во всем, вот что поразительно! Архитектура — одних шедевров не перечислить. Живопись — Кранах, Дюрер, Гольбейн, Альтдорфер, Грюневальд-Нитхардт в начале, экспрессионисты под занавес. Литература — от Шиллера-Гете до того же Томаса Манна. Математика от Гаусса до Гильберта, физика от Гельмгольца до Гейзенберга (это лишь гении первой величины!), музыка — Бах, Бетховен, Моцарт, философия — Кант, Гегель, Шопенгауэр и прочая, а еще химия, микробиология и просто биология, а техника, а промышленность — просто голова кругом идет!

И... И при чем тут цивилизация? Если в одном доме живут поэт, художник, ученый, инженер, адвокат и лавочник, есть ли хоть малейшие основания приписывать адвокату и лавочнику гениальные поэмы и картины, великие изобретения и открытия? Их рожают совершенно иные грезы, чем те, которыми живут блюстители порядка и труженики прилавка. Если бы я тяготел к широковещательным декларациям, я бы сказал, что в Германии западная цивилизация уничтожила западную культуру. Гибель прекрасных зданий и великих научных школ — это потеря не Германии, это потеря человечества.

А что до ужасов, которые она натворила, — стоит ли обитателям общего сумасшедшего дома гордиться тем, что их психозы протекали в менее острой форме или у них не хватило сил разорвать смиренную рубашку? Те же кошмарные бомбардировки, перемоловшие в пыль Дрезден и Мюнхен, — разве они не были психотическими? Или интернирование японцев в Америке? Я не ханжа, я никого не осуждаю — я сам таков. Никому из нас не следует воображать о себе слишком много: даже легкая, но затянувшаяся тревога за свою безопасность способна превратить в психотиков миллионы людей. Надо знать этот медицинский факт и помнить, что *нет ничего страшнее страха*. И что одним психотикам не следует судить других только на том основании, что их обострение случилось на полчаса раньше или случится минутой позже.

Однако незачем и забывать, что, хотя на военный психоз 1914—1918-го ужаснее всех отреагировали побежденные — Россия и Германия, но создавали-то его все вместе, и чистые, и нечистые. Закрывать на это глаза незачем, нам за это не заплатят.

Кстати сказать, в том же чудесном, чистеньком, приветливом Кведлинбурге меня среди ночи разбудил хоровой вопль, а потом загремело «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес», — Германия выиграла какой-то судьбоносный футбольный матч. «Ага! — подумал я, — и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь!»

Радио «Голос цивилизации» когда-то слушали даже такие эстеты, кто считал чрезмерно пропагандистским «Голос Америки»: у «Голоса цивилизации» была и впрямь утонченная культурная программа. И потому на чужбине, наткнувшись на него в интернете, я вслушивался в этот голос, словно в голос далекой утраченной отчизны, тем более что вещал он из мирной славянской страны. Мой соплеменник по отцу, чья фамилия в переводе с иврита означала приблизительно «уличный проповедник», с исключительной осведомленностью в предельно достойном тоне излагал историю начала Первой мировой войны. В его рассказе было столько новых подробностей, что я заслушался. Проповедник вел к тому, к чему уже и без того склонялась моя покоренная солнечным германским гением душа: миру было бы лучше, если бы победили Центральные державы. Черт его знает, может, и так, возможно, Европа, разделенная меж тремя могучими империями (капитуляция России была бы куда лучше полной гибели всерьез), оказалась бы и впрямь устойчивее Версальской нарезки. Когда национальные грезы западных славян при мощной поддержке России взорвали европейскую часть Османской империи, сравнительно рациональным великим державам нужно было либо выдать каждой кучке романтиков по собственному государству, либо всем рациональным миром удерживать их в зоне националистического Чернобыля и ни в коем случае не пытаться использовать «бешеных» в собственных целях. Миром должны править сильные и рациональные, объединившись в Священный союз против всякого иррационального безумия, как национального, так и религиозного, и трем уверенным в себе великанам было бы неизмеримо проще договариваться друг с другом, чем десяткам лилипутов, изнывающих от жажды реванша.

Однако оказалось, проповедник говорит не о низкой безопасности, но о высокой цивилизованности. А цивилизованность, проникновенно вещал он, это уважение к человеческой личности, и в начале двадцатого века Германия была тем же, чем для античного мира был Древний Рим. И сразу сердце за удил, соловьев камнями с ветки — меня еще в школе поразило, что во время восстания Спартака в Риме было вдвое больше рабов, чем римских граждан (кто-нибудь подсчитал, сколько рабов было у варваров?). Но самой большой мерзостью мне показались не просто убийства, но *распятия* пленных вдоль дороги от Рима до Капуи, что ли. Какими же тварями надо быть, чтобы сколачивать эти кресты (тысячи крестов!), прибавлять к ним людей, оставлять их там именно что на *невообразимые* муки, а потом еще хвастаться и пировать?!.. Да и сами гладиаторские бои — как такое в голову могло прийти, — любоваться, как люди убивают друг друга?!..

Я был еще юн и глуп, теперь-то я понимаю, что римляне действовали совершенно по-человечески: это же так по-людски — наслаждаться своим совокупным торжеством над какими-то недочеловеками. Но нам-то, отверженным, ради чего кому-то подпевать! Пусть домовладельцы любые мерзости, которые творятся у них в доме, ответственно называют исторической необходимостью, а мы, бездомная шантрапа, можем себе позволить говорить все, что хочется, называть мерзость мерзостью, гадость гадостью, зверство зверством и низость низостью, — нам-то чего ради прислуживать тем, кто нам не служит и служить не собирается, даже если мы в них видим врагов нашего врага?

Допустим на миг, что это было в варварском прошлом, хотя на самом деле резали и распинали ровно те же люди, которые живут сейчас и будут жить завтра. Но что, если бы наша юная дочь привела жениха в наколках и объявила, что Васенька очень добрый и хороший, но ему всю жизнь ужасно не везло. Еще ребенком он от голода украл булочку, хозяин схватил его за шиворот, а бедный маленький оборвыш воткнул ему шило в глаз. Его избили до полусмерти, он озлобился и поэтому стал уже не просто красть, но грабить и убивать. Его отправили на лесоповал, надзиратели начали над ним издеваться, и он от обиды распилил одного из них бензопилой, а другого сварил в бригадном котле — он ужасно ранимый, он не терпит несправедливости.

И так далее. Но теперь он покаяться и больше так делать не будет. Как мы к этому отнесемся? Поверим или решим, что если человек до сорока лет крал, грабил и убивал, то, скорее всего, будет делать это и дальше? Над чужой дочерью я, пожалуй, еще бы рискнул провести эксперимент, но свою бы лучше запер в светлице.

Человечество и есть этот самый Васенька. Да, в «бель эпок» в Европе никого уже, слава те, господи, не распинали, но хотя бы та же Германия, раз уж ее сочли главным очагом цивилизации, за десять лет до Сараева на территории нынешней Намибии на четыре пятых истребила племя гереро. Немцы отнимали у них пастбище за пастбищем, пока эти варвары не взбесились и не перебили около ста двадцати колонистов, включая женщин и детей, которые считаются для этого не предназначенными. В ответ немцы взяли примерно по 540 черных голов за каждую белую: «Я отдал приказ убивать пленных и отправлять женщин с детьми в пустыню», — отчитывался генерал фон Тротта. «Когда начался сезон дождей, немецкие патрули обнаружили разложившиеся трупы, валявшиеся около сухих скважин глубиной от 12 до 16 метров. Африканцы вырыли их в тщетных попытках найти воду». Такая вот цивилизация для своих. Так пусть ее свои и облизывают.

В монографии Ж. Котека и П. Ригуло «Век лагерей» (М., 2003) можно найти очень колоритные подробности и об английских концлагерях для буров — профилактических, для мирного населения («Дети умирали сотнями от дизентерии, фурункулеза, пневмонии, кори и коклюша»), и о трудовых подвигах при строительстве железной дороги помилованных остатков гереро: «Крики и брань, удары плетью, изнасилования, полуголодные мужчины и женщины, лежащие вдоль железнодорожных путей тела искалеченных и убитых»; «кожа и мясо летели клочьями»...

Пускай такое творится уже где-то на обочинах и в меньших масштабах, чем это, возможно, бывало у варваров, хоть я в этом и далеко не уверен, но когда такие вещи творят люди образованные, благовоспитанные и законопослушные, — лично для меня это в тысячу раз отвратительнее. Так что желающие могут лизать у этой цивилизации все что угодно в обмен на иллюзию причастности к ней, но лично я считаю достойным только обмен равноценными услугами, баш на баш. Вы нам, мы вам. Утром деньги, вечером стулья. Те, кто использует «цивилизованный мир» в качестве орудия личной мести или карьеры, — люди серьезные: бизнес есть бизнес. Жалкими мне кажутся исключительно те, кто прислуживает «цивилизации» бескорыстно, воображая себя ее проводником. Трагическое одиночество неизмеримо более красиво.

Одиночество — очень тяжелая ноша, но возможность говорить правду хотя бы себе самому, никому не подсуживая, — и о богатых, и о бедных, и о чистеньких, и о чумазах, и о хищных, и о травоядных, — называть мерзость мерзостью, а красоту красотой, где бы они ни встретились, и кто бы их ни творил, — это тоже способно распрямлять и воодушевлять.

Мне ли не знать, что отверженным, лишенным счастья каплею слиться с массой, требуется экзистенциальная броня тройной толщины и лучше всего — историческая миссия. Миссия посланника цивилизации в стане варваров была бы всем хороша, если бы не требовала такого слоя унижительной лжи, — уж слишком оскорбительна очевидность того, что у цивилизации и собственных посланников выше крыши. И даже в шестерках она нуждается не слишком: хотите — шустрите, не хотите — без вас обойдемся, к нам очередь стоит.

А вот кто или что в нас нуждается — это движение *эстетического сопротивления*. Я говорю о новом, эстетическом интернационале, который вменяет своим членам только одно: всюду восхищаться прекрасным, у какого бы народа оно ни встречалось, и брезговать безобразным тоже всюду, никому не делая скидок.

И никогда, даже легким кивком, не поклоняясь успеху.

Чем не миссия?

Константин Фрумкин

Евромайдан и кризис национального государства

Всякая революция имеет смысл лишь постольку, поскольку воплощает некую важную и исторически перспективную тенденцию общественного развития. Именно поэтому значимость революции нельзя оценить сразу, но лишь по прошествии лет, когда становятся ясными ее последствия и видны направления исторического движения, ускоренные или задержанные политическим переворотом. В этой связи Великая Октябрьская революция — независимо от оценки ее последствий — была безусловно исторически плодотворной, поскольку не только привела к превращению России в социалистическое государство на многие годы, но и послужила началом формирования «мировой социалистической системы». То же самое можно сказать и о кемалистской революции в Турции, резко ускорившей процесс европеизации этой страны.

Об историческом смысле украинского Евромайдана говорить пока слишком рано. Одни воспринимали его как движение антикоррупционное и демократическое, другие — как националистическое и антироссийское, но оценки сами по себе ничего не значат, поскольку в нашем распоряжении пока нет сведений о десятилетиях развития Украины после Майдана.

Хотелось бы, однако, обратить внимание на один аспект. Майдан, как известно, начался из-за вопроса о подписании договора между Украиной и Евросоюзом об ассоциации. В рамках самой революции вопрос этот, казалось бы, сыграл роль раздражающего символа, не имеющего содержательного значения. Однако также ясно, что за вопросом о «евроассоциации» стоял несомненно важный выбор, перед которым стояла Украина, а именно — вопрос выбора между европейской и российско-евразийской системами международной интеграции. Волею судеб Украина оказалась на границе двух этих макрорегиональных интеграционных систем и — в отличие, скажем, от Швейцарии — могла выбирать между двумя международными союзами. Если окажется, что политический кризис 2013—2014 годов окончательно укрепил движение Украины по пути интеграции в Европу, то это будет означать, что Евромайдан имел — в данном контексте неважно, положительное или отрицательное, — но однозначно важнейшее историческое значение, поскольку стал началом длительного движения Украины в сторону присоединения к европейским структурам, заимствования европейских стандартов и адаптации к европейским институтам. Превращение страны в часть единой Европы несомненно судьбоносно и для самой страны, и для Европы как географически расширяющейся интеграционной системы, выходящей (учитывая Турцию) за свои географические рамки.

Все это важно именно потому, что наше время есть эпоха строительства крупных региональных интеграционных, экономических и политических союзов, которые — если взглянуть в футуристическую перспективу — с большой вероятностью являются переходной формой к общепланетарной политической системе. До мирового прави-

Фрумкин Константин Григорьевич — культуролог, журналист. Публикации в «Дружбе народов»: «Парадоксы традиционализма. По следам одной дискуссии» (№ 2, 1998); «Традиционалисты: портрет на фоне текстов» (№ 6, 2002); «Политкорректность — это судьба» (№ 3, 2010).

тельства дело пока не дошло, однако Европейский союз показывает, как может выглядеть региональная международная конфедерация, вслед за которой идут такие организации как МЕРСОКУР в Латинской Америке, Транс-Тихоокеанское партнерство или АСЕАН в Юго-Восточной Азии.

Успехи России в создании интегративных структур, выразившиеся в образовании Евразийского экономического союза, Таможенного союза и т.п. объясняются именно тем, что эта деятельность соответствует важнейшему современному историческому тренду — образованию экономических блоков и межгосударственных торговых и политических союзов, в перспективе берущих на себя часть функций национальных государств. Можно сказать, что российское правительство «оседлало волну истории», двигаясь, впрочем, в кильватере стартовавшей полувеком ранее объединенной Европы.

Парадокс в том, что тайной идеологией интеграционных процессов в Евразии часто выступает идея восстановления Российской или советской империи, и это отнюдь не приносит пользу самой евразийской интеграции. Наоборот: опасность превращения экономического союза в империю отталкивает многих тех, кто не хотел бы жертвовать суверенитетом своих стран ради российских имперских амбиций. При этом «имперская опасность» пугает политиков не только в таких странах, как Грузия и Украина, демонстративно покинувших «евразийский процесс», но и в Казахстане и Белоруссии, в евразийской интеграции участвующих, но соблюдающих сугубую осторожность, чтобы не дать возможность России установить над ними политический протекторат. Пример — нашумевший демарш президента Нурсултана Назарбаева, который в конце августа 2014 года заявил, что Казахстан может покинуть Таможенный союз, если тот будет угрожать независимости страны.

Впрочем, роль имперской идеологии в евразийской интеграции двояка: с одной стороны, она тормозит ее, отпугивая потенциальных участников и заставляя их быть более осторожными; с другой стороны, она придает больше энтузиазма российским политикам, являющимся главным «двигателем» евразийского процесса. Чего больше — торможения или ускорения — сказать трудно, однако ясно одно: те, кто принимает евразийские структуры за эмбрион империи, ошибаются, ибо время империй миновало, а время торговых союзов, перерастающих в торгово-политические, — наступило.

Кстати, «российские имперцы» ошибаются не только на свой счет, но на счет Европы, ибо российская пресса, меряя весь мир «по себе», иногда готова объявить объединенную Европу чуть ли не Германской империей, в простоте душевной выдвигая предположение, что коль скоро Германия — самая сильная, большая и богатая страна Евросоюза, то она в нем доминирует и им управляет, подобно тому, как Россия в реальности или мечтах действует в Евразии. Так, один из блогеров назвал еврозону «четвертым рейхом», написав, что «проект "Единая Европа" под названием "Еврозона" фактически целиком и полностью контролируется Германией в ущерб другим странам блока»¹.

Смешение империй, управляемых правительствами метрополий, с межгосударственными союзами, реализуемыми через консенсусные решения многих правительств, вполне понятно, поскольку раньше империи выполняли примерно ту же самую функцию, что ныне экономические союзы, в частности — обеспечивали снижение торговых барьеров, уменьшение таможенных пошлин и вообще «гармонизировали» экономические связи. Сегодня историки экономики говорят, что между 1870 годом и Первой мировой войной возникла так называемая «первая волна глобализации», в ходе которой мир достиг высочайшего уровня экономической интеграции, который, к сожалению, понизился из-за последовавших мировых войн. В этот период важнейшим орудием глобализации были колониальные империи, вовлекающие в торговлю большое число стран по всему миру, даже если это была всего лишь торговля со своей метрополией. В этом смысле экономические союзы действительно являются преемниками империи. Другое дело, что вовлечение страны в экономический союз, предполагающее согласие ее элиты и правительства — дело

¹ Цит. по: <http://spydell.livejournal.com/536865.html>

деликатное и сложное, и неосторожность в этом деле порождает кризисы, подобные украинскому 2013—2014 годов.

Политологи, анализирующие украинский кризис в тактическом плане, неизменно утверждают, что речь идет о соревновании России и Запада за влияние на Украину. Однако эта тактическая борьба за влияние выглядит совершенно иначе, если вспомнить что в России очень многие, начиная с президента Владимира Путина, вполне осознают или, во всяком случае, говорят, что осознают: в некоей отдаленной перспективе Таможенному союзу предстоит интегрироваться с Европейским Союзом, Евразии — с Европой, и в итоге должна возникнуть «Общематериковая зона интеграции от Лиссабона до Лондона» с перспективой подключения стран Азии¹.

Как бы ни относились к этой идее те, кто ее озвучивают, что бы они при этом ни думали, сам прогноз вполне соответствует наблюдающимся трендам развития человечества. Если принять его всерьез, то можно понять, что любой создающийся сегодня экономический союз является лишь временной и промежуточной ступенью к некоему другому еще более широкому союзу, а в пределе — к общемировому государству. Если так, то в долгосрочной исторической перспективе речь идет не столько об имперском влиянии России на Украину, сколько о значимости постсоветского евразийского сообщества государств как «рабочего участка» общемировой интеграции. Рано или поздно и Евразии, и Европе придется объединяться, и речь идет лишь о том, как будут соотноситься размеры «договаривающихся субъектов», когда вопрос о более тесной интеграции станет реальным. В конце концов, и Россия, и Украина, и Европа окажутся в одном пространстве, но накануне Россия как «естественный центр евразийской интеграции» хотела бы иметь более сильные переговорные позиции — то есть иметь за спиной больший участок «интегрированной территории». Вот для этого евразийскому сообществу и нужна Украина. В некотором смысле Украина стала разменной монетой в вопросе о том, кто и как будет писать будущие законы «общематериковой экономической зоны», а затем и «мирового государства».

Российские политики, рассматривающие международные экономические союзы как реинкарнацию имперского проекта (и, надо признать, делающие это не без некоторого основания), забывают об одном важном обстоятельстве: в центре каждой классической империи — Римской или Османской, Британской или Российской — стояло исходное централизованное государство-«метрополия», создавшее эту империю. Между тем современная глобализация — и надгосударственные союзы как ее наиболее важное институциональное выражение — подрывают государство и правительственную власть.

О силах, подтачивающих могущество современного государства (и прежде всего — о транснациональных корпорациях), написано очень многое, но обратим внимание на самый бросающийся в глаза аспект: военную безопасность.

Политические союзы людей и человеческих сообществ возникают прежде всего из соображений безопасности. Возможно, эта мысль тавтологична, поскольку до исторически недавнего времени только союзы, связанные с безопасностью, могли считаться политическими. Недаром Карл Шмитт говорил, что в основе политического лежит разделение друга и врага². Там, где безопасность обеспечивается, у «политических единиц» нет оснований искать себе покровителя и становиться частью какой бы то ни было военной или малой империи.

Это положение, думаю, особенно интересно проиллюстрировать примером, далеким от внешней политики. В «Истории римского права» И.А.Покровского сообщается, что сословия клиентов и плебеев в Древнем Риме возникли из двух разных типов чужаков, переехавших жить в Рим³. Плебеи возникли из выходцев из городов Латинского союза, которые пользовались в Риме (как и в других городах Союза) правовой охраной, и поэтому обладали более-менее полноценными гражданскими правами, за вычетом политических. Клиенты возникли из прочих иностранцев,

¹ См.: Глазьев С. Настоящее и будущее евразийской интеграции. — <http://www.dynacon.ru/content/articles/1299/>

² Шмитт К. Понятие политического. — <http://read.virmk.ru/h/Shmitt.htm>

³ Покровский И.А. История римского права. СПб., «Летний сад», 1995. С. 30—38.

которые считались врагами, не пользовались никакими правами, не могли совершать сделки и даже не были защищены уголовными законами. Единственный выход для них — становиться юридически членами семей римских патрициев, в которых они считались чем-то большим, чем рабы, но меньшим, чем родственники. Своим положением они отчасти напоминали позднейших вассалов. Тут важно следующее: латиняне, имевшие больше прав, жили отдельными семьями, а иностранцы, у которых прав почти не было, были вынуждены присоединяться к чужим семьям. Отсюда «мораль», обосновать которую можно множеством иных примеров из истории других эпох и народов. Объединение в тесные сообщества, корпорации, государства и прочие «соборности» происходит не от хорошей жизни. Это способ доступа к дефицитным ресурсам, например, к безопасности. Если жизнь относительно хороша и комфортна, если существует некая общедоступная инфраструктура, обеспечивающая необходимыми ресурсами, то люди склонны к атомарному бытию.

Эта закономерность ставит на повестку дня вопрос, ответ на который способен пролить свет на проблему кризиса национального государства. Вопрос этот следующий: по-прежнему ли могущество национального государства является важнейшим фактором безопасности для него самого, его граждан и входящих в него территорий?

Простого ответа на этот вопрос не существует, поскольку мы имеем дело с многоуровневой и многофакторной реальностью. Но можно сказать с достаточной долей уверенности, что хотя национальное государство и сохраняет свой набор функций, но существуют отчетливые тенденции, уменьшающие его значимость главного «оборонителя» всех, кто находится внутри.

Прежде всего, население становится все более мобильным, а это порождает у многих уверенность, что от войны можно уехать, сбежать, что вполне можно жить и в чужом государстве — и даже вообще без родины. У этих людей возникает чувство, что поскольку родина перестала быть единственным условием выживания, она сделалась «заменяемой», экспатрианты переживают за нее гораздо меньше, чем те, кто решили не покидать отечество.

Еще один фактор — уменьшение экономических причин для войны. Процессы внешнеторговой глобализации и открытия рынков, начавшиеся после Второй мировой войны, — в частности, создание ВТО — дали возможность одним странам раскрывать для себя рынки других стран без особых усилий. Войны и колониальные захваты сделались менее эффективным инструментом. Этот тренд был еще более усилен в результате того, что потоки капитала в XX веке изменили свое направление от метрополий к колониям, от развитых стран к развивающимся. Для того чтобы «выкачивать ресурсы», действительно нужен военный контроль над покоренной территорией, который не столь необходим, если богатая страна инвестирует средства в бедную и переносит в нее производство, как это происходило начиная со второй половины XX века. Еще в 1957 году философ и сотрудник французского МИДа Александр Кожев пишет статью «Колониализм с европейской точки зрения», в которой, во-первых, предсказывает перераспределение богатств от западных стран к африканским и азиатским, и, во-вторых, обращает внимание, что в послевоенный период Франция и Англия вкладывают в свои колонии гораздо больше, чем из них изымают¹. Этот указанный Кожевым вектор более или менее подтвердился дальнейшими событиями — во всяком случае, оказался верным в отношении большого числа наиболее успешно развивающихся стран, и «апофеоз» предсказанной тенденции наступил в конце XX века, когда в ходе «деиндустриализации» западных стран огромные производственные мощности были переведены в страны «третьего мира».

Большую роль в снижении военно-политической значимости национального государства сыграло появление международных военно-политических союзов, и прежде всего НАТО. Североатлантический блок никогда на практике не защищал своих членов от агрессии — то есть не выполнял функции, ради которых, как провозглашалось, он был создан, но именно этот факт и является доказательством его эффективности. Ни одно из государств НАТО за всю историю существования блока ни разу не

¹ Кожев А. Атеизм и другие работы. М., Праксис, 2007. С. 387—402.

подвергалось внешней агрессии, в том числе и потому, что потенциальные противники не решались вступить в конфликт со столь большим военным союзом. Платой же за это стало снижение военного суверенитета большинства стран-членов НАТО, чьи армии уменьшились и потеряли универсальность. В несколько меньшей степени то же самое можно сказать и о других существующих в мире военных блоках, например АНЗЮС, объединяющий США, Австралию и Новую Зеландию. Агрессии подвергаются только государства, находящиеся за пределами эффективных военных блоков, а в случае с организацией Варшавского договора — только со стороны других стран-членов блока.

Есть еще одно странное, до конца не объясненное явление, на которое обратил внимание видный историк и военный эксперт Мартин ван Кревельд: начиная со второй половины XX века военные вторжения становятся неэффективными, рано или поздно иностранным войскам приходится эвакуироваться с территории захваченного и, казалось бы, побежденного ими государства. Столкновение регулярных армий одной страны с систематическим партизанским сопротивлением в другой несмотря на техническое и финансовое превосходство регулярных войск обычно заканчивается их поражением и отступлением, хотя военный конфликт может длиться годы¹. Возможно, отчасти это объясняется «демократизацией» и «либерализацией» западных стран, которые стали не готовы нести большие военные жертвы, однако наблюдение ван Кревельда относится не только к военным экспедициям западных стран — таких как французская оккупация Алжира или американское вторжение во Вьетнам. В той же степени оно относится к военным поражениям стран отнюдь не либеральных. В качестве примера можно привести крах индийской интервенции в Шри-Ланку в 1990 году, отступление советских войск из Афганистана, признание Индонезией независимости Восточного Тимора.

Еще одним соображением, опираясь на которое можно предположить снижение военной опасности, становится наблюдение, что страны с развитой демократической формой правления не воюют одна против другой. Как сказал Билл Клинтон, «демократии не нападают друг на друга». Поскольку планетарная тенденция к распространению демократии, пусть медленная и нелинейная, но все же имеет место, то, соответственно, медленно и нелинейно снижается опасность войны. Одновременно с этим ученые выдвигают предположение, что военные потери и вообще насилие постепенно играют все меньшую роль среди факторов человеческой смертности².

На фоне действия всех этих факторов мы имеем любопытную, но уже не удивительную тенденцию: в мире растет количество государств, страны дробятся и средний размер территории государства на планете уменьшается.

С конца Второй мировой войны и до начала украинского кризиса в мире был зафиксирован наверное всего один случай эффективной аннексии территории одного государства другим — это оккупация Тибета Китаем. В остальных случаях попытки оставались неудачными: войска ЮАР вышли из Намибии, войска Вьетнама — из Камбоджи, а поползновение Ирака аннексировать Кувейт привело к возникновению международной антииракской коалиции и свержению политического режима Саддама Хусейна. Были также случаи воссоединения государств, ранее расколотых социалистическим проектом: воссоединение Германии, поглощение Южного Йемена Северным, в перспективе на повестке дня возможно стоит воссоединение Северной и Южной Кореи. Однако, процессы дробления были куда более значительными. Вторая половина XX века началась с распада колониальных империй и появления на их базе множества новых независимых государств. Другим массовым способом было отделение от метрополий и обретение независимости: от Индонезии отделился Восточный Тимор, от Судана Южный Судан, от Эфиопии Эритрея, от Пакистана Бангладеш, мы видели распад СССР с последующим отделением Абхазии и Южной Осетии от Грузии и Приднестровья от Молдовы, распад Югославии с последующим отделением Косово от Сербии, распад Чехословакии и Кипра, отделение Намибии от ЮАР. Существует

¹ Кревельд ван М. Трансформация войны. М., ИРИСЭН, 2005.

² Назаретян А. П. Насилие и терпимость: антропологическая ретроспектива. — <http://evolbiol.ru/nazaretyan02.htm>

множество территорий с сепаратистским потенциалом — Квебек, Тибет и Восточный Туркестан, Шотландия и Уэльс, Фландрия и Валлония, Страна Басков и Каталония, Венеция и Северная Италия, Прованс и Корсика, тамильские территории Шри-Ланки и прочее, и прочее.

Возможность появления все новых государств, вероятно, объясняется многими факторами, среди которых увеличение мирового народонаселения не является единственным и исключительным (более того, резкий рост населения в эпоху индустриальной революции привел к появлению централизованного государства и формированию колониальных империй). Увеличение количества государств и расцвет сепаратизма во многом несомненно объясняется снижением общей опасности стать жертвой военной агрессии и завоевания, появлением пусть не самой эффективной, но хоть как-то действующей системы регулирования международных отношений, а также созданием международных союзов и блоков, не оставляющих слабые государства наедине с их возможными противниками.

Разумеется, в наибольшей степени это относится к Европе, где создано уникальное и беспрецедентное в мировой истории «межгосударственное государство». Именно поэтому европейские сепаратисты находятся в совершенно уникальной ситуации, ибо если предположить, что какая-либо из территорий Европы отделится от ныне существующего государства и приобретет так называемую независимость, то она окажется во вполне комфортной среде, образуемой надгосударственными институтами — Евросоюзом, Еврозоной и НАТО. Эти институты отчасти возьмут на себя выполнение функций национального государства, и чем успешнее и полнее они будут это осуществлять, тем меньше у всякого региона останется причин оставаться в составе «материнского» государства.

Некогда государства объединяли территории подобием стен укрепленной крепости, но в наши дни «стены» уже возведены по периметру всей Европы.

К этому следует добавить следующие соображения: небольшим государствам и небольшим территориям в силу меньшего масштаба задач и более тесной обратной связи с населением проще организовывать более эффективную демократию и вообще более совершенное государственное управление.

Все сказанное относится ко всем регионам Европы, а отнюдь не только тем, которые успели прославиться своим сепаратизмом. Сепаратизм, в силу своей скандальности, привлекает к себе внимание, но в Европе он является лишь крайним проявлением более незаметного и «легитимного» явления, которые политологи называют регионализацией Европы, или «Европой регионов», когда субнациональные регионы начинают играть все более заметную роль, даже приобретают некоторые внешнеполитические функции, а в государствах происходит децентрализация. Авторы конспирологической направленности уже начинают говорить, что все это коварные замыслы мировой закулисы, что «балканизация» Европы является хорошо продуманной и далеко идущей стратегией руководящих кругов Евросоюза, стремящейся к ликвидации национальных государств путем передачи их функций наднациональным и региональным структурам, выражающим интересы мировой финансовой элиты¹. Правдой в этом утверждении является, по крайней мере, то, что колпак «наднациональных структур» действительно создает «теплицу», в которой расцветает регионализация.

В отдаленной перспективе вполне может возникнуть ситуация, когда создаваемая Россией евразийская интеграционная система приведет к кризису российской государственности и станет де-факто поощрять децентрализацию, регионализм и даже сепаратизм, поскольку некая развитая республика, вроде Татарстана, вполне сможет потребовать прямого членства в евразийском сообществе. С точки зрения российских имперских идеалов развивать международную интеграцию не вполне осмотрительно — полноценный суверенитет в нынешних условиях скорее предполагает изоляцию от крупных международных блоков. Но пока эта перспектива неощутима.

¹ Четверикова О. Регионализация Европы: еще раз о теневой стороне проекта «Единая Европа». — Цит. по: http://communitarian.ru/publikacii/evropa/regionalizaciya_evropy_eshe_raz_o_tenevoy_storone_proekta_edinaya_evropa/

Согревающая проза или текст на чужом языке?

Литературные итоги 2014 года

В этом номере — ответы Романа АРБИТМАНА, Марины ВИШНЕВЕЦКОЙ, Андрея ВОЛОСА, Евгения ЕРМОЛИНА, Вадима МУРАТХАНОВА, Ольги СЛАВНИКОВОЙ, Александра СНЕГИРЁВА, Андрея РУДАЛЁВА, Сергея ШАРГУНОВА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Дмитрия ШЕВАРОВА

На этот раз мы предложили участникам заочного «круглого стола» три вопроса для обсуждения:

1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?
3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удастся ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

Роман Арбитман, литературный критик, г.Саратов

«Кастинг был жёсткий»

1. Главных литературных событий не так много, как хотелось бы, и почти все они связаны с, так сказать, нехудожественной литературой. Можно вспомнить, к примеру, субъективные мемуары «Станция Переделкино: поверх заборов» Александра Нилина, «Отнимать и подглядывать» — парадоксальные литературоведческие штудии Дениса Драгунского, увлекательные комментарии Сергея Солоуха к русскому переводу «Швейка», книгу Александра Эткинда об американском после в России Уильяме Буллите... Уже не раз замечено, что о достижениях нынешнего российского книгоиздания куда больше позволяет судить компактная и емкая книжная ярмарка «Non fiction» в ЦДХ, а вовсе не пафосно-глянцевая эклектика ММКЯ — любимого прибежища фланирующих чиновников разных рангов.

2. К сожалению, постсоветское литературное пространство с каждым годом все больше атомизируется, закукливаясь в себе, так что сквозь пограничные мембраны мало что просачивается. Нужен сильный внешний стимул (вроде Нобелевской премии, которую чуть не получила Светлана Алексиевич) или дружеские связи. Именно благодаря им в круг моего чтения попадает, например, фантастика белорусских писателей Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак (которых, впрочем, чаще

издают в Москве, чем на родине), а также книги еще одного минчанина, Валентина Маслюкова, автора фэнтезийного эпоса «Рождение волшебницы» и вполне реалистических романов.

3. Итог ушедшего Года культуры — назван, наконец, Первый Писатель России. В Год литературы он еще не раз будет ньюсмейкером: поводы найдутся, хотя, скорее всего, никак с литературой не связанные. В России нулевых на упомянутую вакансию претендовали у нас многие (и те, что в орденах, и те, что при должностях и юбилеях, и те, которые с многотомными ПСС). Кастинг был жесткий, но в итоге роль досталась молодому шустрому актеру, который был сочтен наиболее перспективной фигурой на десятилетия вперед. Для того, чтобы автор мог встать во главе постсоветской писательской номенклатуры, требуется соблюсти принципиально важные условия. Их три. Первое — захлеб кадить теперешней верховной власти, второе — любить Сталина, как родного дедушку, третье — клеймить за явный непатриотизм проклятых либералов (и лучше, если бы те вдобавок оказались заодно «лицами некоренной национальности»)... да, чуть не забыл о четвертом условии: еще неплохо бы выпустить роман и, желательно, потолще... Вы уже, наверное, догадались, что в указанные рамки вписалась, как влитая, фигура Захара Прилепина. Народолюбивую либеральную критику (которую, по преимуществу, представляют в России дамы), однажды заворожил брутальный блеск босой прилепинской головы, и именно эти дамы внесли на своих плечах энергично-косноязычного дебютанта в литературу. А тот, быстро заматерев (имею в виду вовсе не качество текстов), с наслаждением потоптал и оплевал своих доброхотиц. И теперь получите еще и «Обитель». Рецензируя эту Большую Книгу, статусные либералы en masse до сих пор не решаются объявить о ее провале (инстинкты не позволяют ругать любой роман на «лагерную тему»), а единомышленники-компатриоты радуются той ловкости, с какой новый фаворит ваяет полотно о репрессиях, ничуть не потревожив усатой тени... Да-да, это все придумал Троцкий в восемнадцатом году! А Генрих Ягода продолжил. А Иосиф Виссарионович, разумеется, про лагерь вообще ни-че-го не знал... «Обитель» отлично пиарится, хорошо продается, но по-настоящему не прочитана. Никто не составил полного перечня языковых ляпов и исторических несуразностей в этой книге. Только дотошный сибиряк Александр Кузьменков, перелопатив кучу источников, определил, что, откуда, в каких количествах и, главное, с какой степенью беззастенчивости романистом позаимствовано (из деликатности употребим только это слово). В эпоху ремейков и массового копипаста не вызывает удивления выход книги, часть которой простодушно изготовлена с помощью ножниц и клея. Но объявлять тенденциозную компиляцию нетленным литературным шедевром — это, братцы, даже в наше интересное время уже чересчур...

Марина Вишневецкая, прозаик, г.Москва

«Один из главных импульсов к чтению — открытость миру»

1. Раньше политика никогда не влияла на мои читательские предпочтения. Но в 2014-м мир стал другим. В нашу жизнь вошли война, ложь, цинизм, страх, предательство, братоубийство и ни на минуту не отпускающий вопрос, как все это могло с нами случиться. И потому каждый день я читала статьи, а в Фейсбуке посты тех, кто пытался на этот вопрос ответить, кто разделял мои боль, гнев, изумление, стыд, жажду

истины — Александра Морозова, Андрея Зубова, Михаила Ямпольского, Людмилы Петрановской, Льва Шлосберга, Екатерины Шульман, Ивана Давыдова, Дмитрия Глуховского, Андрея Архангельского, Дениса Драгунского, Льва Рубинштейна.

С книгами произошла та же история. Самыми значимыми стали те, на которые можно было опереться. «Время секунд хэнд» Светланы Алексиевич раздвинуло горизонт, весь советский двадцатый век заговорил со страниц этой книги с такой страстью, с такой тоской по осмысленности великодержавного прошлого, с таким яростным непониманием того, что случилось с нами потом, после распада Союза, что само это гневное вопрошание стало ответом на мой вопрос. А отогревалась я вышедшей в конце года, собранной и отчасти написанной Людмилой Улицкой «Поэткой», книгой воспоминаний о Наталии Горбаневской. Благодаря щедрым фрагментам из интервью голос правозащитницы и «поэтки», как она сама себя называла, мамы и бабушки, приемной мамы и друга своих друзей звучит наравне с другими голосами, помнящими и любящими, отчего от книги, как от поставленной посреди стола лампы, все время идет насыщенный, теплый свет. И жизнь, прожитая с таким поразительным мужеством и достоинством, вдруг кажется легкой, счастливой, единственно возможной.

2. В прошлом году я открыла для себя сайт выходящего в Киеве журнала «ШО». И это тоже было целительно — находить под одной обложкой авторов, живущих на Украине и в России. Мой украинский далек от идеала, а все-таки школу я окончила в Харькове, и потому стихи Сергея Жадана, фрагменты прозы Юрия Андруховича впервые читала в оригинале. Ну а издающего этот журнал и пишущего по-русски Александра Кабанова люблю и читаю давно.

3. На выходе из Года культуры вдруг оказалось, что язык ненависти заполнил все наши поры, что на нем пишут авторы даже «Литературной газеты» (по буквам: л и т е р а т у р н о й), на нем разговаривают со зрителями политические обозреватели, а благодарные зрители разносят этот язык по улицам и социальным сетям. Конечно, прекрасные книги продолжают издаваться, яркие спектакли ставиться, долгожданные выставки открываться... Но атмосфера осажденной крепости — атмосфера, которой пропитан воздух, не предполагает сближения читателя с книгой, если речь идет о читателе, который был и прежде от нее далек. Ведь один из главных импульсов к чтению — это открытость миру, интерес к иному.

Еще в 2006-м авторы «Национальной программы поддержки и развития чтения» писали в преамбуле: «Россия подошла к критическому пределу пренебрежения чтением. Это очень опасно, поскольку чтение представляет собой важнейший способ освоения и поддержания профессионального и любого другого жизненно важного знания, ценностей и норм прошлого и настоящего... От уровня культурной компетентности граждан во многом зависят экономика, политика, национальная безопасность и конкурентоспособность страны». А следом шли косвенные ответы на мои главные вопросы года (почему даже среди добрых знакомых и особенно среди их взрослых детей обнаружились люди, загипнотизированные телевизором? почему они так легко дали себе внушить, что черное — это белое, война — это мир?): «Растет невзыскательность вкуса и предпочтений в области чтения — выбор профессиональной, художественной, массовой литературы свидетельствует об их упрощении даже в интеллектуальной среде», «утрачиваются традиции семейного чтения: в 1970-е годы регулярно читали детям в 80% семей, сегодня — только в 7%», «снижается уровень грамотности населения: по результатам международных исследований функциональной грамотности PISA, свыше 10% российских школьников функционально неграмотны, в то время как в странах-лидерах этот показатель не превышает 1%».

-
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
 2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

Ситуация с чтением с тех пор лишь ухудшалась. Если в 2009 году о том, что «практически не читают», сказали 27% опрошенных ВЦИОМом, в 2014-м их количество увеличилось до 36%.

А все-таки электронные книги, все решительней входящие в нашу жизнь, вселяют некоторую надежду. Оцифрованные новинки могут сегодня попасть в такие далекие уголки, куда бумажная книга не доберется. Мне нравится идея Александра Архангельского — предлагать пользователям сети платить за книгу только в том случае, если они посчитают это нужным, возможным, внутренне необходимым, а так — пусть висит, пусть скачивают и читают. В развитие этой антипиратской по своей сути идеи я предложила бы совершить следующий шаг: если бы самые наши читаемые авторы сделали доступным в сети хотя бы по одному своему роману, если бы умная издательская реклама превратила каждое из этих событий в акцию по продвижению чтения с дальнейшим обсуждением прочитанного в сети, с возможностью задать автору вопросы во время он-лайн конференции (а ведь сюжетные романы можно публиковать без последней главы, тут и еще одна возможность — для угадывания, сотворчества, некоего хеппенинга) — может быть, это и стало бы первотолчком, началом движения автора и читателя навстречу друг другу?

Андрей Волос, прозаик, г.Москва

«Чтение разумных книг остаётся уделом немногих»

1. Евгений Чижов, «Перевод с подстрочника».
2. Не попадают.
3. Мне трудно об этом судить, но, честно сказать, радикальных изменений к лучшему не вижу.

В этом вопросе можно опереться на косвенные признаки: если бы интерес народонаселения к разумным книгам (читать прочие не стоит труда) возростал, оно, народонаселение, и само должно было бы, по идее, становиться разумнее, просвещеннее, ответственнее за собственную судьбу (если, конечно, я не переоцениваю степень, в какой чтение способно образумить читателя). Поскольку же, на мой взгляд, наблюдается нечто совершенно противоположное, следует сделать вывод, что чтение разумных книг, как и прежде, остается уделом немногих.

Евгений Ермолин, литературный критик, г.Москва

«В тот час, как рушатся миры»

1. Литература-2014 с трудом поспевала за бегом времени, ускорившегося так, что некоторым современникам начали приходить в голову апокалипсические аналогии. Проза и вовсе не поспевала, даже не особенно пыталась. В стихах нерв эпохи приобретал то судорожно-патетическое, то элегически-меланхолическое звучанье.

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удастся ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

Скользил и падал стих, облитый то горечью и злостью, то внезапной уверенностью в завтрашнем дне.

Ну а интереснее всего была публицистика, иногда блистательная. Тут я согласен с Александром Морозовым, который в середине декабря начал собирать топ-20 текстов 2014 года. Андрей Архангельский, Гасан Гусейнов, Михаил Ямпольский, Василий Гатов, Марина Давыдова, Аркадий Бабченко, Мария Степанова, Ольга Седакова... — эссеистика (которую не стыдно миру предъявить в переводе, на английский и немецкий). А второй ряд — это «политическая аналитика». И тогда это: Сергей Медведев, Екатерина Шульман, Александр Рубцов, Владимир Пастухов... Этих авторов называет Морозов, а я добавил бы еще десяток, а то и два остро заточенных перьев и присовокупил сюда текст иного рода, но той же природы — «Время секунд хэнд» Светланы Алексиевич.

Когда происходят события, роковым образом меняющие жизнь, слово писателя начинает существовать на особой, короткой дистанции к происходящему. Оно становится страшно актуальным — или остается никаким. В литературе — особенно в середине и к концу года — возгораются огоньки скандалов и истерик.

Собственно, давно не было такого скандального литературного года, как 2014-й. Фигурантами драматических перипетий и споров стали неистовые ветераны горячего поэтического цеха Юнна Мориц и Новелла Матвеева, вечно юный Сергей Шаргунов, седлающий сызнова танк, фланирующий между сатирой и минором Дмитрий Быков, сменивший вежи Максим Кантор (для кого-то — ренегат, а для кого-то — Савл, ставший Павлом), не говоря уж о завсегдатаях телевизионных мельниц, мелющих сны нового века... Кризис в Пен-центре, кризис в руководстве СРП, драматические размолвки и показательные публичные фигуры умолчания... Наконец хула и слава в адрес Захара Прилепина, внимание к которому было сфокусировано сочетанием его амбициозной заявки, непринужденной свободы автора в выборе слов и жестов и «большекнижного» триумфа, после которого уже не казалось невозможным присуждение «Обители» и Русского Букера-2014.

Впрочем, отмеченные названными премиями романы Прилепина и Шарова о советском прошлом как-то странно просели в новом контексте. Тот и другой оказалось уместно прочитать как констатацию неизбежности «возвращения в Египет», на блевотину рабства, в несвятую гэпэушную «обитель». Собственно, именно в таком прочтении они оказались созвучны рассуждениям и тех пессимистов, которые говорили о неискупимой рускордынской колее, и тех оптимистов, для которых камни рабства хорошо и правильно ложатся в монолитный фундамент беспощадной державной мощи...

Мне-то справедливей и честней кажется художественная рефлексия об опытах сопротивления, об уроках свободы: проза Виктора Ремизова («Воля вольная»), Натальи Громовой («Ключ»), «Пароход в Аргентину» Алексея Макушинского, неспящее эго в романе ярославца Евгения Кузнецова «Рад разум», да даже и первая книга талантливого неконформиста из Ухты Сергея Павловского «Мутный пассажир» и пессимистические философы Алексея Демидова из Нальчика.

2. В минувшем году я снова руководил мастер-классами на совещании молодых писателей Северного Кавказа и форуме под Звенигородом. Главные впечатления мои — оттуда. Растет и дышит свободой Ася Умарова; каждый новый ее текст — неожиданная радость. Впечатляют контуры нового ингушского эпоса в прозе Билана Дзугаева... Наконец, я снова поверил в перспективу Ильдара Абузярова — прозаика ищущего, иногда внезапного, но находящего странным образом свою главную тему

-
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
 2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

там, где она терпеливо ждет; и это великая тема жертвы, которой бояться даже касаться многие современные авторы.

Впрочем, это все литературное пространство России. А из-за ее пределов я успел схватить только несколько замечательно ярких текстов Вики Чембарцевой из Молдавии и Роберта Мамиконяна.

3. Год литературы на дворе или другой какой, но дело писателя не погибло. Я не меняю своей позиции: возникла новая среда коммуникации: социальные сети. Новый писатель найдет своего читателя прежде всего там. А потом, возможно, речь пойдет и о книжке или журнальной подборке...

Сегодня нужна иная логика, иная стратегия творческой коммуникации, в которую впишутся и традиционные звенья/столпы литературного обихода: это путь от актуального, почти спонтанного интерактива к той глубине, которая все еще возможна, хотя и не обязательно в архаичном формате «большой», многостраничной книги. Как раз увесистые тома сегодня наиболее художественно уязвимы, если только за ними не стоит воспоминательный опыт длинной, суровой, беспощадной, прекрасной, единственной жизни.

Вадим Муратханов, прозаик, поэт, г.Москва

«Мы не услышим монолог дерева, пока не освоим язык жестов его ветвей»

1. В 2014 году я писал больше прозу, читал — в основном поэзию. Поэтому воздержусь от упоминания романов и повестей — остановлюсь на стихах.

Прежде всего отметил бы «Временное место» Алексея Алехина (М.: Время, 2014). Этот автор в каждой книге (да, пожалуй, и в каждом из стихотворений, ее составляющих) предлагает такую высокую концентрацию поэтического вещества, что употреблять его можно только маленькими дозами, часто прерываясь и подолгу разматывая плотный клубок ассоциаций и реминисценций. В том месте, где у другого современного русского поэта находишь воду или соединительную ткань в виде рифмы, дополнительного эпитета, вводного слова, обеспечивающих гладкость проглатывания строки, у Алехина мы видим пробел. Право заполнить его собственным эстетическим опытом и глубоко личными ассоциациями предоставлено читателю. (Если сравнивать этого поэта с западными собратьями, на ум приходит в первую очередь Томас Транстрёммер, применяющий отчасти сходный метод.) Чаше всего самый крупный смысловой отступ отделяет заглавие от текста:

Шекспир

дерево на ветру
орёт руками как глухонемой

Или предшествует последней строке (строфе) стихотворения:

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удастся ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

вот и зима проносилась до дыр

лето село от стирок
и стало коротким

а галстук без единого пятнышка
уж вышел из моды

написать досказать объяснить позвонить приласкать
не успел

зато в зоопарке весна

(«Грифельная ода»)

В первом случае заглавие словно вытекает из подспудной театральности возникшего образа. Которая, будучи извлечена на поверхность, намечает дальнейшую цепь ассоциаций («Буря»? слепой и лишенный крова король Лир, которого ненастье застало посреди нескончаемой дороги?). Сценический пафос приглушен отъездом на такое расстояние, с которого мы не услышим монолог дерева, пока не освоим язык жестов бесчисленных ветвей.

Во втором примере автор мастерски опирается на грамматику. Сетую на скоротечность земного срока, лирический герой использует глаголы только совершенного вида. В предпоследней строфе он сгущает их до прямого нанизывания: «написать досказать объяснить... не успел», чтобы разрешить напряжение номинативом в заключительной строке — отменяющим время, упраздняющим суету.

Другим заметным событием поэтической жизни представляется мне выход антологии журнала «Интерпоэзия» (№ 3-4, 2014). В нее вошли избранные тексты из подборок, опубликованных в журнале за десять лет его существования, с 2004 по 2014 год. Авторами юбилейного выпуска стали Шамшад Абдуллаев, Алексей Алехин, Сухбат Афлатуни, Владимир Гандельсман, Ирина Ермакова, Александр Кабанов, Бахыт Кенжеев, Галина Климова, Александр Стесин, Борис Херсонский, Алексей Цветков, Санджар Янышев... Десять лет назад, когда стартовал интернациональный проект Андрея Грицмана, идея издания журнала «поверх границ» еще не звучала так остро актуально, как сегодня. Культурные связи, как правило, рвутся дольше и труднее, чем политические. Сейчас «Интерпоэзия» продолжает оставаться одной из немногих площадок, где авторы, живущие по ту и эту сторону возрождающегося «железного занавеса», встречаются на равных — на нейтральной, принадлежащей всем территории русского языка.

Из событий в мире сетевой литературы обратил на себя внимание недавно запущенный электронный журнал «Литература», посвященный актуальным литературным процессам и анализу резонансных книг и публикаций. Заметно, что этот ресурс создан не с целью продвижения определенного круга авторов, а как новая попытка осмысления литературного процесса.

2. Когда я читаю стихи или прозу Александра Кабанова, Бориса Херсонского, Сухбата Афлатуни, Ильи Одегова, то получаю удовольствие от текстов безотносительно места проживания их авторов. Другое дело, что география часто определяет интонацию, привкус строки, колорит образов.

Если говорить об открытиях 2014 года, то хочется отметить книгу прозы ташкентца Александра Колмогорова. Последние несколько лет этот писатель живет в Москве, но многие сюжеты и лица в его рассказах отсылают к среднеазиатскому пространству, с пока еще не вполне растворившимися во времени и потому легко

-
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
 2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

припоминаемыми читателем приметами общего советского быта. Колмогоров — артист театра и кино, а также автор двух поэтических сборников. «Прошу ответить девушку» (М.: ИП Елена Алексеевна Пахомова, 2015) — его дебют в прозе. Герои рассказов Колмогорова принадлежат к разным социальным слоям. Сержант-«афганец», подружившийся на войне с обезьянкой. Интеллигент, на изломе «перестройки» присваивающий казенные деньги, чтобы спасти отца. Потерявший сына рабочий, который находит в себе силы вернуться к жизни и построить храм на труднодоступном берегу Байкала...

Секрет привлекательности прозы Александра Колмогорова в том, что обычные, рядовые люди поставлены автором перед трудным выбором, требующим от них человечности, верности себе и своим чувствам. Они — люди действия. Или слова, когда оно приравнивается к действию. («Еще раз придешь к нам, собак спущу!» — «Спускайте, приду».) Герои рассказов Колмогорова не столько рефлексиируют, сколько реагируют. Они экспансивны и драматургичны: не ждут, пока впущенные в сердце эмоции изменят состав крови, а выплескивают их в поступок. Отсюда — динамизм рассказов, помноженный на вынесенное из театра умение вживаться в характер персонажа и тщательно выстраивать психологически убедительный образ.

Есть у прозы Колмогорова и еще одно важное измерение: рассказы, даже те из них, что созданы на советском материале, не выглядят анахронизмом. О чем бы ни писал автор, сквозь сюжетную канву просвечивают неустаревающие, никаким строем и временем не отменяемые ценности. Сегодня, когда наше общество все еще переживает травму слома парадигмы, такая литература помогает сшиванию прошлого и будущего.

«Было время!

Уплыло, как мячик по реке Кара-Су.

Укатилось, как стеклянный шарик под кровать.

Улетело, как пионерский галстук с бельевой веревки.

Разномастные дома на улице нашего детства однажды снесли. Со всеми их колодцами, садами, виноградниками, банями, курятниками, тандырами и прочими признаками человеческой жизни. Вдоль берега реки Кара-Су встали огромные коробки административных зданий метрополитена.

И все мы — набережные, прибрежные люди, соседи — растворились в нашем огромном Ташкенте. А потом — сквозняком по судьбам — рванул ветер перемен. Кое-кого из нас погнал он по всему миру, как листу с веток тутового дерева».

(«Листья тутового дерева»)

3. Отношения между книгой и читателем трудно регламентировать искусственно: насильно мил не будешь. Да, книжные выставки и ярмарки собирают тысячи посетителей — и это, наверное, должно обнадеживать. Но иногда я невольно замечаю, что читают в своих гаджетах соседи по транспорту. Чаще всего эта литература не попадает в шорт-листы престижных премий и на страницы «толстых» журналов: Ник Перумов, Дарья Донцова, Стивен Кинг, в лучшем случае... За двадцать постсоветских лет успело вырасти целое поколение людей с несформированным литературным вкусом. И я бы не сказал, что, провозгласив тот или иной год Годом чтения или культуры, можно привить любовь к чтению. Здесь надо плясать от печки: начинать со школы и детского сада, прививать вкус к слову одновременно с формированием сознания ребенка. А с развитием образования в стране, насколько могу судить, серьезные проблемы.

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удастся ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

Ольга Славникова, прозаик, г.Москва

«Издать и "раскрутить" электронную книгу — реальный путь автора к читателю»

1. Конечно, «Обитель» Захара Прилепина. Я всегда говорила, что Захар близок к гениальности, и он в очередной раз подтвердил мою правоту. Еще два события — романы двух со-лауреатов премии «Дебют» 2014 года. Максим Матковский уже был у нас в финале с рассказами. Хорошие рассказы, хотя в принципе на месте Матковского тогда мог быть другой автор. А на этот раз Максим с романом «Попугай в медвежьей берлоге» просто не мог не попасть в финал. Такого прыжка вверх я не наблюдала за все годы ни у одного «дебютанта». И Матковский стал бы абсолютным победителем, если бы не Павел Токаренко с романом «Гвоздь». Это фантастика, но удивительным образом это реализм. Я читала в романе о крушении космического корабля, но было полное впечатление, что читаю о катастрофе подлодки «Курск». Настолько все логично и одновременно абсурдно, что очень похоже на нашу действительность. В общем, впервые в истории премии «Дебют» жюри поделило лауреатство на двоих. И ничего другого сделать не могло.

2. Боюсь, что старшее поколение таких писателей практически исчезло с моего горизонта. Одна из причин, если не главная — доминирование на рынке переводной литературы авторов, пишущих по-английски. Замечательно, что нам доступны книги Йена Макьюэна, Джулиана Барнса, Маргарет Этвуд, Лоуренса Норфолка. Но англоязычная литература — и не всегда литература первого ряда — вытеснила не только переводы с армянского или белорусского, но и книги немецкие, болгарские, польские. Это общая тенденция, беда всех современных литератур. Из писателей постсоветского пространства в последние годы прозвучала разве что украинская писательница Оксана Забужко, и я ее прочла, хотя и не стала большой поклонницей таланта. Но у меня есть свой канал: каждый год на «Дебют» приходят работы авторов практически из всех бывших советских республик. Это не переводы, условие нашей премии — оригинал должен быть написан на русском языке. Тем не менее — Владимир Лорченков, самый, пожалуй, интересный молдавский русскоязычный писатель, был открыт «Дебютом». Открытия последних лет — драматург из Минска Дмитрий Богославский, прозаик Александр Рыбин из Душанбе, новеллист Ваге Гугасян из Еревана, ну и, конечно, киевлянин Максим Матковский.

3. Честно говоря, я как писатель этих «годов» почти не чувствую. Да, предлагают съездить для выступлений туда и сюда, но мне, как правило, некогда. А главное — не вижу большой пользы в таких встречах. С моей точки зрения, надо браться за дело с другого конца. Финансирование таких «годов» должно идти не структурам, отправляющим писателей в вояжи, а непосредственно самим писателям. Необходима система грантов, чтобы писатель мог спокойно работать год-два, закончить роман, книгу рассказов. А затем — второй этап: грант на издание и пиар-программу. И продвигать литературу нужно в интернете. Как ни мотайся по стране, везде не доедешь, а интернет сейчас есть в каждом доме, где знают буквы. Ну, практически в каждом. Интернет — не зло, своими олбанскими языками засоряющий русский язык, а удивительное по возможностям средство коммуникации. Не говоря уже о том, что все больше читателей не покупают книги в магазинах, а скачивают из сети. Бумажная книга, конечно, останется, но за электронной книгой будущее. Издать и «раскрутить» электронную книгу — совсем не так дорого. Вот он, реальный путь автора к читателю. Туда и нужно направлять ресурсы.

-
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
 2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

Александр Снегирёв, прозаик, г. Москва

«Когда твоя жена проводит тёмное время суток с книгой другого мужчины...»

Я, как и Россия, развиваюсь скачками. То читаю много, то не читаю вовсе. В последнее время очередной период чтения. В основном классика. Иду на поводу у собственных слабостей — перечитываю любимого Достоевского. «Братьев Карамазовых» целиком не читал никогда, зато к некоторым фрагментам возвращаюсь регулярно.

Добрался, наконец, до Катаева с его «Травой забвения» и «Алмазным венцом». Классные книги. Местами просто обалденные. Жаль, накал снижает сам автор, который словно выпрашивая прощения за то, что остался живым и сытым, пытается втиснуться меж титанами своей молодости. Похоже, он обречен делать это вечно, по крайней мере до тех пор, пока памятники не оживут и не позовут его пьянствовать, как когда-то. И тогда он, наконец, обретет ту вечную весну, к которой так стремится.

Люблю Анну Козлову, читал ее «Превед победителю». Скоростная, неглупая проза. Многим бы не повредило поучиться у Козловой умению внятно выражаться на бумаге. Жаль, путаность мысли и словесная избыточность у нас часто принимаются за мудрость.

Впервые прочитал «Милого друга» Мопассана. Сначала показалось, что передо мной этакий буржуазный смельчак, персонаж Чехова, но нет, Мопассан разошелся и показал отличный, безоценочный, абсолютно современный роман действий. Любопытно было обнаружить вполне актуальные для сегодняшней России черты. Например, когда главный герой, Жорж Дюруа, утрачивает журналистское вдохновение, то начинает бойко строчить об упадке великой Франции, разложении культуры и анемии национальной гордости у французов. Очень узнаваемая, навязшая в зубах, пошлая, но всегда эффективная эксплуатация патриотизма.

Произвел впечатление коротенький текст Цветаевой «Милые дети». Запомнилась фраза: «Не торжествуйте победы над врагом. Достаточно — сознания. После победы — протяните руку». Сегодня, когда почти каждый день кто-нибудь празднует над кем-нибудь победу, злорадствуя и топча поверженного, не врага даже, а просто оппонента, эти слова делаются очень важны.

Переживаю, что роман Евгения Чижова «Перевод с подстрочника» не получил премий. Хорошая книга. Динамичная, умная, и душа в ней трепещет и конструкция не подламывается. Но не сложилось. Впрочем, мудрецы говорят, что невнимание публики сопутствует произведениям подлинно значительным. Будем надеяться, что это именно такой случай.

Сахалинского писателя Александра Морева с его сборником «Изгой» ценю за ощущение подлинности. Его рассказы, как фермерские продукты, упакованы неброско, порой неуклюже, зато без консервантов, красителей и стабилизаторов вкуса.

Люблю Андрея Аствацатурова за то, что он плевать хотел на законы и правила драматургии. Пишет, как считает нужным, читаешь его и оторваться не можешь. Отличный пример того, что честность вкупе с умом в конце концов приводит к успеху.

У моих родителей была только одна кассета — концерт Высоцкого. Ради нее я года в три научился включать магнитофон. На этой кассете я вырос, не понимая половины, подпевал, повторял слова, сказанные Владимиром Семёновичем между

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удастся ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

песнями. Как и всегда бывает в таких случаях, Высоцкий для меня стал родственником, я считаю его своим и почти ревную. Как же я обрадовался, когда, дочитав биографию артиста, написанную Владимиром Новиковым, не испытал ни капли разочарования, которое часто испытываешь, если пишут о кумире.

Свежий стихотворный сборник Игоря Волгина «Персональные данные» поразил. Раскрыл наудачу, начал читать и не мог прекратить. Потом эти стихи жена у меня отобрала и полночи с ними просидела. Когда твоя жена проводит темное время суток с книгой другого мужчины — это кое-что значит.

Если говорить о предпочтениях — я люблю книги компактные, гармоничные, не расплзающиеся бессмысленными объемами, точно дома нуворишей. Лично я большой размер способен оценить, только если речь идет о бедрах или груди, все остальное лучше бы поменьше. Думая о будущем, полагаю, что книги сегодня обязаны быть краткими, внятыми и сообщать только самое главное.

Андрей Рудалёв, литературный критик, г. Северодвинск

«Преодоление пустоты стало знаменем поколения»

1. Главным литературным событием года, безусловно, стал роман Захара Прилепина «Обитель». Это долгожданное событие для всей современной отечественной литературы. Мимо этой книги категорически нельзя проходить. Литературный год состоялся под ее знаком. Важно еще и то, что она стала событием не только в локальном литературном кругу. Сам ее автор давно знаковая общественная фигура и, можно сказать, тащит современную литературу на свет Божий, к читателю, интригует его, пробуждает интерес к словесности. В какой-то мере это подвижнический труд. Этим не должен пренебрегать писатель.

Обитель — это еще и значимый культурологический, историософский символ, который обозначился в прошедшем году. Монастырь — это не просто отгороженное от внешнего мира место спасения немногих, которые проводят время в тихих трудах и уединенной молитве. Но это и корабль в бушующем море, он сам совершает постоянную схватку со стихией, да и внутри его идет непрестанная борьба.

Здесь и молитва, и кровь, здесь жизнь и смерть, здесь и святость, и бесы. Это передовая. Здесь и душегубка и душеспасение. Не случайно именно через обитель — Соловки — Прилепин подошел к попытке понимания русского разлома, который произошел в начале XX века. Этот образ чрезвычайно важен и сейчас. Линия этой брани с пустотой, разобщенностью и отчуждением проходит через всю отечественную тысячелетнюю культуру и историю.

Здесь Бог с сатаной борется, а поле битвы не только сердце человека. Потому как сердце это не столько индивидуальное «я», сколько соборное «мы». Эта брань отражается и распространяется во всех. Тот же классический русский персонаж героя-правдоискателя — это далеко не пассивный наблюдатель-натуралист, а скорее воин, отправившийся в поход с целью устроить особый порядок в мире, основанный на нравственных принципах.

-
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
 2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

Что особенно воодушевляет — наша литература подходит к осознанию главного смысла отечественной культуры, ее генетического кода, который заключается в борьбе с разделением, рознью, противостоянии хаосу, в преодолении пустоты.

Этот вектор еще больше десяти лет назад наметил совсем юный Сергей Шаргунов в манифесте «Отрицание траура». Тогда он заявил, что литература, живущая в собственном герметичном пространстве, «больше не нужна народу», она «обречена на локальность» и существование в резервации. Шаргунов сказал о среднем человеке, который «значительней и интересней любых самых бесподобных текстов». При том, что все последние годы этот самый средний простой человек полностью игнорировался, он был не героем времени, а его аутсайдером, его пытались сравнить с полным нулем, вывести в ничто, в никто.

Миру пустынному, дробному, хаотичному, Сергей Шаргунов в манифесте противопоставил совершенно конкретные вещи, где «почва — реальность. Корни — люди», через которые возможно преодоление этого состояния.

Шаргунов писал о «новом ренессансе», поколении, аналогичном Серебряному веку, где ушли на второй план идеологические противоречия, потому что настоящее искусство — симфонично, поэтому и возвращается «ритмичность, ясность, лаконичность», то есть пушкинские начала.

Отрицание траура — отрицание отрицания — это квинтэссенция русской культуры, отражающая постоянный мотив борения с пустотой и распадом. Именно отрицание траура, преодоление пустоты, жажда выхода из состояния пустынножительства стало знаменем поколения, которое заявило о себе в литературе в первое десятилетие нового века.

Все это важно не в плане своей уникальности, а именно сопричастности отечественной культурной традиции, в типичности. Это и есть реализм — проникновение в глубь вещей, уход от иллюзорности, от возведения искусственных декораций и вычерчивания лабиринтов своего эго, где разгуливают всевозможные минотавры. Вообще это очень показательная и во многом символическая линия — от «Отрицания траура» до «Обители».

Так или иначе, можно проследить отчетливую тенденцию. В 2012 году событием стала книга Тихона Шевкунова «Несвятые святыне», в прошлом году далеко неоднозначный «Лавр» Евгения Водолазкина. Сейчас — «Обитель». Все эти знаковые книги затрагивают вопросы веры, религии. Можно предположить, что общество ищет особого синтеза культурного и религиозного, что, к слову сказать, всегда было отличительной особенностью русской словесности, которая не ограничивалась посусторонней «картой будня». Без попытки заглянуть в сферу трансцендентного она становилась неполноценной.

Также из радостного в 2014 году мог бы отметить три сборника короткой прозы, причем все — питерских авторов. Это «Врай» Валерия Айрапетяна, «Печатная машинка» Марата Басырова и «Живое и Мёртвое» Сергея Авилова.

В совершенном восторге остался от еще не напечатанного романа петербуржца Дмитрия Филиппова «Я — русский!». Это вовсе не политический манифест, а серьезное проникновение в глубь постсоветской эпохи, попытка понимания поколений людей, которые оказались зараженными энергиями разрушения, ставшими триумфаторами с момента распада Советского Союза.

3. По поводу предстоящего Года литературы выскажусь словами из письма Павла Флоренского с Соловков. В 1937 году незадолго до своей кончины он рассуждает о юбилее Пушкина. Пишет, что привлечение внимания к поэту произведет эффект «облагораживающий и отрезвляющий», произведет «культурный удар». Его слова

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удастся ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

звучат злободневно: «встречая не мало молодых людей, постоянно с горечью приходится убеждаться в их полном невежестве по части литературы, как русской, так и иностранной, причем это относится и к людям, считающим себя образованными». И здесь же Флоренский приводит пример совершенно иного рода: «Зато как обрадовало меня раз (это было год тому назад и с юбилеем Пушкина не стояло ни в какой связи), когда я в цеху, в столярке, увидел на стене лист бумаги с чисто переписанной «Осенью» (из «Евгения Онегина»), лист вывесил ради украшения цеха один из столяров». Вот на это и надо ориентироваться в Год литературы, в год ее пропаганды, чтобы она вновь вышла из заточения, чтобы листы со стихотворными строчками были в столярке, чтобы их любовно переписывали от руки простые люди. В Год литературы необходимо переломить тенденцию к ее самозамкнутости, камерности. На самом деле подключить широкого читателя не так и сложно, как кажется, просто следует преодолеть собственные аутичные комплексы, перестать штамповать унылую литературу вчерашнего дня.

Коль скоро литература объявлена годовым информационным поводом, то следует постараться поставить людей, причастных к литературе, в центр общественного внимания. Литератор должен стать узнаваемым лицом, он должен стать экспертом для общества, пинками прогнать с экрана безмозглых политиков и придурковатых особей шоу-индустрии, от которых у людей уже давно рвотные позывы.

Конечно, нужно обратить внимание и на литературную критику, иначе скоро так получится, что о текущей литературе некому будет писать. Нашим литераторам необходимо подвинуться, дать место и слово критикам. Почему бы, к примеру, в той же «Большой книге» не выделить критическую номинацию? Совершенно очевидно, что это необходимо и критиков также следует стимулировать, заинтересовывать, чтобы это дело переставало быть хобби, скатывающимся в самодеятельность. Это вовсе не попечение о раздаче шапок. Если уж говорить о встрече автора с читателем, то критик как раз и запускает этот процесс, дает толчок к бытованию произведения за пределами авторской компетенции, дает движитель для раскрытия букета его смыслов.

Критиков же сейчас вообще в литсообществе воспринимают как людей, путающихся под ногами. О них если и вспоминают, то тут же начинают глубокомысленно вздыхать, что критика нынче не та, давно скурвилась, да и критиков нет. Как это нет? Есть ряд совершенно изумительных и глубоких авторов, и, что самое замечательное, многие из них живут в провинции. Вот только несколько имен: Валерия Пустовая и Лев Пирогов в Москве, Сергей Беляков в Екатеринбурге, Сергей Морозов в Новокузнецке, Алексей Татаринов в Краснодаре, Алексей Колобродов в Саратове. Нужно дать возможность людям развиваться в полной мере.

Год литературы — это не только ее пропаганда. Но и особое выяснение отношений с государством. Здесь у нас изначально сформированы негативные коннотации: цензура, госзаказ и все такое. Но надо понимать, что если литература и литераторы настроены играть какую-то роль в обществе и влиять на него, то от взаимоотношений с государством, от диалога с ним никуда не деться. Да и так ли это плохо?

В 2015 году нужен культурный удар, и то, что под занавес ушедшего года в школу вернулось сочинение — обнадеживает. Если мы упустим возможность, то пенять следует только на себя.

-
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
 2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

Сергей Шаргунов, прозаик, г.Москва

«Голая правда человеческих документов — главная литература 2014 года»

1. Вместо питья за новое счастье хочется помянуть всех павших в уходящем году. Главные тексты в 2014-м возникали в социальных сетях — как сводки с фронтов, свидетельства очевидцев и участников войны. Не все было достоверно, но очень и очень многое цепляло внимание и держало в напряжении. Иногда это были письма в личку и на мэйл — крики о помощи, сбивчивые, полуграмотные, и пронзавшие до сердца: о погибших, о раненых, о разрушенных домах, о голоде. Постинги и письма из Харцызска, из Первомайска, из Горловки... Голая правда человеческих документов — главная литература 2014 года.

Интересная книга — страстный роман Виктора Ремизова «Воля вольная» о Дальнем Востоке и тамошних рыбаках и охотниках, и все про наше время.

С удовольствием читал (а частично и перечитывал, есть там и давние куски) книгу Дмитрия Новикова «В сетях Твоих» о магическом притяжении Русского Севера.

2. Я был бы счастлив больше знать о тех, кого называют «авторами постсоветского пространства», о свежей туркменской или армянской литературе, но знаю мало. Есть писатели с Украины (например, добротный полукиевлянин Платон Беседин, замечательный поэт Александр Кабанов, злой одессит Всеволод Непогодин) — их читаю.

Читал и читаю Владимира Лидского из Киргизии, Андрея Иванова из Эстонии, Бахыта Канапьянова из Казахстана.

Некоторое время назад умерла замечательная абхазская писательница Этери Басария.

3. Мне кажется, несмотря на все удары по кошелькам и книжному рынку, надо отметить ценное: читатель становится более зрелым, и серьезная литература в рейтингах продаж в книжных магазинах больших городов теснит бульварные жанры.

Много ездил по России в этом году, и в какой бы ни был библиотеке, рыльской, сургутской или ставропольской, всюду слышал слова о нужности «толстых журналов», отсутствие которых — это кислородное голодание читателя.

Евгений Шкловский, прозаик, г.Москва

«Книги читают и читать будут, если школу и образование совсем не закроют»

1. Поскольку мне приходится иметь дело в основном с книгами издательства «Новое литературное обозрение», где я работаю, то в поле моего зрения сейчас главным образом именно его книги, на большее времени, увы, не хватает, так что скажу о некоторых из них. Из художественной словесности за минувший год стоит

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удастся ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

обратить внимание на лихо закрученный и динамичный роман Марии Головановской «Пангея», жанрово очень богатый и многослойный, здесь и страсти, и страдания, и, понятно, любовь, здесь в мифологизированном пространстве взаимопроникают разные эпохи, серьезные историософские размышления сочетаются с фантазмагорией и сатирой, с вполне прозрачными аллюзиями на современную российскую действительность.

Удачей кажется мне не менее объемная «Каспийская книга» Василия Голованова, которая сложилась из впечатлений его поездок в эту часть континента. Апшерон, горный Дагестан, иранская Туркмения, каньоны Усть-Юрта... Это путешествие не только в пространстве, но и внутрь себя, своих страхов, воспоминаний, надежд, самоосознание себя в кругу других, кажущихся поначалу очень далеких менталитетов и культур. Как и у Головановской, это интеллектуальная проза, но совсем в ином жанровом ключе: сдержанная, внимательная к мельчайшим деталям, доверчиво открытая чужому жизненному и духовному опыту. Это документ, свидетельство. Не случайно Голованов называет свои травелоги «путешествиями с открытым сердцем». Умная, значительная книга, где лирика сочетается с эпосом, глубокая рефлексия и социальная аналитика — с милой ненаигранной детскостью и простодушием.

В серии *Historia Rossica* вышла очень любопытная монография питерского историка Юлии Сафроновой «Русское общество в зеркале революционного террора. 1879–1881 годы». Автор пытается воссоздать образ русского общества в зеркале событий, потрясших Российскую империю в последние годы царствования Александра II. Глубочайший кризис, в какой вверх страну революционный террор 1879–1881 годов, рассматривается в исследовании как своего рода диалог между террористами, властью и обществом. В поле зрения автора не только действия государства, но и то, чем обычно общество реагирует на травмирующие его события, — слухи, домыслы, неподцензурная литература и т.д. Анализ этого информационного поля позволяет Ю. Сафроновой рассказать не только об отношении общества к проблеме терроризма, но и об изменении самого русского общества, остро ощутившего убийственную силу динамита.

Из переводных книг стоит выделить огромный том Клайва Стейплза Льюиса, известного британского богослова и мыслителя, куда вошли три его впервые переведенных историко-литературных исследования разных периодов: «Аллегория любви», посвященная европейской аллегорической традиции, начиная с провансальской поэзии XI века и заканчивая эпохой Возрождения в Англии, «Предисловие к «Потерянному Раю»» (1942) и последняя, пожалуй, самая значительная работа «Отброшенный образ» (1964), в которой автор реконструирует картину мира средневекового человека.

2. Попадают, но редко, и опять же в связи с издательскими делами.

3. Очевидно, что книги читают и читать будут, если... тут надо все-таки сделать оговорку... если школу и образование совсем не зареют. Интерес будет падать, воскресать, меняться. Это нормально. Единственно, что могу отметить, так это возрастающую роль электронной книги. А разве не мечта каждого книголюбца иметь в кармане любимую библиотеку? Сам периодически пользуюсь электронным ридером — экономия времени, денег и жизненного пространства. Ну и деревьев, что не менее, а может, и более важно.

-
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
 2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

Дмитрий Шеваров, прозаик, г.Москва

«В литературе происходит множество замечательных событий»

1. Главных событий в литературе не было, поскольку все главное происходило в политике. Да что там политика — мироздание сотряслось и сотрясается до сих пор. Писатели, как и все живые люди, оглушены происходящим, хотя кто-то и делает вид, что ничего не случилось.

Но, к счастью, в литературе происходит множество замечательных событий, и это вносит в жизнь слабое, но все-таки веяние поэзии, гармонии, чего-то теплого и душевного, без чего даже крепкие люди впадают в уныние.

Событием для меня стала повесть «Осень в Задонье» Бориса Екимова (сентябрьский и октябрьский номера «Нового мира»). В повести, как всегда у Екимова, страдают, работают, ищут смысл бытия и любят *настоящие*, а не придуманные люди.

Повесть была написана до событий на Украине, но гул приближающейся трагедии слышен тут в каждой строчке. Дивные образы мужественных людей, гонимых обстоятельствами, бандитами, чиновниками, но не покидающих свою землю — эти характеры, эти лица невозможно забыть.

Особенно пронзительны у Екимова образы детей и стариков. Причем, не только русских детей и стариков, но и чеченских. После горьких событий девяностых годов судьба выбросила немало чеченцев на донские и приволжские земли. С отцовской нежностью, с огромной деликатностью и тонким пониманием национальной самобытности описана в повести дружба русского мальчика и чеченской девочки. Эта дружба — как чуть слышный колокольчик звенит, напоминая ожесточившимся взрослым о том, что все мы — жители одной страны и одной планеты. (Возможно, это не совсем тактично, но не могу не обратить внимания на повесть «Осень в Задонье» наших чеченских коллег-литераторов. Целительное, а не раздражающее художественное слово сейчас — большая редкость. Мне кажется, повесть такого выдающегося мастера русской прозы как Борис Екимов, заслуживает того, чтобы ее прочитали в Чечне. Быть может, ее стоило бы издать в Грозном, перевести на чеченский язык, рассказать о ней старшеклассникам?..)

А как дивны, как утешительны у Екимова пейзажи донской земли! А ведь есть еще мистический, религиозный пласт этой повести, и это не только придает прозе Екимова дополнительное измерение, но и делает ее очень интересной для людей воцерковленных, верующих.

Еще одна книга, где нравственное и художественное не отделимы друг от друга, — «Избранное» вологодского поэта, газетного и телевизионного журналиста, редактора и переводчика Владимира Кудрявцева. Книга, увы, вышла посмертно. Владимир не дожил и до шестидесяти, сгорев в борьбе за сохранение северной культуры.

В итоговую книгу, собранную Володей очень строго и продуманно, вошли стихи, поэмы, лирические рассказы, переводы, письма, эссе, замечательные критические очерки о вологодских писателях, композиторах, художниках...

Володя отдал дань многим видам визуальных искусств — от фотографии до кино, во всем был очень талантлив, но теперь очевидно, что прежде всего он был поэтом.

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удастся ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

Его муза трепетна, застенчива и возвышенна. Сейчас к его землякам приходит понимание, что если чье-то имя может сегодня встать вслед за Николаем Рубцовым, то это имя Владимира Кудрявцева. И лежат они теперь не очень далеко друг от друга, близ одной дороги — Пошехонского шоссе.

Болезненный озноб столбов.
Я видел, как обрывки ветра
Сорвали с чёрных проводов
Серебряные капли света.

То морось. То ленивый снег.
У власти серая погода.
Ну, где ж ты, светлый человек?
Молчит народ. Молчит природа...

Очень хочется, чтобы поэзия и проза Владимира Кудрявцева открылись общероссийскому читателю. А для этого нужно всего лишь одно: чтобы помнили. Чтобы выходили книги.

И еще несколько книг, которые принесли мне радость: воспоминания Софьи Леонидовны Прокофьевой «Дорога памяти» (М., «Время», 2015), «Карамзин» Владимира Муравьева (серия «ЖЗЛ», м. «Молодая гвардия», 2014), «Белое море, черная изба» поморского прозаика Александра Антипина.

Настольной книгой в нашей семье стал «Архив Мурзилки» (М., «ТриМаг», 2014). О Мурзилке хотелось бы сказать особо: журналу, который носит имя забавного желтого медвежонка, в минувшем году исполнилось 90 лет.

В честь этого события и вышла в свет четырехтомная юбилейная антология, где собрано все лучшее, что было в «Мурзилке». Стоит заглянуть только в первый том — сколько замечательных писателей и поэтов почитали за честь публиковаться в детском журнале! К. Чуковский и М. Пришвин, С. Маршак и Е. Шварц, А. Гайдар и К. Паустовский, А. Барто и С. Михалков. А сколько несправедливо забытых авторов возвращается читателям благодаря «Архиву Мурзилки»!

По текстам, публиковавшимся в журнале после войны, чувствуешь, как быстро выросли маленькие читатели. «Мурзилка» публиковала большие и очень серьезные рассказы. Меня более всего поразил рассказ Нины Артюховой — прекрасной детской писательницы, дочери знаменитого русского издателя М. В. Сабашникова. Ее имя, увы, сегодня многим ничего не говорит, но вот недавно студенты-филологи Тульского педагогического университета создали сайт, посвященный Нине Михайловне Артюховой.

А рассказ ее называется «Через цепочку». Сюжет прост: 1945 год, коммунальная квартира, матери ушли на работу, наказывая детям никому не открывать дверь. В это время возвращается домой капитан Андрей Черкасов. Дети приоткрывают дверь на цепочку и, не узнав в седом военном своего отца, вновь запираются. Фронтовик растерянно топчется у родного порога, а дети, подставив стремянку, смотрят в маленькое окошко над дверью.

«— Ушел? — спросила Маруся.
— Нет. Стоит. На перила облокотился.
— Ну как? — через минуту опять спросила Маруся.
— На ступеньку сел. Платок вынул — глаза вытирает.
— Плачет? — прошептала Женя.
— Не знаю, может быть, что-то в глаз попало...»

-
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
 2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

Серию книг «Архив "Мурзилки"» я бы назвал самым удачным проектом года в области семейного чтения. Это не учебное пособие по истории, а уникальная **книга понимания** родных людей: бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки... Возможно, их уже нет на свете, но ты листаешь «Мурзилку» и чувствуешь: они рядом.

Если уж я заговорил о книгах для семейного просмотра и чтения, то как не сказать о другом исключительно интересном книжном сериале — о четырех книгах, выпущенных издательством «Псковская областная типография» с 2011 по 2014 год и посвященных выдающемуся русскому иллюстратору Ю.А. Васнецову. При том, что все помнят его «Ладушки» и они бесконечно переиздаются, о самом Юрии Алексеевиче Васнецове мы до недавних пор почти ничего не знали. И вот несколько лет назад псковский подвижник, замечательный издатель Сергей Александрович Биговчий задумал издать не просто книжку о художнике, а издать всего Васнецова. И не только его иллюстрации и эскизы, а письма, дневники, воспоминания... Вышло уже четыре тома материалов к биографии великого художника: «Неизвестный Васнецов», «Известный Васнецов», «Удивительный Васнецов», монография Елены Петиновой «Юрий Алексеевич Васнецов. Жизнь и творчество»... Предисловия к книгам написали Валентин Курбатов и Юрий Норштейн.

На подходе пятая, завершающая книга этого несравненного документального романа о великом мастере. Она могла состояться только благодаря тому, что дочери Васнецова Елизавета и Наталия сохранили архив отца. Все сорок лет, прошедшие со дня его ухода, они берегли его письма, документы, фотографии, записки, дневники и то, что посторонний человек, кажется, счел бы пустяковыми почеркушками.

Читатель, с восхищением перелистывая сейчас роскошно изданные тома, и не догадается, что родилась эта красота из пожелтевших листочков писем, из ветхих страниц дневников и потертых блокнотов, которые в другой семье могли бы уже давно выбросить или забросить подальше на антресоли. А дочери Васнецова сохранили все, что относится к памяти родителей, и, кажется, что если бы можно было сохранить пылинку с пиджака отца или облачко тепла, которое он выдохнул на морозе, то и пылинку, и облачко с благоговением сберегли бы.

В завершение мне хотелось бы сказать об одной прекрасной книге, которая пока лежит в рукописи. Это исследование жизни и творчества поэта К.Р., великого князя Константина Константиновича Романова. По жанру это документальная повесть, написанная тем чистым и размеренным русским слогом, который мы уже стали забывать.

Автор книги — монах Лазарь (в миру Виктор Васильевич Афанасьев). Этот человек — эпоха в отечественном литературоведении. Его увлекательные повествования о Батюшкове, Жуковском, Языкове, Козлове, Лермонтове и других русских поэтах XIX века всегда были основаны на архивных разысканиях, на многолетнем поиске. Книги Афанасьева издавались в серии «ЖЗЛ», выходили большими тиражами в крупнейших издательствах, и еще недавно их можно было найти в каждом интеллигентном доме. Это о нем Дмитрий Голубков (поэт, друг Юрия Казакова, автор легендарной книги о Баратынском и блестящей повести «Восторги», посмертно опубликованной в «Дружбе народов») писал в дневнике: «Витя Афанасьев всерьез засел за книгу; каждый день — в Ленинке, в архивах... Дай-то ему Бог. Чистый и преданный высокой литературе человек...»

За четверть века, прошедшие с момента пострига, монах Лазарь стал крупнейшим специалистом по истории Оптиной пустыни, но он оказался совершенно забыт, отринут нашими издательствами (в том числе и православными!). Вот и рукопись книги о К.Р. не может найти своего издателя. Это и обидно, и стыдно...

3. «Год чтения»... «Год культуры»... «Год литературы»... Удастся ли сблизить читателя и книгу? Ваши профессиональные впечатления и прогнозы.

2. К великому моему сожалению, новых книг с «того берега» до меня не доходит. Если бы не было «Дружбы народов», то можно было бы подумать, что литература в наших еще недавно столь близких и родных республиках вовсе прекратила свое существование.

3. В прошлом году я услышал из телевизора: «Декада милосердия завершится 9 мая, ко Дню Победы». Так и с Годом литературы.

Если бы четверть века назад нам кто-то сказал, что в России для «пропаганды чтения» придется объявлять Год литературы — кто бы поверил?.. Не хочется быть пессимистом, но боюсь, что под Год литературы столичное писательское и околописательское сообщество полюбовно распилит некие гранты и премии, поучаствует в заседаниях, прокатится на каком-нибудь агитационном поезде от Москвы до Владивостока, слетает в Крым раздать автографы... А при этом литература ни на миллиметр не приблизится к читателю.

Книги будут дорожать. Они уже и сейчас почти не доступны тем, кому более всего нужны: школьникам, студентам и учителям.

И главное: вспомнят ли о тех литераторах, кто, составляя честь и славу отечественной словесности, оказался в забвении и бедности? Вот монаху Лазарю иногда лекарств не на что купить. Александр Антипин — один из самых ярких «деревенщиков» новой волны, бросил перо и ушел работать диспетчером в МЧС. В Курске изысканный и нежный талант эссеиста и поэтессы Ирины Отдельновой никому не известен, поскольку у нее нет ни одной книги, лишь редкие публикации в московских малотиражных изданиях. В Екатеринбурге у Алексея Мосина вот уже несколько лет лежит интереснейшее историческое повествование для детей — нет издателей. Там же много лет ждет выхода своего «Избранного» поэтесса Вера Кудрявцева. А в Вологде книгу рано ушедшего Володи Кудрявцева выпустили в свет не областная администрация и не местное издательство, а дети поэта...

Продолжать можно бесконечно. Бедствующие талантливые литераторы есть в каждом регионе, в каждом большом и малом городе. Так что в названии «Год литературы» пропущены два ключевых слова. Назвать 2015 год стоило бы «Годом спасения русской литературы».

-
1. Каковы для Вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2014 года?
 2. Попадают ли писатели с постсоветского пространства в круг Вашего чтения?

Расцепление оцепленных

Рубрику ведет Лев Аннинский

— Сержант Петров. Берите двух солдат и оцепляйте стадион!

(Войсковая шутка. Из книги: Игорь Шумейко. Вещество Веры. Федеральный роман)

Пытливый читатель сильно ошибется, если воспримет «Федеральный роман» Игоря Шумейко как беллетристическое полотно, живописующее нашу непредсказуемую реальность в расчете на общепринятый рыночный спрос.

Вроде бы то самое, что у всех.

«Мы теперь все ходим, как некие сатирические персонажи... Смех, абсурд, алкоголь, какие-то новые люди мелькают... Деньги, деньги...»

И нагнетать ничего не нужно!

«Если бы кто сейчас подслушал, о чем в России говорят председатели правлений банков, покупающие солидные журналы...»

Так подслушал же!

«Очень много конференций, презентаций, фуршетов. Десять лет назад их вроде не было... Научные конференции с малопонятными повестками, водкой и бутербродами в перерывах, с коньяком в кабинетах...»

В кабинетах! А в углах общих тусовок?

«Дружно хлебнув кислятинки», — там пробавляются оставшимися в бокалах каплями те, кто не провинтился в кружок ВИП-персон.

Не пробились в тусовках — бьются где попало... В застрявшем из-за пробки «мерседесе»:

«Жестокая драка; распахнутые зверские глаза, потные лбы, летающие кулаки, и кровь...»

Кровь в пересчете на деньги — реальная система новой российской действительности. В «Федеральном романе» Игоря Шумейко толкнутся столичные статисты, а в это время на другом конце Державы, в романе сахалинского прозаика Владимира Семенчика точно так же толкнутся и дерутся тусовочники муниципального уровня, «консультанты по общим вопросам»...

«Офисный планктон!» «Охмурение олигархов» и «увод активов». Это теперь — верхи. А низы? «Ушей и глаз комплекты прикинулись людьми, наполнили страну». А между верхами и низами что? Конвертики с «шуршиками» и чемоданчики с «капустой»...

Где добро, где зло?

А они больше не противостоят друг другу — они заключили «Хасавюртский мир».

Литература осваивает эту новую реальность, иногда фыркая от отвращения, иногда пьянея от сопереживания... понемногу разрабатывая этот тематический пласт...

Так вот: и пытливый читатель, и сам Игорь Шумейко сильно ошибутся, если подумают, что «Вещество Веры» воспроизводит эту беллетристическую смесь, привычно заполняя щели нашего вечно трескающегося повседневья.

Тут иная точка отсчета.

Надо же знать публицистические работы Шумейко, пронзившие нашу печать! Из них он сам не без тонкой усмешки поминает в романе только «Русскую водку — пятьсот лет неразбавленной истории».

А «Вторая мировая. Перезагрузка», за четыре года выдержавшая несколько изданий и заслужившая у книгоиздателей ранг «бестселлера»!

А «Десять мифов об Украине»!

А «Голицыны и вся Россия»!

А «Великое совместное приключение», только что напечатанное в журнале с загадочным названием «МР»...

Вот его концепция.

Исходная историческая точка: «безрассудство» Святослава, уничтожившего хазарский «барьер», после чего на Русь хлынули агрессивные гости: печенег, половцы и, наконец, татары...

А что, если это не «безрассудство», а перст судьбы? — спрашивает Шумейко. — Выход Руси в «открытый космос» через азиатский пролом! И все дальнейшее: «Выбор Александра Невского, рождение казачества, походы Ермака, Хабарова, Дежнева — процесс, названный «покорением Сибири».

Хорошо это или плохо? Детский вопрос. Но неизбежный.

Что же, лучше было сидеть за хазарской «заслонкой»? — спрашивает Шумейко. — Кто тогда запомнил бы Русь? Кто бы знал ее?

Путь в «мировой космос» пролегает через Чингизову Орду, через закон и порядок Великой Империи, «верховный правитель которой сидит где-то в Каракоруме». Но что-то подобное здесь все равно бы утвердилось! Нужен был гений Александра Невского, чтобы увидеть духовным зрением великую, «на два года пути», дикий степную ширь, и почувствовать ее родной! Увидеть «потомков, рассылающих губернаторов на Волгу, Урал, Иртыш, Енисей». Увидеть и еще более дальних потомков, «для которых эта земля станет опорой, защитой и кормилицей».

Кормилицей не только славян, но всех племен, собравшихся здесь, на Евразийской равнине.

«Русский водораздел прошел именно по "хребту" евразийской миссии. Некая душевная широта, способность увидеть то, что ранее было только источником страха и ненависти, считалось «карой господней», оказалось более сложным явлением: и наказанием, и испытанием. Былинный, сказочный «архетипичный», как теперь выражаются, сюжет. Выдержать удар и не озлобиться, не дойти до тупой национальной ненависти: татары, через 130 лет побежавшие на Русь, спасаясь от "Великой Замятни", русскими принимались великодушно». На всех уровнях!

Правило: «С Дону выдачи нет» — родилось из отказа русских военачальников выдавать Орде татар, переходивших в русское войско. А ведь переходили! Ибо чужаки «архетипичный сюжет»: центр тяжести Великой Державы перемещался в Москву.

А на Куликовом поле что было? — спрашивает Шумейко. — А на Куликовом поле Мамай, ногайский узурпатор, врезавшийся между великими народами, «был разбит русскими и татарскими князьями». (Однако ухитрился же стать пращуром нашего Ивана Грозного, добавлю я...)

«То был великий день, означавший, что внутри империи родилась и сформировалась новая нация, заступающая на главную, почетную и уж совсем не "сахарную" службу. И начиная с Ивана IV, мы получили "своего" великого хана, столицу в Москве и почетную обязанность собирать и охранять...»

Мысленно продолжая этот сюжет, я предполагаю, что Тохтамыш, «наведавшийся» в Москву после разгрома Мамаю, хотел убедиться, что Москва не претендует на имперский верх. Убедившись в обратном, сжег Москву. После чего «Великое совместное приключение» русских и татар продолжилось. «Казаки своей силой и удалью... выразительно иллюстрировали сибирским татарам (бурятам, якутам, алтайцам, тувинцам) следующий факт: столица Улуса Джучиева поменялась, теперь она в Москве, ясак платить надо туда и молиться за здоровье царя Ивана Васильевича. Центр силы в бывшем Улусе Джучиевом переместился — легитимность осталась».

Легитимность — это по-европейски, — добавлю я. По-нашенски — единство и неделимость. И многоэтничность, ставшая нашенской определяющей чертой.

«Этнографы подтвердят: в эпохах чувашей, эрзя поход на помощь осажденной Казани занимает столь же почетное место, что и Олегов щит... Царьград у славян. Но минуло всего шестьдесят лет после штурма Казани, и когда поляки оказались в

Москве, — все Поволжье, в том числе "герои казанской обороны", пошли отбивать свою новую столицу. Вот гениальная тема для историков: какой-нибудь воин, доживи он лет до 75-ти, действительно мог поучаствовать и в обороне Казани и в походе Минина! А сам Минин, сын Мины Анкудинова? Сейчас выходят работы поволжских историков, в которых одни пишут с гордостью: Минин был татарин, а другие: Минин был эрзя! Ну, точь-в-точь, как семь греческих городов спорили за право считаться родиной Гомера. Таковы наши великие совместные приключения, собранные в итоге в едином кодексе, называемом евразийство».

Да, это вам не тусовочный треп при перекупке олигархов или перемещении активов! Это история, тяжелая, полная ужасов и ломки, тяжелой Веры и тяжелой верности. Недаром геополитическая концепция Шумейко напечатана в журнале, название которого — МР — расшифровывается неподъемно веским словосочетанием: «Мужская работа». Вопросы, над которыми заставляет нас задуматься Игорь Шумейко, не из легких. Мужские вопросы.

Из них главный: если фатальным ходом истории центр евразийской сверхдержавы переместился в Москву, то где гарантия, что она еще раз не переместится таким же фатальным образом — еще куда-нибудь? Не обязательно к татарам, но — к тем народам, которые ощутят в своем составе мощный переизбыток духовной энергии?

Есть, чем утешиться: центр переместится — культура переориентируется — но легитимность-то останется?

И все-таки у меня что-то обрывается в душе. Язык жалко!

Ах, жалко? Так берегите русский язык, не разменивайте его на волапук мониторно-прикольный. — Но это уже не Игорю Шумейко упрек, у него с языком все в порядке, а речь-то о чем?

Москва выстроилась и устояла — именно потому, что в составе русского народа (сложившегося из славян, тюрок, финнов и других племен) обнаружилась мощная сила, заряженная великой исторической задачей.

Это и есть точка отсчета, от которой идет автор, ищущий ответа на роковой вопрос: а в нынешней торгующей и гуляющей России — существует ли такая Сила? Такая Энергия? Такая Вера?

Теперь понятно и заглавие романа — «Вещество Веры» — найденное явно при учете «Вещества существования» Андрея Платонова, но продиктованное публицистско-историку нынешним ходом вещей.

Ответ ищем — у беллетриста.

Беллетрист, пообещавший нам «Вещество», начинает искать его по всем правилам прикладной науки.

Подполковник нажимает кнопку, ждет, когда выползет серебристый диск, и аккуратно надписывает фломастером, когда и с кого сняты показания прибора.

В моем читательском сознании оживает позднесоветская гордость: Какова техника! Каков прогресс! Раньше ходили бы вокруг да около: «сердцебиение, потливость, дыхание, адреналин...» — замеряли бы то да се. А теперь полковник (простите, уже генерал) по-архимедовски врубает вывод: подопытный экземпляр «верит всему, что говорит».

Вещество Веры? Наконец-то!

Следуют «замеры» в зоне ее излучения.

Прогресс!

Я начинаю вслушиваться в обертона этого прогресса.

«Программа-жучок, впрыснутая через флэшку в домашний ноутбук» наблюдаемого экземпляра, «срисовывает все текстовые файлы и тем же путем возвращается в отдел...»

В какой-такой «отдел»?

Научно-техническая революция, подпершая было Вещество Веры, исчезает в лучах всепроникающей службы, которая все это собирает и направляет... куда *следует* (не удержусь еще от одной советской формулы). Вещество Веры доводится (доносится) до соответствующих органов. Убедившись, что мотив и до читателя дошел, автор этой информационной идиллии издает вздох облегчения... с оттенком отторжения:

— Пфэ!!

И поясняет с невинным видом: «Психо-физиологическая экспертиза».

Вот после такой экспертизы можно взглянуть и на контингент, из которого надо извлечь Вещество Веры. (Контингент — это то, что прежде именовалось: «народ», «общество», «среда».)

Состояние этого контингента я бы назвал словом «перепуловка».

Собирается пул, — пишет Шумейко...

«Гладко-закругленное это словечко, в общем, уже вошло в московский оборот, утвердилось, добавив заметный мазок европейскости, штрих актуальной современности. А о вытесненных им терминах: "шайка", "банда" никто особо и не жалел. "Пул" заменил собою и более культурное, но совершенно аморфное, безжизненное: "группа по интересам". И когда, например, прозвучит в телевизоре "президентский пул журналистов" — все понятно, и за этим встает не только какой-то объект, "означающее", но и общий дух и "трэнд", и...»

...И — наиболее ощутимые грани этого новейшего переныривания-перехватывания-переименования. А чтобы понять, что именно переименовывается, автор оставляет наиболее памятные звания... служебные должности... чины.

Отставной генерал покупает пакет Издательского Дома и набирает новый штат журналистов из числа своих бывших сослуживцев. Сцеп по цели: «Разоблачаем общественные пороки, смакуя их». Другая точка сцепа — «полументовский банк». Неплохой банчок, «с четырьмя конфликтующими акционерами и двумя вялотекущими арбитражными делами». Генерал и его присматривает себе «в очередь». Кандидаты наук и экс-эмвэдэшные компьютерщики — в одной упряжке. Название упряжки, то есть журнала, варьируется от «Русского Фокуса» до «Русского Щелкопера». Прежний хозяин, «цветметовский король, повелитель алюминиевых чушек» — передает генералу бразды и опыт.

В составе совокупного опыта — переосмыслимое Священное Писание:

«Вещество Веры — порошок... *Порох, прах...* Такой уж ныне пошел "патриарх Ной": сто лет работать будет, ковчег срубят, зверей соберет, загонит, семейство погрузит, но... люк за собой — закроет сам! (Тысячи лет всех комментаторов библейских текстов потрясала и умиляла деталь: Господь закрыл люк Ковчега за Ноем»).

«...И поплывет (наш новый Ной. — Л.А.), на досуге прикидывая объясняющую версию про Глобальное Потепление, растаявшие льды, уровень воды, и этот точный... "прогноз погоды на столетие", выданный ему...»

Что же сделает этот новый герой САМ? И как пойдут дела за пределами отряженного ему «столетия» (Господь мыслил куда более протяженными мерами, скажем, Вечностью)? Пока ясно одно: «бывший капитан милиции чистит в банке унитазы», а бывший генерал госбезопасности приказывает «соединить редакцию с банком галерей с пуленепробиваемыми стеклами», — видимо, на случай, если Вещество Веры ударит в мозгах подчиненных не туда.

В этом контингенте, где пулы всплывают в планктоне и в том же планктоне исчезают, — понятие «не туда» как-то теряет смысл. Версий — сколько угодно, и все равны. Из десяти одна — реальна, и какая — не угадаешь, а девять — мнимые: «шум, блажь, звуковой шум, вонь. *Пусть их...*»

В этом хитроумном попушении Шумейко улавливает интереснейшую особенность, порожденную тысячелетней русской историей. Наш человек, как известно, живет в непредсказуемых ситуациях (от погоды до формы правления), он все время ждет подвоха или предательства (от внешнего супостата или ближайшего соседа). Более всего наш человек боится обмана, и потому он — *в обман не дастся*, то есть ничему не верит.

Шумейко виртуозно выворачивает это наше качество. Человек наш, который не верит ничему, в сущности *верит всему*!

Всему, чем ни обернется планктонно-пуловая реальность.

Это — к вопросу о Веществе Веры.

И еще одна наша капитальная черта — знаменитый «задний ум». Чутье Ивана-дурака. Не путать с глупостью! Наш дар — Дурь. Особая одаренность для жизни в дурной реальности.

От этого же корня — невеселое определение того, что с нами происходит:

«Подурнение нации — формулирует автор, — вот главное, что убивает. И не только как проблема дня сегодняшнего, но, главное, в измерении — Нация, Генофонд, История, Будущее»...

«— Меня еще в восемьдесят, не помню каком, году,— вспоминает герой, — просто как обожгло. Тогда показали первые конкурсы красоты, и девчушки наши по миру побежали... Тогда меня и ударило: "Гены, геномы!" Ведь если все красавицы вот так полетят, то скажи, кем мы станем через поколение-два? Да мы же не просто дурнушным — мы чахлым и уродливым народцем станем!»

Красавицы — особый пункт в пуловедении автора «Вещества Веры». На мужиков надежды мало, с них как с гуся вода, эти гуси Третьего Рима не спасут.

Но девочки!

К ним у автора «Вещества Веры» особый вкус. Талант Шумейко как беллетриста проявляется ярче всего в описаниях именно этих неотразимых созданий.

Когда такая красавица, разбитная и веселенькая, идет брать интервью у какого-нибудь несговорчивого «бурбона».

Когда другая, рыженькая, оставшись дома одна, крутится перед огромным родительским зеркалом, привставая на цыпочки и разглядывая себя анфас и в профиль.

Или когда в салоне самолета совсем юная пассажирка вертит светлой головенкой, так что волосы ее распускаются на манер раскрывшегося парашюта, — и умоляет самолет не падать — «не может же он упасть (добавляет для нас автор) из-за того, что какой-нибудь идиот в Хитроу не досмотрел багаж с миной».

Но истинно влюбленными глазами увидена центральная героиня романа, блистающая неприступной красотой и безупречной до белизны чистотой, — по имени Альбина. Она и в военной форме смотрелась бы отменно, она на старинном балу была бы царицей бала, на современной же тусовке приковывает всеобщие взоры — и внешне-стью, и манерой держаться, за которой ощущается причастность к власти. В масштабах генеральского эксперимента, конечно. Незаменима на посту заместительницы главного редактора фокусно-щелкоперского журнала... а также в системе разработок Вещества Веры, этим журналом прикрываемой.

На Альбине все и держится: на ее хватке и на ее обаянии. Прикажи ей генерал, чтобы ради дела охмурила нужного человека, — охмурит, не колеблясь. Как изящно формулирует Шумейко, нужному мужику *даст*. Но что знаменательно: если для дела надо, то не просто «даст», но войдет в роль влюбленной по-настоящему. Такой характер!

Поэтому крах генеральско-журналистской затеи с Веществом Веры обозначается в сюжете романа именно как личный крах героини, о чем в последних строчках и сообщено, причем — в ракурсе ее потрясения: «оседая на дверном косяке», она видит все «в странном, искривленном и сильно увеличенном изображении, как сквозь слезы».

Что же мы видим сквозь ее слезы?

Что пробирки с «рабочей смесью» Вещества Веры, добытые с такими трудами, почти все исчезли, а оставшиеся валяются пустые.

Куда исчезли? Может, похищены вражескими секретными службами?

Дело проще. Они украдены. Родными соотечественниками.

Зачем?

Да ведь эликсир-то изготовлялся на спирту. Стало быть, и употреблен в охотку с надлежащим веществом закуски. Без всякого восстановления Вещества Веры.

Грандиозная перспектива возвращения России, вышедшей когда-то через азиатскую ширь на простор мировой истории, — повисает в неопределенности.

Статус Великой Державы тонет в офисном планктоне.

Сцепить Веществом Веры торгующее и переныривающее народонаселение страны — на решение задачи не в мировом? а хотя бы в национальном масштабе сил и средств нет.

Разве что в масштабе стадиона?

— Сержант Петров! Берите двух солдат...

Summary

Our Golden Pages

In this issue there are presented Anatolij GZIGULIN's poems and translations inseparably linked with his own tragical life.

Poetry

There are people who are born with a particular «filter» for the words' sounding — they are those who will be poets. These lines of our old author Naum BASOVSKIJ are resounding in the shrill poems «From Donetsk with Love» by Dmitrij TRIBUSHNOJ who makes his debut at our pages, and in the collections of poems by Vera ZUBAREVA and Alexander ZORIN.

Valerij BOCHKOV. Honey-Paradise

It turns out that some Russians are imprisoned not only in Russian prisons. And not only Russian courts may be unjustifiedly cruel to the defendants. Anyhow the point is not what country Sonya Belkina, the protagonist of this novel, is from. Her temper and circumstances — that's what is important in this story. And her circumstances are hard. And they get worse and worse and more and more irreparable as it goes on

Alexander MELIKHOV. Unarmed Self-Defence

The well-known author is meditating on the civilization and anti-Semitism. «Neither Jews, nor Russians or the British or Hottentots have any everlasting allies. There are only interests — now coinciding then diverging. And today the interests of Russians and Jews in Russia are compatible as never before. If only Jews would not take as their own the interests of the so called «civilized world» which is in no need of us at all and would yield us at the first signs of danger», — thus is one of the author's theses.

Anatolij TZIRULNIKOV. The Unknown Pedagogy

The pedagogy of the epoch of «modernization» is based on undivided authority, uniformity and conformity of ideas which have already shown themselves in the form of the unified state examination, unified textbook of History and uniform dress code. Pedagogical experiments or better to say vital phenomena in question here are of the kind the author himself names in joke «the unknown pedagogical objects». On the surface they seem to have nothing to do with pedagogic but in fact

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

druzbanarodov.com

на его странице в Живом журнале

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»